

ЭММА
(Записки подражателя)*Предисловие к публикации.*

Был первый рабочий день недели, но я был свободен и решил прогуляться вдоль набережной. Одна и та же небольшая стоянка обычно оказывается на моем пути первой, на которой имеются свободные места. Когда я выходил из машины, меня уже караулил сторож нехитрого предприятия. Я по привычке называю этих людей сторожами, хотя уверен, что подстерегают они исключительно владельцев автомобилей, чтобы обменять квитанцию на пару десятков шекелей. Интересно, что сделает этот «сторож», если заподозрит, что за машиной явился отнюдь не ее владелец? Вызовет полицию? Попросит предъявить квитанцию? Ох, вряд ли. Их гораздо правильнее было бы называть билетерами. Они, по-моему, довольно часто меняются, уж этого, попадись он мне когда-нибудь раньше, я бы запомнил. Билетер-сторож. Странный субъект: низкорослый, худой с опухшей физиономией, в целом напоминающей расчесанный первый весенний (потому особенно сочный) комариный укус. Взгляд его сначала уперся мне в переносицу, потом скользнул нетерпеливо по виску, плечу, по правой руке, в которой должны были появиться деньги в уплату за предоставляемую услугу. Его мысли, потревоженные, видимо, моим вторжением, вскоре, однако, успокоились и вновь расселись на прошедших выходных днях, как воробьи на голых ветках. Прибавьте непрерывное бормотание, состоящее из одних проклятий, адресованных, впрочем, явно не мне, а просто поднимавшихся из его горла как пена, и вы поймете мое удивление по поводу снисходительности и толерантности работодателя, нанявшего этого жутковатого типа.

Сверх необходимого минимума для всякой платной стоянки – участка земли, ограды и билетера – здесь имелось только асфальтовое покрытие без разметки. Не предлагались ни прохладительные напитки с соломинками, ни цветок в петлицу; металлоискатель, похожий на миниатюрную бензопилу, не прижимался к пояснице, не скользил поверх карманов. Поэтому я счел, что обмен прямоугольниками (его квитанция, отпечатанная на рыхлой бумаге, и моя элегантная не рвущаяся зеленая купюра с прозрачной звездой на углу) завершает процедуру парковки автомобиля. Но оказалось, что в данном случае – это не так. Я всего лишь неторопливо просунул руки в рукава куртки (показалось ветрено), расправил ее на себе, нажал кнопку на ключе зажигания (машина отозвалась тремя миганиями, согласившись, так уж и быть, постоять в этом явно небезопасном месте пару часов ради полезной для моего здоровья прогулки с вдыханием свежего морского воздуха), и тут я с удивлением обнаружил за своей спиной все того же «сторожа» с лэптопом в руках. Он предложил мне купить его, и нисколько не был удовлетворен моим утверждением, что лэптоп, и поновее этого, у меня уже имеется. Более того, его взгляд, окончательно освободившийся от недавних мыслей и воспоминаний, теперь омывал мою голову и пылал нескрываемой ненавистью. К кому? К чему?

Ко мне? К этому небольшому лабиринту автомобилей? К своей противоречивой должности? Этого я так и не понял, но сразу почти догадался, почему он решил продать вещь именно мне – он видел, с какой осторожностью я парковал свой новенький автомобиль, тщательно оценивая радиусы поворотов соседних машин, могущих задеть мою, если им случится выпутываться из этой автомобильной западни раньше меня. Если я не куплю у него эту дрянь, подумалось мне, он, чего доброго, отыграется на моем пятидверном друге, например, оставит на нем длинную царапину. Я уже не был уверен, не пнет ли он его ногой в тонкостенный задний бампер, если я, возмущившись, немедленно покину стоянку. Он хотел получить пятьсот шекелей за отнюдь не новый, черт знает, каким количеством вирусов зараженный компьютер, но я вывернул перед его носом кошелек, показав, что больше трехсот у меня нет. На мое издевательское предложение выписать чек, он ответил плевком под ноги, слишком обильным, как я успел отметить, для такого сублильного гражданина. Триста шекелей – вот цена, за которую мне досталась эта вещь.

Я существенно сократил время прогулки, а на прощанье перед тем, как сесть в автомобиль, обвел взглядом стоянку, желая еще раз увидеть эту жуткую рожу. Но он затаился где-то между машинами или в своей мизерной будке с решеткой. Покидающие стоянку клиенты его, конечно, не интересовали. Не интересоваться моим отбытием у него были и более веские причины.

Вернувшись домой, я протер лэптоп смоченной в спирте ваткой и тщательно вымыл руки. До сих пор все странно было в этой истории, поэтому странным показалось мне и то, что мыло выскользнуло у меня из рук. Странно было, что я нагибаюсь за ним к полу с намыленными руками, странно, что оно не смялось при падении на одном из углов, как обычно (овальный «угол» – тоже сама по себе странность), а будучи отнюдь не хрупкой, а скорее пластичной субстанцией раскололось на две части. Я отправился на кухню, чтобы приготовить себе зеленого чая без сахара. Ложечка потребовалась мне для того, чтобы отжать извлекаемый из чашки чайный пакет. С этой целью я выдвинул верхний посудный ящик, и тут же в его пустоте будто пропал слух моего правого уха. Все вилки, ножи и ложки я, как оказалось, уже использовал, и они находились теперь в посудомоечной машине. Я осторожно прикрыл ящик, не меняя позы, чтобы таким образом сберечь слух левого уха. Когда же я нагнулся, чтобы запереть брикетик моющего средства в пластмассовом кармашке-отделении посудомоечной машины, слух вдруг вернулся. Повторяю – все в этой истории странно.

С чашкой чая в руке я вернулся в кабинет. Включенный мною компьютер запросил пароль, и когда согласился на незамысловатое «1-2-3-4-5-6», я интуитивно почувствовал, что странности на этом обязаны закончиться и энергично взялся за дело. Я недолго колебался по поводу того, стоит ли мне исследовать его содержимое. Вполне возможно, что он краденный, и тогда можно попытаться разыскать владельца. Я даже представил себе, как растроганный хозяин лэптопа предложит мне вознаграждение в пятьсот шекелей, но я, конечно, соглашусь только на триста. Честолюбие мое было подстегнуто этой мыслью, и я решил, подобно молодежи, уже родившейся в компьютерные времена, не робеть при встрече с неизвестным содержимым, а как они произвести быстрое «картографирование объекта», если можно так выразиться, и уже через короткое время уяснить себе назначение и свойства содержащихся в нем незнакомых мне программных продуктов, с которыми

столкнусь. Первым делом – проверим необычного назначения иконки на рабочем столе. Таковых не оказалось. Затем – “Program Files”. Ничего необычного. Теперь – «My Documents», где сам я храню копии различных документов, на которых значится мой домашний адрес. Пусто. Еще – “My Pictures”. И здесь – ничего. Возможно, тип со стоянки стер содержимое, или кто-то помог ему в этом, подумал я. Даже при неподключенном Интернете я могу заглянуть в “Favorites”, решил я. Там были ссылки на новостные сайты, на несколько очень хороших книг и на альбом фотографий киноактрисы Nicole Kidman.

Я отказался от дальнейшего копания и решил теперь проверить программное оснащение компьютера, например, имеются ли Excel и Word. И то, и другое оказалось в наличии. Я открыл Word. Список документов, открывавшихся последними, выглядел следующим образом: «Emma173, Emma172, Emma171, Emma170». Сами файлы наверняка уничтожены, подумал я, но на всякий случай выбрал самый поздний – «Emma173». Раскрылся текст под заголовком «ЭММА».

Это и была ныне представляемая мною рукопись. Я определил место хранения документа. Он, вместе с другими, от «Emma1», «Emma2» и т.д. – до «Emma173», находился в папке с названием «Emma», но сама папка была помещена среди служебных файлов Windows. Это, надо полагать, и спасло текст от уничтожения.

Как видите, название рукописи мною не изменено. Подзаголовки автором менялись несколько раз, я оставил последний – «(Записки подражателя)», но поначалу, между «Emma1» и «Emma173», по которым можно было проследить историю написания романа (так я определяю жанр рукописи) были и другие, в том числе – «(ИСПОВЕДЬ ПАЛАЧА)». Видимо, автор не слишком доверял неразборчивому, закормленному броскими заголовками читателю, внимание которого легче привлечь крупным шрифтом объявленной сенсацией: «ЗНАМЕНИТАЯ АКТРИСА НАМЕРЕНА ЛИНЧЕВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА!» Далее читатель прочтет, что посетители супермаркета стали свидетелями того, как актриса такая-то (пусть это будет, к примеру, Nicole Kidman), ожидая у мясного прилавка, пока ей упакут три куриных шницеля в шелестящую прозрачную бумагу, пообещала раскапризничавшемуся чаду что-то, от чего ребенок нахмурился. Поскольку расслышать сказанное шепотом на ухо было невозможно, репортер имел полное право заподозрить худшее и выполнил священный долг журналиста, попытавшись предотвратить грозящую ребенку жестокую экзекуцию, и потому придираться к нему – бесчестно и несправедливо. Я понимаю колебания автора, сначала поддавшегося искушению и во вполне демократическом духе решившего, что читатель заслуживает получить броский анонс, но позже раскаявшегося, пожертвовавшего жаждой быстрой славы и уступившего своему внутреннему нравственному камертону. Конечно, видимо, решил он уже задолго до «Emma173», – читатель в демократическом обществе воспитывает репортера, журналиста, писателя такими, каковы они есть и быть должны, а не наоборот. Писатель-пророк, журналист-бессребреник, отважный репортер-сорвиголова – увы, как правило, характерный продукт тоталитарного, патриархального или еще каким-нибудь образом заблудшего общества. Общество же правильно настроенное манкирует справедливыми и скучными своими хроникерами и бытописателями, и назло, из чувства противоречия, противопоставляет им выскочек в ярком облачении или мизантропов во всем черном. «Какой же стороны мне держаться?» – видимо,

не раз спрашивал себя автор, знавший, без сомнения, что добродетель нередко служит баррикадой на пути смелых человеческих устремлений, не говоря уже о прорывах в искусстве. В итоге мы все же имеем дело с фактом – умеренное, консервативное начало в нем победило, возобладав над соблазном украсить свое произведение неким подобием черной пиратской головной повязки с черепом и костями, и в последней версии значится скромное: «(Записки подражателя)».

Начинались эти «записки» рассуждениями общего характера, вникать в которые мне было пока недосуг, я потянул вниз движок прокрутки, и полюбовавшись летящей на север плотной стайей черных букв, быстро добрался до конца повествования. Там в последних абзацах (все время хочется употреблять слово «рукопись», хотя как можно говорить о рукописи в отношении текста, по-видимому, никогда не знавшего пера и бумаги) я наткнулся на странную сцену – герой погибал в ящике собственной двуспальной кровати.

Позже я прочел все, и гарантирую – речь идет не о некоем легковесном тексте, который увидев склоненную над собой прелестную женскую головку, восклицает в непритворном умилении: «Ах! Меня читают!» – Нет, речь идет о повествовании, пропитанном суровым мужским драматизмом и наполненным высоким чувством ответственности перед серьезным читателем.

Но тогда, когда я прочел еще только начало и конец, я задумался о том, как следует мне поступить в данной ситуации. «Сторож» (я продолжу его так называть), продавший мне компьютер, как ни неприятен был на вид, не был похож на вора и тем более на убийцу. Как все же мог попасть к нему в руки этот лэптоп? Сомневаюсь, что я сам нанял бы этого вурдалака для какой-то постоянной работы в доме. Разве что если бы писал роман, и жалкая личность служила бы мне прототипом для одного из героев. И вот, странный сторож мой (домработник, в данном случае) приходит, чтобы с уже знакомыми читателю проклятиями и отвращением вытереть пыль и восстановить правильный порядок расстановки стульев у большого стола в гостиной, но находит дом пустым. На кровати в спальне покрывало и простыня сбиты к изголовью, подушки – торчком, неприятный запах, но и здесь никого нет. Из ценностей – только раскрытый лэптоп на письменном столе в кабинете. На сочинение, он, конечно, не обратил внимания. А если бы и обратил, то вряд ли стал знакомиться с ним при сложившихся в тот момент обстоятельствах, тем более – не полез бы в его конец.

Хозяин дома, возможно, оставался ему должен денег. Может быть, те самые триста шекелей, за которые и был продан мне лэптоп. Я понимаю желание странного субъекта решить имущественный спор с внезапно исчезнувшим работодателем при помощи короткой внесудебной процедуры. Я тоже никогда в жизни не имел дела с судами, а с полицейскими – только в тех случаях, когда нечаянно нарушал правила дорожного движения у них на глазах. Один только раз я добровольно явился в полицейский участок за предназначенной для одной придирчивой фирмы справкой об отсутствии у меня уголовного прошлого (в учреждение это, в конце концов, я так и не был принят).

Мне, в общем-то, довольно ясно представилось происшедшее – автор пошел в спальню, чтобы проверить детали того, о чем пишет и, может быть, ухватить еще какую-нибудь мелочь, которая сделает описание более правдоподобным. Далее – внезапный инфаркт, падение, крышка захлопнулась.

Матрас, падая, повилял упитанной талией и успокоился, а автор не очнулся раньше, чем в ящике закончился кислород... Думаю, несчастного давно уже нашли, квартира его перешла по наследству, может быть, уже продана. Так что с моральной точки зрения, а не с формально-правовой, к которой я всегда испытывал неприязнь, у меня не должно быть претензий к «билетеру-сторожущему-домработнику». В общем, как вы уже догадались, мои угрызения совести не пересилили инстинктивного нежелания впутываться в тошнотворную паутину расследования и становиться, может быть (поди, знай!), самому объектом подозрений наделенного богатой фантазией и желанием отличиться следователя, и я решил не обращаться в полицию. Ведь с такой же легкостью, с какой я распутал клубок причинно-следственных связей, приведший этот лэптоп в мои руки, в воображении следователя-энтузиаста мог бы родиться другой, не менее правдоподобный сценарий. Только в его версии происшедшего фигурантом был бы уже я сам.

Если же моя версия верна, и случится, а это вполне вероятно, что по прочтении данной книги необычные обстоятельства ее появления в печати будут опознаны теми, кто имел к ним прямое отношение, и родственниками автора будут предъявлены юридические права на данную «рукопись» и главным образом на доходы от продажи ее бумажно-глянцевого материального жилища, – что ж, я не возражаю. Мавр сделал свое дело, текст стал достоянием общественности, а слава сочинителя в любом случае принадлежит не мне. Вот разве только, тешит мое самолюбие забавная мысль, что я стану первым в истории литературы человеком, не публикующим якобы полученные по почте анонимные дневники или найденную при странных обстоятельствах рукопись, а предающим огласке содержание ворованного лэптопа. Что ж, каково деяние, такова и мера порожденного им тщеславия.

Е. Теодор Бирман.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Возможно ли современному писателю не быть в какой-то степени плагиатором? Конечно, личность любого пишущего индивидуальна, и в такой же степени неповторимы созданные им произведения, но можно ли, в самом деле, отдалиться от созданного ранее настолько, чтобы полагать себя самостоятельным художником? Гомер, думаю, был бы очень удивлен, если бы ему рассказали, каким величайшим символом стало его имя. «Я всего лишь сообщил слышанные мною истории, – сказал бы он. – Разве вы, пересказывая друг другу политические анекдоты, не шлифуете их? Не исчезает из них хотя бы в каждой только сотой передаче из уст в уста лишнее слово, не добавляется новая деталь, которая как будто и всегда была на том месте, где сейчас находится?»

Я полностью сознаю компилятивный характер моего сочинения и удовлетворенно улыбаюсь, потому что мне-то уж точно никто подражать не станет. Великая литература – представляется мне одной из священных коров в тучном стаде искусств. А я, пожалуй, тот, кто подкрадывается к ней иногда с простеньким звонким ведерком в шершавых ладонях, порой с присосками аппарата искусственного доения. Но бывает – с тщательно отточенным лезвием сапожного ножа, и тогда его плоскую ручку, для удобства обмотанную проводами с разноцветной изоляцией, твердо и бестрепетно сжимаю в руке.

Вы сочтете меня позером, если я попытаюсь создать впечатление, будто не уважаю той работы, за которую взялся. Поэтому свое

подражательство я не назову уничижительно ни примитивным, ни старательным. Я – кропотливый дояр и мясник, жаждущий получить от вас лицензию на заявленный род деятельности, а может быть, и похвальные грамоты.

И на этом и об этом – все. Итак: самое ненавистное для меня – сюжет. Даже когда он просто валится в руки, он в исходном виде никуда не годится и напоминает десятки раз уже слышанные и кем-либо выжатые до полной непригодности истории. И все ракурсы (в нашем случае – стили) испробованы. И что остается? Жажда! Желание крикнуть: «И я хочу молока и мяса! И со мной – то же самое приключилось! И было это так-то и так-то!» А как крикнуть? Да просто – как прежде кричали. Вот только скажите, как вы думаете, должен ли добросовестный скрупулезный имитатор пытаться воспроизвести и недостатки своих кумиров, вернее, те особенности любимого произведения, которые представляются ему таковыми? Например, меня смущает непоследовательность в изображении некоей Набоковской героини: то она предстает ветреной и никчемной, то вдруг бросит фразу, больше подходящую сорокалетней кокотке, то под конец вырастет в настоящий положительный, беременный американской мечтой символ, трансатлантический вариант девушки с веслом (одна такая гипсовая, плечистая и крутобедрая стояла в парке рядом с круглым фонтаном в городе моего детства). Не знаю. Это была бы довольно извращенная имитация. На этот счет я еще окончательно ничего не решил.

Итак – моего героя зовут Шарль. Он необходимо для собственного самолюбия и без ущерба для мнения о нем окружающих (и меня в первую очередь) несколько простоват (потому что, кто добр, тот и прост), и скоро станет инженером. Вывести его в своих записках лекарем, например, мне не хотелось бы. Я, конечно, сумел бы изобразить те болезни, которыми переболел ранее и которые беспокоят меня сейчас, что-то позаимствовать для него от характеров и манер докторов, к которым обращался. Но сам я – инженер, и значит, мне легче будет передать мироощущение санитаров технического прогресса. Героиню зовут Эмма. И она тоже – инженер. По той же причине. Но во всякой женщине так много обычно от «всеженщины» (как выразился бы, возможно, один из литературных гениев), что профессиональные ее качества, как бы значительны они ни были, как ни замечательны были бы ее достижения, все равно останутся в тени. Тем более, когда речь идет о такой женщине как Эмма.

Однажды на улице мне встретила идущая навстречу девушка лет двадцати с небольшим. Не передать, насколько она была тщедушна и мышасто некрасива, из-за малого роста голенища сапог почти упирались в колени, но на лице ее горели такие необыкновенно огромные глаза, и столько в них было ума, страсти... я чуть было не развернулся, чтобы пойти следом, и долго потом вспоминал о ней... Но не такова Эмма. Я знаю ее с самого раннего детства. Она так привлекательна, что когда идет по тротуару, вдоль всего ее маршрута слышны щелчки самопроизвольно открывающихся дверей припаркованных у бордюрного камня автомобилей. То есть зеркало ее души (я говорю о глазах – полагаю, вы догадались) тоже немедленно ослепит вас, и вы в отчаянии (которое неизбежно испытывает любой внезапно ослепший человек) поймете, что и ее глаза полыхнули и умом и страстями. Но какими? Тут и начнутся ваши незрячие мучения. Мои же и по сей день не закончились.

Итак, если в прошлом случалось вам поверить в Блума и Молли, в Гумберта и Лолиту, теперь попытайтесь поверить в меня как в героя повествования, в моих Шарля и Эмму, а к моему литературному детищу не предъявлять претензий, которые вправе были бы предъявлять к произведениям оригинальных художников прошлого, писавших в те блаженные сто пятьдесят лет, когда литература была в центре внимания общества и выражала его душу, как ныне делают это вокал и кинематограф.

Но не отдает ли для вас мой стиль излишней напористостью? Не напоминает ли начинающего всадника на гарцующем скакуне, жаждущего первым делом покрасоваться на вершине холма и не очень уверенного, не выбросит ли его из седла в следующую же секунду норовистая кобыла? (Можно ведь сказать о кобыле «скакун», или нужно написать «скакунья»?)

Но я лучше съеду с возвышения, спущусь на землю. Не мое это. Первая глава, знакомство, неуверенность. Понимаете?

2.

Как и полагается, начнем сначала. Был урок физкультуры, но учительница наша почему-то была не с нами на площадке, мы были предоставлены сами себе и играли в футбол. Кто-то из чужих и вечно спешащих учителей (определенно не наш солидный директор) привел новенького и оставил его стоять у черты поля, не назвав нам ни имени его, ни фамилии. На нем были очки, но он вовсе не страдал косоглазием, потому не могу объяснить, зачем, когда учитель ушел, наш центральный нападающий, крикнул ему: «Косая мандолина, приехала с Берлина». Мое детство, как крысами, кишит идиотскими выкриками. Им под стать были и наши безобразные выходки. Вполне возможно, что именно я подбежал и сдернул с Шарля трусы. Так он и предстал впервые перед Эммой, вращавшей неподалеку скакалку, – очки на носу, трусы на коленях и жалкий птенчик посередине. Девочки сделали вид, будто ничего не заметили, те из них, которых мы называли дылдами, продолжали как ни в чем ни бывало нырять в эллипсообразное, ограниченное вращением веревочной скакалки пространство с осторожностью и слегка сутулясь, те, что поменьше, влетали и выпархивали свободно как воробы из раструба водостока. Эмму скачущей не помню, а вот как она равнодушно вращала ручку и снизу доверху, от длинных шнурков на ботинках до любимого пожилыми женщинами мальчишеского ежика на макушке, прошла взглядом по невыгодно выглядевшей в моем представлении фигуре Шарля – это помню прекрасно. Эмма никогда в моем воображении не станет пожилой женщиной, любительницей мальчишеских ежиков, во всяком случае, я не могу себе этого представить. Не могу и догадаться, о чем думала и что чувствовала она, двенадцатилетняя, глядя на Шарля во время его премьеры на далекой (в смысле времени) сцене нашей школы. Она, эта сцена, то представляется мне большой и просторной, какой являлась мне тогда, но иногда кажется, что подбородок мой шире нее, а лоб поднимается гораздо выше короткой верхней занавеси, прикрывающей направляющие, по которым движутся вправо и влево занавеси большие и главные.

Тешу себя надеждой, что это все же не я обнажил Шарля, и тому есть три веские причины.

Во-первых, потому что, будучи вторым кроме меня прилично учащимся мальчиком, он почти сразу закономерно и даже неизбежно стал моим приятелем. Это вряд ли могло произойти, если бы он с самого начала затаил на меня обиду. Позже я научил его воровать отцовские папиросы из нераспечатанных пачек «Беломорканала»: нужно было аккуратно вытащить верхний боковой свободный лепесток, затем, нажав двумя пальцами, свести в арку два склеенных верхних, и из образовавшегося входа в пахучую пещеру осторожно, кончиками ногтей ухватившись за гильзу, вытащить только одну папиросу. Одну всегда могут не доложить на фабрике, объяснил я Шарлю. Больше брать нельзя – отец может заподозрить кражу со взломом. Как-то позже мы играли с ним в шахматы дома у Шарля, и он показал мне коробку с парой сотен пустых папиросных гильз и пачку табака. Он сам и набивал обычно для своего отца папиросы, и тот именно их всегда и курил. Где добывал для меня Шарль нераспечатанные пачки «Беломорканала» – одному богу известно, но это несомненно доказывает – он был отличным товарищем и не держал на меня зла.

Вторая причина, заставляющая меня думать, что не я инициировал это безобразие на футбольной площадке, заключается в том, что с самого детства для меня характерна была некоторая замкнутость, и мне было бы трудно обнажить другого. Недавно мне попала на глаза фотография великого писателя. Он был снят в профиль стоящим за конторкой, и брюки его были определенно коротковаты и не доставали до туфель. Мои брюки спереди всегда перевернутыми носиками чайников лежат на шнурках или липучках башмаков, а сзади полностью закрывают каблук. Я прихожу в состояние легкого раздражения, когда передающийся к поясу легкий рывок говорит мне о том, что я наступил каблуком на кромку брючины, но меняю в этом случае не брюки, а туфли на такие, у которых каблук выше, и тогда уже я чувствую себя вполне надежно.

И наконец, в-третьих, Эмма нравилась мне самому, и неприятная мысль, что первое сексуальное ее впечатление я сам же и сварганил

для нее, используя Шарля в качестве наглядного пособия (напоминаю – очки, трусы на коленях и птенчик), желтым йодом жжет ссадины на коленках моих детских воспоминаний.

Еще пара характерных эпизодов из нашего общего с Шарлем детства. На летних каникулах, помимо прочих забав, мы иногда принимались с ним играть в карты на деньги. Я, как правило, обыгрывал его, но однажды обыграл очень крупно по тогдашним нашим понятиям. Мне было неловко, я чувствовал себя виноватым, совесть мою точил червь, он прогрызал в моей душе извилистый ход, оставляя после себя горки трухи, будто накапливавшейся в отношениях между мною и моим лучшим другом. Я пригласил Шарля устроить совместный кутеж на сумму выигранных денег в городском парке. Мимо упомянутой выше гипсовой девушки с веслом, обогнув круглый фонтан, оставив позади окрашенный в зеленый цвет открытый летний кинотеатр, миновали мы и синюю снаружи и пока еще не представлявшую для нас интереса танцевальную площадку и, свернув налево, добрались до дальней части парка, где были сосредоточены аттракционы. Там для начала я купил нам мороженого. Шарлю захотелось второй порции, и я великодушно выполнил его прихоть. Затем мы стреляли в тире, и я не догадался лишний раз промахнуться, чтобы доставить приятелю чувство реванша. Не то зайцы, не то кролики падали от моих выстрелов, будто я был писатель Тургенев на охоте. Отстрелявшись, мы заглянули в бильярдную, но делать там нам было нечего, и купив билеты и отстояв небольшую очередь, мы взобрались на лодку качелей. Расходы мои теперь уже превысили выигрыш, и все еще угождая Шарлю, но уже почти освободившись от гнетущего чувства и весьма этим воодушевленный, я заставил обтекаемых форм жестяную бадью взлетать выше перекладки, вокруг оси которой она качалась, но Шарль вскоре почувствовал себя нехорошо. Я сначала, войдя в раж и наслаждаясь волшебными взлетами и падениями, уговаривал его, что тошнота скоро пройдет, но после повторных жалоб – противоположными инерции движения толчками ног заставил лодку сначала замедлить ход, а потом и остановиться. Едва мы вышли за ограду аттракциона и удалились от него немного в сторону, Шарля хоть и несильно, но все же вырвало в кустах. Вспоминая сейчас этот эпизод, я с чувством позднего раскаяния осознаю, что наша дружба порой доставляла Шарлю убытки и причиняла неприятности.

Эпизод номер два. Знаете ли вы, как сделать самопал? В этом каким-то образом участвует оболочка механического карандаша и сера, счищенная с большого количества спичек. Мы с Шарлем так и не научились их изготавливать, поэтому он однажды договорился с соседом-старшеклассником, что обменяет два десятка марок на настоящий самопал. Марки он в соответствии с договоренностью отдал авансом, а самопала так и не получил. Он ходил за должником целый день, тот сначала говорил, что ему пока недосуг заниматься изготовлением игрушки, потом – что она у него уже за пазухой и скоро он ее отдаст. В конце концов до Шарля дошло, что его надуют. Он сначала обратился ко мне, но я очень быстро рассердился и плюнул в старшеклассника (правда, с довольно большого расстояния), и мы вдвоем убежали уже без всякой надежды на успешную реализацию сделки. Шарль был так убит наглым обманом, что это заметила его мать, она сходила к соседям и вернулась с марками. Вот таковы мы и были: Шарль – наивный, зависимый от женщин; я – нетерпеливый, вспыльчивый и бесполезный в настоящем деле сообщник.

3.

А что же Эмма? Чертовка выросла (и не просто выросла, а так что рост ее стал смущать меня) и стала абсолютно невыносима. Есть такие женщины, бесполезно разглядывать их – глаза как глаза, уши как уши, но все вместе!.. Мне непонятно, почему за ней по улице не шла всегда толпа онанирующих бабуинов. При этом склад ума ее многие ошибочно называли мужским, потому что ей, видите ли, были интересны плоскогубцы и тройной интеграл. Черта с два! Ничего мужского в ней не было и в помине, просто забивание гвоздей молотком или вычисление производных забавляли ее как клубок ниток котенка и делали ее еще невыносимее. По крайней мере – для меня. Я, кстати, совсем не случайно упомянул о плоскогубцах. Мы с Шарлем на последних наших

каникулах, однажды пришли к Эмме домой. Мы оба якобы потеряли список учебников, которые нужно было приобрести. Придумать правдоподобную историю, как такое могло произойти, чтобы мы оба потеряли прошлогодние дневники, в конце которых все это было записано, мы не озаботились, как не придумали также, почему мы пришли именно к ней, ведь были одноклассники, жившие гораздо ближе. Но Эмма никогда не была мелочной. Она, должно быть, сразу догадалась, что мы просто по ней смертельно соскучились, и это, видимо, тронуло ее. Она быстро нашла дневник, переписала из него все, что требуется на листочек и вручила его Шарлю, пока я нервно возился с заклинившим замком молнии на моей синей бархатистой куртке (она мне очень шла, но должна была по моим представлениям, укрепленным экспериментами перед зеркалом, быть расстегнута примерно на треть, а не до живота как теперь). «Сейчас», – сказала Эмма и исчезла, вернувшись тут же с плоскогубцами в руке. Мы оба смотрели на нее с недоумением, но она подошла ко мне, бестрепетно оттянула на мне куртку и принялась колдовать над замком. Я не решался разглядывать ее, пока она находилась в такой невероятной близости от меня, и смотрел на ее руки с недлинными и неострыми тщательно обработанными ногтями. Мне руки ее почудились озябшими, может быть потому, что волнение не разогрело меня, но наоборот, превратило почти в ледышку, и холод передался ее ладоням. Я стоял, замороженный и хрупкий, на ватных ногах, сохраняя устойчивость, кажется, только благодаря тому, что натянутая куртка держала меня за плечи. Эмма осторожно сжала плоскогубцами направляющие замка, сначала с одной стороны, затем с другой. О, если бы так же внимательно и осторожно она обращалась с моей душой!

Когда мы ушли, я все то время, что мы с Шарлем еще провели вдвоем, был под впечатлением прошедшего визита, и только поэтому не отобрал у него листочек, на котором ее восхитительно правильным почерком были пронумерованы учебники, название каждого из которых обещало множество уроков, на которых прилежная умная Эмма узнает еще массу полезных для жизни вещей, физически находясь так часто, так близко, так рядом, как теперь не могу и мечтать. И все же я жалею, что каким-нибудь образом не присвоил себе этот листок. И почерк, и название учебников, безусловно, способны вызвать в моем сердце приятную бурю воспоминаний, но главная ценность того листка – цифры. Они были проставлены Эммой, чтобы, сверив итог, убедиться, что ничего не пропущено. Можно было ведь и просто пересчитать потом, но Эмма с первой же строки начала нумерацию. Быстро, логично, экономно, надежно.

Думаю, она очень рано, может быть тогда еще, когда разглядывала Шарля со сдернутыми штанами, проложила маршрут своей судьбы так же легко, как решала системы двух уравнений с двумя неизвестными или трех уравнений с тремя неизвестными. Я очень поздно пришел к флюберу, но думаю, она знала и без него: для женщины любовь – болезнь. Любящая женщина в чем-то подобна падшей. Она – объект, у которого не выставляют постоянной охраны. Моя Эмма (у меня нет никаких оснований называть ее так, но я это делаю), не только легко владела грубым инструментом, она, мне кажется, с самого детства так же непринужденно чинила и взламывала логические последовательности, когда это ей требовалось. И если я прав, реконструируя ее философию женской любви, то это означает, что мне в ее жизни никогда не было места, потому что я ни за что не позволил бы ей постоянно удерживать в своих руках замок моей куртки. Невыносимая Эмма! Так я называл ее про себя всю жизнь, так называю сегодня и так продолжу называть теперь уже, видимо, до конца своих дней.

4.

В нашем городе было лишь одно высшее учебное заведение. Характер его был техническим. Разведенному отцу Эммы, больше похожему на грустного вдовца мужчине со склонностью периодически ломать конечности, не хотелось отпускать ее от себя, да и сама Эмма не искала грандиозных перемен и уж подавно не рвалась к необузданной свободе. Я конечно, никогда не обсуждал с Эммой историю ее семьи, но знал от своих родителей, что мать ее уехала в другой город с учителем истории, которого визуально я помню, но который никогда не

преподавал нам. Мне по моему душевному строю как раз следовало бы уехать учиться куда-нибудь в столицы, чей далекий блеск окутал бы и меня, возвращающегося на каникулы, частью своего ореола. В глазах Эммы, конечно, ведь ореол – субстанция сугубо субъективная. Су-су-су... Нарочно так и оставляю эту нелепую трехсловную последовательность. Чуть позже объясню, почему.

Шарль, конечно, поплелся следом за Эммой, а уж тогда и я объявил, что раз они в свои семнадцать лет такие консерваторы и «папенькины» дети, то и я никуда не уеду. Наши проходные баллы позволили нам выбрать весьма престижную в то время специальность, видимо и администрация желала расширения новой кафедры и, много вкладывая, но и много выжимая из нас, стремилась вырастить свежее пополнение для осуществления своей академической экспансии. Так преподаватель математики начал свою первую лекцию с того, что начертил на доске мелом короткий горизонтальный отрезок, ограничив его двумя вертикальными чертами, еще более короткими. Точно так же это делали школьные учителя. Рассчитывая, по-видимому, именно на такой эффект, он произнес: «Учеба в средней школе похожа на этот отрезок. У нас же это будет выглядеть так». И он мелом от верхней части доски стал опускать петли до самого низа. Мы молчали, но наши сердца наполнялись заносчивой гордостью – начиналась по-настоящему новая яркая жизнь. Бесконечная петля математика была явным преувеличением, но первый год, набитый общеобразовательными предметами, как утренний троллейбус пассажирами, оказался действительно необычайно тяжелым. Он совершенно не оставлял нам времени ни на традиционную студенческую революционность какого бы то ни было рода, ни на воспетый столь многими зоопарк пестрого студенческого веселья.

К нашим первым летним каникулам мы пришли истощенными и все лето провели у моря в ленивой неподвижности на брошенных где-то на крупную, где-то на мелкую гальку надувных резиновых матрасах. Благо, все, что требовалось для того, чтобы избежать даже весьма относительной городской скученности и достичь более или менее дикого берега, – это сесть в автобус и отъехать на несколько десятков километров от города. Сегодня я на все предпочитаю смотреть из окна, будь то яркое и душное и в то же время спокойное равновесие летней роскоши, или мерцание моря, непонятным образом сохраняющее гармонию при такой плотности бликов, что будь оно скопировано на ткань, то даже сшитое из такого материала концертное платье оперной певицы показалось бы мне крикливым. Не знаю почему, но теперь, ощущая свою неуместность в этой вечной нарядности, я, как уже было сказано, стремлюсь оказаться в системе соединяющихся между собой кубиков комнат. За стеклом. Увы, за стеклом. Но тогда наши плоские животы (мой и Эммы, Шарль был чуточку рыхловат) составляли одно целое и со скалами, и с морем, и с пахучими кустами можжевельника. Ничего не происходило в это лето. Ни тогда, когда мы плавали в прохладной воде, ни когда Шарль снимался первым и поднимался к дороге и автобусной остановке на ней, предупреждая пришедших за ним, что с ним еще двое (мы садились в автобус только, если в нем были места для всех троих), ни тогда, когда уже и мы с Эммой начинали подъем от моря к шоссе. Думаю, Шарль не хотел, чтобы Эмма слышала, как он сдерживает пыхтение на подъеме, поэтому уходил первым.

Этот благословенный молчаливый подъем вдвоем, чей ритм был задан маятником сгибающихся и разгибающихся в коленях ног Эммы, стал со временем представляться мне экстрактом продолжительного счастья (или, по крайней мере, его соблазна), такого чудесного состояния, которое может продолжаться так же долго, как безветренный солнечный день у моря. Кошется ее легкое летнее платье. Ее огрубленные морской солью волосы, когда она отбрасывает их в сторону, открывают легкую испарину на шее, и наверно приводят в движение воздух, немного остужая затылок.

Шарль встречал нас наверху, все еще раскрасневшийся, но уже не от подъема, а от тревоги, но мы смотрели ему прямо в глаза и он успокаивался. Было совершенно бессмысленно признаваться в любви Эмме во время этих подъемов. Ее нельзя было не любить, и она это знала. Меня в последнее время очень интересует достигнутый европейским кино эффект – вполне заурядной внешности актриса за счет одной только выразительности достигает мерцающего эффекта сверхженственности. У Эммы такой выразительности тогда еще не было. Вопрос: приберегала ли она ее для далекого еще в то время будущего, когда она прибавит

полтора, два, два с половиной десятка лет? Тогда она умела держать дистанцию и брать интегралы. Невыносимая Эмма.
Тогда и сейчас.

5.

На второй год учебы помимо сугубо теоретических естественных предметов, к темпам и объемам которых мы успели уже приспособиться и которые стали понемногу сворачивать в ту специальную область, которую мы избрали и в которой особенно поразили меня своей красотой уравнения Максвелла, нам начали читать и курс философии. Первая фраза, произнесенная лектором, была не менее претенциозной, чем меловые петли математика: «Ни одна другая наука, – сказал он, – не раздвинет горизонты вашего мировосприятия так быстро и широко, как философия». Я должен с ним согласиться. Наша Alma Mater и наш город, как вы должно быть уже догадались, находились в той великой империи, которую ставший для меня впоследствии непререкаемым авторитетом писатель назвал «слепым пятном на востоке», а преподававшийся нам предмет именовался не просто философией, но «марксистской философией». Я, между прочим, совершенно не обижаюсь и не ропщу по поводу этой добавки. Марксистская философия в том виде, в каком ее доводили до нашего сведения отнюдь не бывшие большевиками-фанатиками наши преподаватели, пока она не касалась своего специфически марксистского «пунктика», представляла собой пусть упрощенную, но стройную систему взглядов, оставившую за бортом (с органично присущей ей наглой самонадеянностью) как искусство тасовать колоду обобщений или строить из них нелепые пирамиды, так и этого сомнительного искусства еще менее симпатичную сестрицу – религиозную мистику.

Чтение первоисточников, – от безобидных Демокрита и Аристотеля, сквозь Кантовы императивы, через гегелевский «абсолютный дух» (словечко «дух» вызывало у нас улыбку, легко ассоциируясь с кишечными газами), через критикуемый объективный идеализм и осмеиваемый солипсизм, вперед к первому атеистическому немцу – Людвигу Фейербаху, и далее к прикладной философии Маркса, Энгельса, Ленина (мимо зашедшего совсем уж не туда, куда следует, Ницше, и недостойных упоминания глупостей Фрейда), – чтение это (кроме родного нам Ленина, конечно) не было обязательным. Предполагалось, что студенты высших технических учебных заведений вполне могут обойтись отобранными цитатами, чтобы с палочки для проб ощутить аромат грандиозной философской мысли. Но Эмма решила по-другому и стала таскать домой из библиотеки тяжелые тома, чьи обложки отличались строгостью темных густых томов. От литературы художественной их можно было отличить так же легко и мгновенно, как десятку от трех рублей.

Я должен признать – в изучении философии Эмма, несомненно, продвинулась дальше меня. Она была спокойнее и не раздражалась из-за таких глупостей, как шаткость интеллектуальных небоскребов. Мое недоверие к умственным нагромождениям очень быстро приводило меня к тому, что внимание мое слабело, и ступени философской лестницы становились для меня все круче и неприступней. В итоге на Эмму мне приходилось смотреть снизу вверх. Впрочем, метафора с философской лестницей имеет и игривый подтекст – в описываемое мною время юбки и платья стремительно укорачивались. О, да, я – человек эмоций и ощущений. И из этих двух слов мне больше нравится первое, потому что целых две буквы в начале его совпадают с именем Эммы. И до сих пор не люблю я попыток едва выбравшегося из пеленок (а до того вылупившегося наконец из матки, с трудом вытолкнутого из женской пещеры с длинным тесным тоннелем) человеческого щенка уже через пару десятков лет его личного существования приступать к построению моделей мира с последующим злобным выталкиванием неподходящих камней из фундамента, пока не рухнет наконец вся убогая химера.

Поскольку нам с Шарлем пришлось последовать примеру Эммы в знакомстве с первоисточниками, то так получилось, что с оговорками, к которым еще вернусь, моя голова из-за контакта с немецкой философией оказалась частично сформированной на североευропейский лад. К счастью, чтение художественной литературы обратило мое сердце в направлении России и стран романского блока, а жизнь и поздние

убеждения связали тело и душу с жизнерадостным, самонадеянным и порой развязным Левантом. Я ведь до сих пор не назвал вам своего имени. Меня зовут Родольф. «Родольфо-Додольфо», – дразнили меня одноклассники, и это я еще терпеливо сносил, но уже напрягался, ожидая, что сейчас кто-нибудь приснет и, уже ударившись в бег, проорет мерзкое продолжение – «жертва Адольфа», что неизменно приводило меня в ярость, учитывая мое еврейское происхождение. Все коряво в этой дразнилке – и ритм, и рифма, но ведь я уже сообщил вам, что выкрики моих сверстников в школе не отличались литературным изяществом.

Возвращаясь к философии. Су-су-су... Сумбур сухих суждений, сумасбродный сумрачный суховей, судороги в сугробах сущностей. Если бы это я заразил Эмму интересом к философии, мое отношение к ней, возможно, было бы другим, но я был ведомым, и это меня оскорбляло. Так или иначе, но не подлежащим сомнению фактом стало мое устоявшееся недоверие к сложным интеллектуальным построениям, к длинным философским цепочкам, похожим на фантастический парад муравьев с аккуратно подстриженными усами, к делению жизни на блоки с очерченными границами, словно жизнь можно поделить как февраль ровно на четыре недели в не високосный год. Тут я еще раз подтверждаю согласие с нашим преподавателем – занятия философией на начальном этапе представляют собой крутой интеллектуальный подъем, но заканчивается он, по моему мнению, довольно быстро и переходит в плоскую равнину, заболоченную и топкую. Изучайте, дорогой читатель, конечно же, изучайте философию, но не пропустите того момента, когда почувствуете, что начинаете вязнуть в ней. В дневниках Анны Франк я встретил трогательное изложение истории о маленькой девочке, которой хотелось быть похожей на взрослых. Она пыталась родить ребеночка, тужилась и, в конце концов, родила «колбаску» (как записала Анна Франк). Если вспомнить европейский фейерверк идей конца девятнадцатого, начала двадцатого века, многообразнейшие попытки вырваться за все мыслимые пределы и ограничения мысли и их практический суммарный вектор, эти ядовитые плоды, выросшие на удобрениях путаных мыслей, – мировые войны, Освенцим, ГУЛАГ – вы поймете, даже если и не согласитесь со мной, почему эта детская притча стала для меня своеобразным символом европейского интеллектуализма, левого и правого, без различия (фашизм и истеричный либерализм – ненавидящие друг друга любовники – добавлю банальность, нуждаются друг в друге и друг друга подпитывают), почему даже очередное решение Нобелевского комитета Норвежского Стортинга я встречаю порой с долей скепсиса и недоверия, вспоминая эту девочку-рожицу и результат ее потуг. Поправьте меня, если я неправ, но у меня сложилось впечатление, что после Второй мировой войны выжившие обескураженные немцы практически перестали философствовать. В таком случае нужно отдать им должное – они умеют изучать и исправлять свои ошибки с такой же решительностью, с какой их совершают. Совсем недавно, кстати, я решил было ознакомиться с еврейской веткой на могучем немецком стволе, с философским трудом «Пол и характер» Отто Вайнингера, но я так быстро начал задыхаться от отвращения к стилю, что бросил на третьей странице и так и остался с упрощенным ее изложением в небольшой статье, сообщавшей, что в первой части автор доказывает, что женщина – существо низшего порядка, а во второй, что все евреи – женщины. Далее в статье сообщалось, что автор, убедившись, что он не в состоянии избавиться от описанных им свойств в себе самом, застрелился в возрасте двадцати трех лет в доме, где когда-то умирал его кумир – Бетховен. В интернете откопалась также статья, из которой я выяснил, что нашелся автор (женщина в данном случае) с двойной, по-видимому, русско-немецкой фамилией, которая изучила его идеи и проследила их связи с творчеством Пастернака.

«Но ведь он великий поэт», – сказала Эмма, не о Вайнингере, конечно, а о Пастернаке, с той характерной для нее почти вопросительной интонацией, которая делает ее таким безопасным для мужского самолюбия оппонентом. «Конечно, – проявил я нехарактерное для меня великодушие, – особенно, когда поэзия его касается естественных, не терпящих философской обработки материй, как например чувств, которые мы испытываем к женщине («в чем-то белом, без причуд»), или боли, когда нам наступают кованым каблуком на... –

я осекся на секунду, а затем закончил мысль, – как в «Авва Отче, чашу эту мимо пронеси».

Вне связи с вышесказанным: назовите меня замшелым реакционером, шовинистской свиньей, отъявленным сексистом, скажите даже, что во мне есть что-то от Вайнингера, но я все равно не люблю составления молодыми женщинами коллекций собственных мнений. Осмелюсь даже сказать, что это свойство уже в пятнадцать лет способно превратить юную деву в дракона или старую ведьму. И вот представьте, Эмма, невзирая на свою образованность, была чрезвычайно немногословна. Чернявый восточный поэт в цветистой поэме назвал бы ее драгоценным сосудом, наполненным изысканными благоуханиями, равнодушный китаец с жидкой бородкой написал бы непонятными мне иероглифами, что она подобна третьей, самой дорогой из трех совершенно одинаковых на вид статуэток: не той, у которой соломинка, вошедшая в одно ухо выходит из другого, не другой, у которой выскакивает изо рта, а именно третьей, у которой соломинка мудрости, войдя, не покидает тела, а я скажу, что мне нравилось и каждое из двух ушей Эммы, и ее рот, и все ее чудесное тело. В ней мне нравилось все, просто все. Я принял бы ее такой, какова она есть, по какому бы маршруту ни двинулась в ней китайская соломинка.

6.

И в последующие годы учебы, когда нам начали читать специальные предметы, Эмма не переставала умилять преподавателей тем, как ловко она подгибала и укорачивала ножки резисторов (которые у них тогда еще были), составляла регистры из триггеров (тогда это еще требовалось). Вы ведь помните? или слышали? или видели в старых фильмах? – тогда еще «подводили» часы по сигналам точного времени. Технический шаблон, деталь-призрак в новом фильме о временах нашей с Эммой и Шарлем юности.

Эмма-светлая-голова-умелые-руки. Это, по-моему, до некоторой степени шло в ущерб и за счет ее сексуальности. Весьма рослый ангелочек (плюс проклятый каблук) с прохладными глазами, сведший знакомство с парадоксами Зенона и императивами Канта, был убаюкан и сыт восхищением и любовью окружающих. А я не мог ей сказать тогда с уверенностью, что будь она даже на десять сантиметров выше меня, я все равно на десять килограммов умнее. Что касается ее роста, то мне всегда казалось, что высокая женщина и еще более высокий мужчина, поставленные рядом, выглядят как пара дебилов. Насколько я помню, мужа Nicole Kidman никогда не возвышались над ней и не затеняли тем самым ее великолепия.

Я пытался развить чувственность Эммы цитатами из ироничного Анатоля Франса, которым увлекся на третий год учебы. Однажды я привел ей слова одного из его героев о том, что лучшее в женщинах – их разнообразие. Но то, какими хвостиками Эммы мы с Шарлем оставались все эти годы, рациональную и логичную нашу подружку убеждали как раз в обратном. В ответ на эту сентенцию она лишь чуть растянула в улыбке свои чудные губы, покрытые тоненьким слоем помады наиневиннейшего бледно-розового цвета, отчего мои ничем не защищенные губы тотчас пересохли и побелели, инстинкт подсказал ей еще и на самую малость повысить температуру взгляда, и в тот же день я забросил Франса и потянулся к Достоевскому. Тогда я еще не испытывал к нему сегодняшнего чувства отторжения закоренелого рационалиста (сейчас проглотить религиозные восторги Достоевского, его всплески умиления мне так же тяжело, как насладиться выпавшим из младенческого рта слюнявым леденцом). Но в те времена моему самолюбию льстило, что я с такой легкостью проползаю вслед за прославленным автором по узким извилистым психологическим норам его романов, я широко раскрывал глаза, поражаясь каждому всплеску истерии в монологах его всемирно знаменитых скандалистов и скандалисток. Не знаю почему (возможно, и не без опоры на могучее литературное плечо моего нынешнего кумира, выпустившего гулять по миру по-настоящему трагического и мрачного «Гумочку»), но сегодня Достоевский представляется мне писателем для отрочества, а увлечение им – надежным свидетельством душевной незрелости или инфантильности читающего. Хорошо, готов сделать скидку для дам, склонных к

взвинченности и глубокомыслию, и полагающих, что Достоевский поставил перед нами вопросы морали, до сих пор не решенные.

Я вообще много читал в то время, предчувствуя катастрофу в своих отношениях с Эммой. Писать же сам я никогда не пытался, разве что – так, камерные стишки по случаю чьего-нибудь дня рождения или женского праздника. И теперь, надеясь, что когда-нибудь доведу до конца эти свои записки, я порой задумываюсь – кому же я их тогда покажу: добрым знакомым, близким людям? Меня терзает сомнение, мне кажется, что многие старые мои друзья и знакомые, общение с которыми развивало и подталкивало меня в течение жизни, на выбранном мною пути – мне не опора. Они не примут перемен. Тем более что и сам я вижу в себе всего только начинающего компилятора. И вот дьявол, подбивший меня на эту затею, – уже пристроился за плечом и шепчет мне на ухо: «Представь себе безнадежно застрявший на дне морском корабельный якорь. И вот ты смирился с потерей, решился и уже освобождаешь цепь. И видишь, как конец ее, смотанный с барабана лебедки, уходит в волны. Бог с ними, с друзьями. Скажи им спасибо и забудь о них навсегда. Кто не с тобой – того как бы и нет». Но это не об Эмме с Шарлем, конечно.

7.

Иногда мне, как сейчас, до смерти надоедает плести унылую паутину фавулы и безумно хочется взорвать ее чем-нибудь совершенно не относящимся к теме. Например, бросить читать, писать и копаться в Интернете (сверяясь и уточняя), а сшить из дешевой ткани мешочек с завязкой, выточить из дерева маленькие бочонки с цифрами на торцах, цифры покрасить в темно-вишневый цвет, раздать давно умершим старухам-соседкам моего детства карточки с тремя рядами цифр, потряхнуть мешочек и, запустив в него руку, достать наугад бочонок и торжественным голосом провозгласить: «У кого семнадцать?» Или сесть на землю и камнем разбивать грецкие орехи, глядя, как обходит, обтекает меня целеустремленная жизнь.

Вот сейчас возьму и совру вам, будто Эмма в юности могла подобно царю Александру Третьему гнуть монеты пальцами и ломать подковы. Гнула ли она пальцами мою волю? Нет, никогда. Сломала ли она мою жизнь? Несомненно.

Проблема многих мужчин – недооценка стройности женского мышления. Почти каждая женщина – прирожденный стратег. Кого в Риме называли кунктатором? Так, посылаем слово в поиск. Первая строка – Фабий Максим, вторая: «Кунктатор. Кутузов». Медлительные успешные полководцы. Сидя в крепости, женщина-полководец внимательно присматривается к осаждающим ее полкам, батальонам и ротам и сама намечает слабое место в стене.

К концу учебы я стал замечать растущую уверенность Шарля. Успехи Шарля в учебе – заслуженная награда не только его усердию, но и его способностям и замечательно ровному характеру – не замедлили сказаться и на его статусе. Если во времена изучения философии и общеобразовательных предметов он еще мог показаться кому-либо «медным задом», то по мере приближения к дипломному финишу, он уже пользовался заслуженным уважением как преподавателей, так и студентов. Уверен, не это возвышение Шарля решило дело в его пользу, оно лишь ничего не испортило. Никогда не соглашусь с предположением, что Эмма была так же глупа, как Анна Каренина, когда та сознательно согласилась на брак с уравновешенным, предсказуемым человеком, которого недостаточно любила или не любила вовсе. Я подозреваю, что все было решено Эммой еще в тот первый день, когда нам представили Шарля. Она все решила тогда же, тут же, на месте, не выпуская из рук деревянную (тогда были еще деревянные) ручку скакалки. Уверю вас, нет ничего последовательнее и тверже женского характера. Свои соображения подробнее я изложу позже, где-нибудь во второй части, когда герои повествования станут вам понятнее и ближе. Мне и самому, если честно, нужна эта пауза. Нет, один наем я все же позволю себе: она, я думаю, понимала, что любя ее так, как только и мог я любить ее, я вскоре научусь читать ее мысли, и этого ей не хотелось. Но почему? Что за ужасный характер! Непременно нужна ей была ее, только ее комнатка, с широким видом из окна на лужайку, за которой лежат

поля? Миллиарды людей за окном видят лишь стены соседних домов. Чего ей было прятать от меня? Вид на что я ей заслонял?

На пятом курсе Эмма и Шарль объявили о помолвке. Шарль был счастлив, он избегал смотреть мне в глаза, так ему было жалко меня. Но и мне, и ему было ясно, что дружбе нашей пришел конец. Выражение невозмутимости я постарался придать прежде всего своей душе, надеясь, что оно отразится и на моем лице. Не думаю, что я кого-нибудь обманул. Спасибо, Эмма, я знаю, это ты настояла на отсрочке самой процедуры бракосочетания (слова, напоминающие мне танковую гусеницу... отползти... улизнуть...). Я не присутствовал на их свадьбе, удалившись по распределению (тяготы и преимущества позднекоммунистических порядков) на три с лишним тысячи километров. Я уполз на огромное расстояние, пусть и с бесконечно-страничным альбомом фотографий Эммы в памяти. Мне представлялось, что я улизнул.

8.

Думаю, моему чувству к Эмме в ту пору недоставало зрелости и великодушия. Формально мы были ровесники, но Шарль с его ровным характером, похоже, не должен был больше меняться, поэтому его можно было с равным успехом считать двадцатилетним, сорокалетним или шестидесятилетним. В моем же чувстве преобладало желание, а это, как я ясно понимаю теперь, – ущербная страсть молокососа. Полноценная мужская любовь – это постоянная привязанность к женской мимолетности. Такое чувство в отличие от взрывного желания горит ровно, как восход солнца на цветной фотографии. Этого в годы нашего студенчества я дать ей еще не мог, просто пока не умел. Умею ли теперь? Мне кажется – да. Я помнил бы сейчас каждую нитку на внутреннем шве ее домашнего голубого халата с крупными цветами (я видел однажды такой на ней) и в то же время находился бы как будто в отдалении от нее, вызывая в ней инстинктивное стремление сократить расстояние между нами. Я был бы осторожен и бережен. Ее интегралы, плоскогубцы, философия и все прочие причуды были бы лишь пушистой накидкой на ее плечах, по которой проводишь легонько тыльной стороной ладони.

Беременной Эмму я не видел. Выстрел, произведенный Шарлевым птенчиком, внушал мне чувство омерзения. Впрочем, когда через несколько лет я впервые увидел девочку (ее назвали Бертой), – тут же смягчился. Это была такая откровенная копия Эммы, что я признал участие Шарля чисто механическим. Девочка была настолько похожа на мать, что пару раз я перехватил, как мне показалось, немного встревоженные взгляды Эммы и истолковал это, как проявление ее опасения – как бы наивный ребенок не выдал каких-то закрытых для постороннего уголков ее собственного внутреннего мира, не выставил на всеобщее обозрение, возможно, доставшийся ему вместе с внешностью по наследству и материнский склад характера.

Первое мое место работы мне не понравилось. Работа казалась мне слишком простой, но требовала знания и соблюдения огромного числа правил, относящихся скорее к порядку в технике, чем к ней самой. Чего стоила только наука о группах и подгруппах при нумерации чертежей в зависимости от их содержания или свод правил о порядке внесения изменений в них. Я скучал. Как-то выделиться в море инженерной канцелярщины казалось мне невозможным. Кроме того, что я должен был отработать определенный срок на этом предприятии, я был осведомлен и о сложностях со сменой работы, обусловленных моим неблагоприятным в империи того времени происхождением.

Объединение, на котором я продолжал работать, было настолько громадным, что только через два с половиной года работы на нем я встретил в одном из цехов свою одноклассницу, получившую образование в другом городе и тоже приехавшую сюда по распределению. В том, что мы вскоре сошлись с ней, было что-то от приятности встречи старых знакомых в новых обстоятельствах, но не только. Ее, как и Эмму, я не помню запрыгивающей в веревочный эллипсоид скакалки. Наверное, потому, что она была полновата. Она вообще была не очень заметной, училась чуть приличнее среднего. Как и многие из моих одноклассников, страдала бедностью речи. Полученное образование не изменило этого обстоятельства кардинальным образом, но придало ей

некоторой глубины и повысило ее самооценку. Выяснилось, что в карьерной лестнице я практически ни в чем не опередил ее. Рядом не было теперь лучезарной Эммы, а ее собственное курносое круглое лицо, темные глаза, аппетитно выглядывавшая (особенно в молодости) полнота ее фигуры, коротко стриженные каштановые волосы, – все это сложилось в образ, который в сочетании с давним знакомством отделил ее для меня от других. С ее стороны, подозреваю, тут был замешан некоторый личностный реванш.

Сколько мог продлиться роман на такой основе, столько и продлился. О чисто постельной стороне дела могу сказать только, что оба мы были очень старательны. Думаю, она никогда не расскажет обо мне своему будущему мужу. Не столько, чтобы не возбуждать в нем ревности, сколько просто потому, что давно уже забыла об этой небольшой интрижке и, может быть, вспоминает лишь когда попадает ей на глаза одна из школьных фотографий класса, на которых мы вместе с учительницами запечатлены сидящими и стоящими на скамейках в пионерских галстуках, позже – с комсомольскими значками на груди, либо глядим на выпускной фотографии из персональных поставленных на попа овалов с общей затейливой виньеткой, пуританской роскошью позднебольшевистской эстетики. Я сейчас разыскал этот фотомонтаж, напоминающий вид сверху на сектор римского амфитеатра, в котором зрители-ученики отвернулись от арены и не видят построенных на ней в ряд своих учителей с директором во главе. Ага, теперь я понимаю, что помогло нашему мимолетному роману – кто-то надоумил мою пассию-пышку отказаться, наконец, от лошадиной челки. Ничего не способно так обезобразить женщину, как челка. Есть здесь и наша троица – я, невыносимая Эмма и якобы третий лишний – Шарль.

Как ни сомнителен и недолговечен был наш роман, а в сочетании с появившимся опытом работы, которую к тому времени я переименовал для себя из «канцелярской» в «организационную» и которая стала доставлять мне некоторое удовлетворение, привел к тому, что я еще пару лет не предпринимал никаких попыток изменить свою жизнь. Однажды, когда наши встречи с моей одноклассницей становились уже все реже и реже, но еще не прекратились вовсе, я шел по центральной улице города. Волосам моим было еще далеко до плеч, но все же они были очень длинные. Поэтому не было ничего удивительного в том, что скучавшая парикмахерша, улыбаясь, поманила меня пальцем из-за большого оконного стекла. Уже когда я вошел в салон, я разглядел легкомысленную, веселую трансформацию Эммы. Это так взволновало меня, что я до сих пор не могу понять как удалось мне едва ли не задремать под медленные прикосновения ее пальцев к моей голове (пребывание в кресле продолжалось сорок семь минут, это я точно отметил тогда). Подстригшись, я пригласил ее в кино на предпоследний сеанс, где мы смотрели фильм и я совершенно не «нагличал». Но когда мы гуляли после культурного развлечения, мне удалось рассмешить ее комментариями увиденного. Очень хотелось бы когда-нибудь прочесть толковую книгу об умении смешить женщин, написанную дотошным профессором. Мне было бы чрезвычайно интересно оценить, насколько мое на базе собственной интуиции построенное искусство соответствовало бы теории, и главное – чего не доставало мне, чтобы уже в студенческие наши годы по этому туннелю подобраться к Эмме.

В распоряжении моей новой знакомой была доставшаяся ей от бабушки часть дома с отдельным входом, но все соседские старушки хорошо знали ее, а ей непременно хотелось считаться с их традициями, не одобряющими открытых добрых связей. Поэтому наша первая интимная близость состоялась в комнате на съемной квартире, которую я делил с еще одним молодым инженером и хозяином квартиры – вечным студентом тридцати с небольшим лет. Об этой квартире, вернее, о ее хозяине стоит сказать несколько слов. Третья комната квартиры, которую он и занимал, была, по сути, вертепом. Трудно понять, что находили в нем женщины, но факт – от воздержания он никогда не страдал. Лицо его только в статике (в идеале – на фотографии) можно было признать мужественным, но как только он начинал двигаться или говорить, в нем уже можно было обнаружить мягкость и вкрадчивость. Нос его, в общем-то, прямой, пропорциональной и правильной формы, состоял все же, как мне представлялось, из трех частей и, возможно, из-за усов ежиком, окончание его (то есть третья часть) казалась мне как будто подвижной и приноживающейся. Впрочем, квартирохозяином он был гостеприимным и расположенным к своим квартирантам, если исключить

то обстоятельство, что когда половая его энергия (действительно, почти неисчерпаемая) все же иссякала, и с очередной подружкой ему становилось тесно и скучно, он старался привлечь меня или моего соседа, а лучше обоих сразу к игре в преферанс. Поначалу мы охотно соглашались, чтобы развлечься вечером после рабочего дня, но в дальнейшем нам это наскучило, и когда очевидно становилось, что квартирохозяин наш уж очень тяготится одним только женским обществом, мы по очереди приносили себя ему в жертву, как дракону. С тех пор я потерял всякий интерес не только к картам, но и ко всяким играм, не связанным с физической нагрузкой, не исключая шахмат. А вот с подружками его у нас неизменно складывались совершенно платонические, дружеские отношения. Удивительно, какими замечательными друзьями бывают самые разнообразные женщины, когда они от вас не зависят и когда им нечего от вас скрывать.

В свою комнату вот этой квартиры я и привел мою парикмахершу. Я оставил ее одну, уйдя на кухню, чтобы приготовить бутерброды, помыть и разрезать овощи, открыть рыбные консервы и бутылку вина. Когда же я вернулся в комнату, то застал ее стоящей перед зеркалом трюмо полностью обнаженной. Поскольку я не бросился раздеваться, а наоборот быстро надел черный костюм, белую рубашку и повязал не находившую до сих пор применения концертную бабочку, то она так и продолжала смеяться, глядя в зеркало и опираясь кончиками пальцев о столешницу трюмо все то время, пока за ее спиной прятался суетливый джентльмен и лишь иногда показывалась то над левым, то над правым ее худощавым плечом его энергичное лицо и атласная черная бабочка.

Она осталась у меня на ночь, и я проснулся от ощущения губ на своих глазах, лбу, кончике носа. «Ты целуешь меня как женщину», – сказал я, улыбаясь и еще не открывая глаз. Сейчас мне кажется, что ее профессиональная привычка возиться с чужими головами была причиной внимания к деталям и подробностям моего лица, но тогда ужасная мысль, что кто-то, нависший надо мной, видит во мне женщину, едва не разнесла мой не вполне проснувшийся мозг. Я вздрогнул и широко раскрыл глаза, уставившись в два ее зрачка как в фары наезжающего на меня локомотива. И даже ответное, ее ладонью заглушенное «п-ф-ф-ф...» показалось бы мне похожим на выпущенный пар, если бы я не помнил с детства мощный слоновий характер паровозного выдоха. Разницей этой я, было, и успокоился, но она решила не давать мне опомниться и стала перечислять те предметы из парикмахерской, которые она принесет сюда, и которые послужат орудиями сексуального насилия надо мной. Она приложила ладонь как стетоскоп к моей ягодице и отслеживала ее испуганные сокращения при упоминании о расческе, ножницах и горячем фене. Я прятал голову под одеяло, ища убежища на ее вибрирующей от смеха груди. Больше я у нее никогда не стригся.

Это легкомысленное начало задало тон наших дальнейших отношений. У нее был чудесный легчайший характер, она была так просто рассудительна и даже по-своему умна от природы, что, кажется, пренебрегла за явной ненадобностью для нее всеми формальными школьными премудростями. Пожалуй, эта связь была самой безоблачно чистой из всех пережитых мною, не так уж многочисленных, кстати. Но как знать, не тогда ли, на почве моей неразделенной любви к Эмме, впервые тронута была порчей моя интимная жизнь, не тогда ли обвились вокруг нее первые кольца легкомысленности и иронии, лишая физическую близость ее по-настоящему сакрального смысла? Смешение эротики с иронией – пагубная метода, по моему мнению. И напоминающий предупреждающее рычание пса слог «ро» в обоих этих словах – предупреждение о возможных дурных последствиях смешения и употребления такого коктейля.

Когда однажды, идя по главной улице, я издали увидел в ее парикмахерском кресле длинноволосого юнца и присмотрелся к неторопливым движениям ее рук с ножницами, я сначала притормозил, чтобы справиться с волнением, а потом прошел мимо витрины так медленно, чтобы она меня непременно увидела со стороны затылка.

К тому времени я уже почувствовал, что окончательно перерос тот вид деятельности, который был мне доступен на моем месте работы. Год назад (и за полгода до окончания срока, который я обязан был отработать на этом месте) я попытался подготовить почву для перехода в местный университет. Карьера молодого ученого, занятого пионерской разработкой, весьма прельщала меня. Признаюсь, что-то очень

определенное и значимое (погоны и эполеты науки) чудилось мне в ученых степенях, а какое-то военное, офицерское начало, как ни странно, я всегда ощущал в своей душе. Я побывал на кафедре, аналогичной той, по профилю которой я получил образование в своем родном городе. Я интересовался не возможностью преподавательской деятельности, к которой меня вовсе не тянуло, но научными разработками при кафедре. Со мной встретился один из старших научных сотрудников, который сразу понравился мне своей скромной и деловой манерой общения. Он сказал, что у одного из его диссертантов возникли трудности, не возьмусь ли я помочь ему. Конечно, возьмусь, обрадовался я возможности проявить себя в настоящем деле. Мне дали небольшую статью, перепечатку из американского журнала. Мы делаем нечто аналогичное, но для диссертации необходимо теоретически вывести формулу измерительного преобразования, лишь окончательный вид которой приведен в статье. Меня познакомили с диссертантом, он рассказал мне о своих попытках решить проблему с помощью математической теории поля (речь шла о сканировании поверхности лазерным лучом). Прежде всего, я взялся за теорию. Помня свою студенческую привычку почти ничего, кроме обязательных курсовых и лабораторных работ, не делать в течение семестра, но за четыре дня подготовки к экзамену полностью осваивать подлежащий изучению материал, я оптимистично взялся за математическую теорию поля, отведя себе на нее неделю чистого времени (чистого, потому что я ведь продолжал работать). Сегодня я склонен думать, что, возможно, неудачно составленный учебник был причиной моего неуспеха, но тогда дело шло со скрипом, и я был в ужасе, решив, что мозг мой уже перешел черту возрастного усыхания (мне было двадцать пять лет), и то, что так легко давалось в семнадцать, восемнадцать лет вызывало у меня теперешнего умственные кряхтение и одышку. Параллельно я изучил статью и все никак не мог понять, зачем именно с помощью теории поля нужно выводить искомую формулу. Наконец, я сказал себе волшебное отрицание: «су-су-су», – и попытался описать преобразование чисто геометрическими методами. Результат получался многоэтажным, пока мне не пришла в голову во время сидения на унитаза (из чувства долга по отношению к малосимпатичным, но неопровержимым истинам не опускаю этой детали) счастливая мысль заменить для упрощения расчетов образуемый лучом эллипс на прямоугольник, в который этот эллипс может быть вписан. Уже через полчаса я получил формулу, в точности совпадавшую с американской. Ее милые компактность и простота вызвали у меня воспоминание о той четкости, с которой холмики юной Эммы были очерчены ее тесным серым свитером (скользящий взгляд спереди, более внимательный – в профиль). Она пришла в этом мягком, в меру пушистом свитерке в школу в наш последний год учебы в ней, и позже надевала его иногда на первом и, кажется, еще и втором курсе.

Тонкую тетрадку, лишь начало которой было исписано моими выкладками и пояснениями к ним, я отнес на кафедру. Если во время наших предыдущих встреч диссертант и его наставник обращались со мной как бы по касательной, отнюдь не будучи уверены, что из этого общения проистечет какая-либо польза для дела, то теперь оба смотрели мне в глаза совершенно прямо. Молодой соискатель ученой степени сказал, что этому простому расчету он придаст надлежащую пышность, задрапировав его для диссертации математической теорией поля, в которой он считал себя докой. Его наставнику я напомнил, что очень хотел бы через полгода начать самостоятельную карьеру молодого ученого и что кафедра, на которой они трудятся, является, по моему мнению, идеальным местом для воплощения моих амбиций. В глазах старшего научного сотрудника читались неудобство, совестливость и смирение перед силой обстоятельств. Как ни тяжело было ему это сделать (я абсолютно верю его искренности), но он дал мне ясно понять, что мне не стоит направлять весь поток своей душевной энергии на стремление вписаться в научную жизнь именно их кафедры. Он, действительно, был очень милым человеком и, продолжая так считать, – глубоко порядочным, потому что проявил достаточно твердости характера, чтобы из двух зол (месяцами водить меня за нос или прямо и честно поставить перед реальностью) выбрал меньшее. Я был наслышан об ужасных кознях, которыми славится академическая жизнь во всем мире, но теперь видел воочию, насколько слухи эти преувеличены, и что «злодеяния» ученых имеют отнюдь не шекспировский размах. Я считал тогда, и продолжаю считать точно так же сейчас, что

вышел из этой истории с прибылью, доказав себе, что умею решать поставленные перед собой задачи, вот ведь и начало моей рукописи, когда вращаю колесико мыши, просматривая заполненные страницы, представляется мне вполне складным. Тогда же простоту и искренность чувств я положил принять за главные принципы моей жизни на будущее. Конечно, немалое количество молодой самоуверенности содержалось в этом моем довольно надменном лозунге. Позднее я вполне усвоил легкое «касательное» пренебрежение к академическому миру, знакомое любому практическому инженеру, чьими многолетними усилиями и дальнейшими усовершенствованиями создаются изделия как всем известные в повседневной жизни, так и окутанные таинственностью слов «стоят на вооружении».

Необходимость избегать после разрыва с моей парикмахершей посещения главной улицы города была той острой соломинкой, которая, пробив с размаху пакет с молочно-шоколадным напитком в положенном месте, нечаянно повреждает и дно, в котором образуется при этом незаконная раздражающая течь. Я подал заявление об уходе, дал понять, что решение мое окончательно, не обусловлено желанием улучшений в зарплате или должности, отработал положенные два месяца, нашел за это время преемника, который займет и оплатит в дальнейшем снятую мною на год комнату, и вернулся в родной город.

Ах да, забыл упомянуть еще об одном, более раннем моем любовном увлечении времен нашей учебы. Неудивительно, ведь оно было неудачным, кратковременным и не имело никаких последствий. Когда через много лет я описал его и показал Эмме рассказ «Симметрия», в котором многое, включая концовку, было прифантазировано мною, она сразу опознала прототип, и в глазах ее мелькнуло победное удовлетворение. Вот этот рассказ. Он несколько сложен по структуре, написан длинными, вязкими фразами, но я привожу его первым, так как люблю больше других. Почему? Не знаю. Но если вы уже утомились чтением, отложите следующую главу на завтра, лучше на утро, когда голова легка и восприятие свежо. Мне было бы жалко, если бы первый вставной рассказ вам не понравился из-за его нарочитой монотонности, если вы равнодушно скользнете по нему усталым взглядом, ожидая лишь возврата к основной линии повествования.

9.

Почему так ничего и не произошло между нами в студенческие годы? Так ли безнадежно все было?

Только один раз, когда мы учились с ней на первом курсе и уже, без сомнения, были друзьями, я всего на мизинец заступил границу дружбы. У меня нет охоты припоминать, как и где именно это произошло. Может быть – в парах танцевального дурмана: «Том-бе-ла-не-же», – что-то в этом роде (французская песня). Идеальная атмосфера для сокращения дистанции между двумя потенциально совместимыми особами разного пола не только в случае врожденного косноязычия иницирующей сближение и пылающей юным энтузиазмом мужской половины, но и (мой случай) при внезапной или временной потере речи по разным причинам, например: «...в таверне много вина, там пьют бокалы до дна...» Сколько бы ни утверждали обратное, но в «тавернах» (в нашем случае – условных, их роль выполняли временно пустующие родительские квартиры) язык не обязательно развязывается. Бывает и наоборот – сворачивается в «прямой» узел, который, в отличие от «бабьего», когда веревка нагружается, только крепче затягивается (знание, почерпнутое мною в альплагере). Но обожаемая мною карнавалльно-богемная обстановка вечеринки определенно не шла ей, а я вряд ли стал бы разыгрывать роль ее покровителя – такого «местного» в стане разгуля и выжимать прибыль из выгодной для себя ситуации, вряд ли воспользовался бы преимуществом, которое предоставляла мне игра на своем поле. Как ни глуп я был в те годы, но у меня достало бы интуиции и «сображки» (так грубовато мы выражались в ту пору), чтобы почувствовать, если не осознать, что сокровища, добытые в неравных условиях, немногого стоят. Скорее всего, я все же, разорвав языковые пути алкоголя, «отверз уста» и сказал ей что-то слишком интимное, да, возможно, это была какая-нибудь неосторожная фраза, инкрустированная в сленг яйцеголовых, в которых мы все обязаны были превратиться по окончании учебы. Это могло быть предложение,

построенное таким образом, чтобы образовать зигзагообразную трещину в яйцевидно гладкой речи, из которой вот-вот вылупится признание личного свойства. Можно сравнить такую фразу еще и с трудом подавляемой во время танца, но все же (о, ужас!) обозначившейся эрекцией. Ну, вот, от фразы, от членораздельной речи пришли к коммуникации дикарей – к танцу, к языку телодвижений. Да – студенчество, любовь, алкоголь, вечеринки! Хоровод юности. Знаете, что! Отоприте, на здоровье, если вам этого, конечно, захочется, – унылый карцер воспоминаний об имевших место в вашей собственной далекой юности любовных фиаско и выведите из него на свет божий подходящего к случаю полосатого узника. Я же сообщу вкратце, что в результате она не словами, не явным жестом, но едва обозначенной трансформацией лица и тела за долю секунды будто облеклась в защитную оболочку (о, горе – от меня, от меня!), подобную тонкой скорлупе молодого ореха, и дала понять, что я должен вернуться за исходную черту. «Я не нахожу места для ЭТОГО в наших отношениях», – таково, показалось мне, было отправленное изнутри ее девичьей крепости безупречно корректное, но недвусмысленное послание. И я тут же ей поверил. Я считал себя сообразительным и проставил грустный итог сразу вслед за двоеточием: «Невозможно», – таков был мой вердикт, требовавший от меня постараться как можно быстрее забыть об этом печальном происшествии. Я, конечно, не забыл. Детали стерлись в памяти, но не бухгалтерское дебетовое сальдо, о котором следовало помнить, чтобы избежать аналогичных досадных конфузов в будущем.

Но так ли обстояли дела в действительности? Еще раз спрашиваю себя – в самом ли деле имела место абсолютная безнадежность? После двух скороспелых и быстро распавшихся браков, от которых остался лишь опыт – богатство неудачников – я сейчас не уверен в правильности тогдашнего поспешного своего решения.

Мне хотелось бы написать ее портрет. Например, с помощью тонко заточенной спички, вставленной в цанговый карандаш. Я читал – эта относительно новая техника позволяет сочетать острые линии с нежными и бархатистыми. Именно то, что мне нужно.

Она была бы идеальной женой, в этом не может быть сомнения, поскольку в высшей степени была одарена редчайшим в образованных (да и в любых) женщинах качеством – нетребовательностью. О ней можно было забыть на какое-то время и потом найти ее в совершенно не изменившемся от такой «заброшенности» расположении духа. Однажды, во время вечеринки на квартире родителей одного из студентов, обнаруженная подвыпившим сокурсником в кресле за чтением книги, она оторвала спокойный взгляд от страницы в ответ на приглашение вернуться к веселью, чтобы принять участие в какой-то сумасбродной затее посреди всеобщей возбужденной суматохи, но отрицательно качнула головой и осталась читать. Этот тогдашний ее взгляд, так не соответствовавший разгоряченному водовороту студенческого гулянья, все же подтверждал, что она, несомненно, находится в том же месте, где и вся веселящаяся компания, то есть на той же квартире, в тех же комнатах. Нам, ее сверстникам, не противопоставлялись этим взглядом никакие дурацкие девичьи принципы, не был спрятан на груди заветный ключ от недоступной другим духовной сокровищницы. Никаким вызовом не отвечали потревожившему ее весельчаку ни легкое платье на ней, ни прямая, но без всякой искусственности, посадка в кресле. Было некоторое несоответствие обстоятельствам, вполне милое и немного потешное в моих глазах, и только.

Став ее мужем, за нее можно было бы, без сомнения, быть совершенно спокойным – она была привлекательной, но не настолько красивой, чтобы занятой донжуан стал тратить уйму времени и сил на более чем сомнительное предприятие ее совращения. Она, безусловно, заслуживала той степени доверия, с которой, просыпаясь среди ночи, в темноте, не включая света, пьешь воду из горлышка с вечера приготовленной бутылки с охлажденной водой. В ней, разумеется, не было ничего и от так называемых роковых женщин. Не обладала она таинственной темной силой, влекущей вас за мучительной страстью даже в случае очевидного, словно выставленного напоказ распутства объекта вашей любовной болезни. От нее не дождались бы вы и нелепых интеллектуальных построений. Вам ведь известно – ум состоит из собственно ума и умения им пользоваться. У женщин это часто не сходится (ладно, у мужчин – иногда тоже). Но не у нее. Она не была пропитана ни керосином идей, ни дешевыми духами высоких устремлений.

Конечно, конечно, завоевывать ее стоило только для долгого и счастливого брака. И вот за пять лет учебы никто, кроме меня, не решился... Но прав ли был я, так легко сдавшись?

Речь, конечно, не могла идти о прибавлении настырных попыток или умножении прямолинейных любовных подкопов. Наш преподаватель и куратор, чуть прихрамывающий пожилой человек, очень милый, всегда носивший темные костюмы с подшитыми ватными подушечками, вынуждавшими плечи пиджака образовывать почти прямую линию, заботясь о профессиональном будущем своих подопечных, порой предпринимал робкие и искренние попытки убедить нас прилежно учиться. Однажды он сравнил вознагражденные усилия не слишком одаренного студента, получающего в конце учебы диплом инженера, с успехом настойчивого молодого человека, делающего бесконечные предложения своей сокурснице и получающего неизменные отказы. «Глядишь, на последнем курсе – поженились», – заключил он под возмущенный гул студенток всего потока. Но и мне тогда этот «счастливый» конец не понравился. Я тоже, вместе с юными своими сокурсницами, которых, как и меня, нисколько не смущала массивная жесткость деревянных скамей полукруглой, на задних рядах уходящей к потолку аудитории, не был готов к неприятно пораженческой покладистости в отношении к своей судьбе. Будущее тогда еще представлялась мне в виде неясных очертаний горы, к подножию которой я только подступался, вооруженный ледорубом, в легкой ветровке, с несколькими тонкими свитерами и запасом теплых носков в рюкзаке, обутый в недорогие отреконенные ботинки.

Конечно, я не должен был описывать вокруг нее унылые механические акульи круги, но я смог бы, наверно, вызвать в ней чувство голода по себе. Ведь она нередко первой приступала ко мне, затевала какой-нибудь спор, наклонив голову и глядя мне в глаза, и тут же делала четверть шага назад, выслушивая меня с расстояния, чуть большего того, с которого был задан ее вопрос. Господи! Да ведь это, возможно, был ее собственный, ею изобретенный способ (соя вместо мяса) обыкновенного кокетства. Этими расстояниями и я мог бы осторожно играть. Да мало ли! Обширен арсенал средств, вызывающих привыкание, переходящее в наркотическую потребность одного человека в другом. Но вместо этого я почти в самом начале нашего знакомства заморозил свое чувство к ней. Вопрос – не пал ли я тогда нелепой самовлюбленной жертвой задетого самолюбия? Но, с другой стороны, – не орудую ли я сейчас любовной логикой так же неуклюже, как палочками в японском ресторане? Не предаюсь ли иллюзиям, зашвыривая на вершину холмика накопленных мною в течение жизни личных воспоминаний несуществующие, вернее, никогда не существовавшие оттенки наших отношений? Ведь столько времени прошло с тех пор до этой, ныне текущей минуты, когда она так неожиданно позвонила мне из гостиницы.

Есть неизбежная симметрия в жизни. Сделайте одолжение, пока я прижимаю телефон к уху, мгновенно догадываюсь, но с замиранием сердца теплым, вкрадчивым тоном все же выясняю, кто звонит, и узнав наверняка, отзываюсь радостными и недоверчивыми восклицаниями, в течение этого недолгого промежутка времени представьте себе технический чертеж – изображение в изометрии длинной неоновой лампы. Но не целой, только что вынутой из картонного желоба с гофрами, а еще недавно оголтело мигавшей в одной из комнат некоего (неважно какого) учреждения и из-за этого выключенной вместе с несколькими другими, повинными лишь в том, что были на одной линии с ней. Ее готовится заменить электрик, и вокруг него, как вокруг насекомого, севшего на поверхность гладкой воды, возникает локальное возмущение жизненной ткани учреждения (складная лестница, контрольный щелчок выключателя, чтобы не промахнуться). Так вот – как не может быть изображено мигание лампы на чертеже, так не станет инженер в изометрии изображать длинную лампу во всей ее протяженности. Ведь тогда слишком миниатюрными и малоразличимыми окажутся мелкие детали. (Конечно, теперь, со всеми хитроумными компьютерными zoom-ми, эта проблема легко преодолима, но когда в ваших руках лишь распечатанный на принтере лист... понятно). Поэтому середина изображения условно вырезана, и ампутированная часть целого заменена двумя волнистыми линиями с небольшой прорехой между ними. Но несмотря на разрыв, совершенно ясно, что два одинаковых цоколя на концах и две пары коротких рожек контактных штырей составляют единое симметричное

целое. Такой вот прозаический символ случающейся в жизни симметрии удаленных друг от друга во времени и пространстве событий с не менее символическим разрывом, внутри которого условно обозначенная им жизнь монотонна или повреждена, или и то и другое вместе, и ее изображение без необходимого сокращения и исправляющего обмана не вставишь в рассказ, не сделав его таким же монотонным и неисправным.

Вы ничего существенного не упустили в нашем телефонном разговоре, отвлекшись на затянувшиеся размышления о симметрии и изометрии и о символическом изображении с их помощью прихотливого течения жизни (допускаю, что эти рассуждения показались вам утомительными). Но соскользнув с первого высокого порога, наше телефонное общение разлилось и стало обычным разговором давно не видевших друг друга людей, в течение которого мне почудилась опять все та же давняя ореховая оболочка, согласно логике времени уже затвердевшая. В какой-то момент, правда, у меня екнуло сердце и показалось, будто снова она подняла на меня от книги свой серьезный взгляд. Ведь я и был, сейчас вспомнилось мне, тем самым подошедшим к ней на вечеринке пьяным студентом.

– Сколько времени ты пробудешь в наших краях? – спросил я и подумал: «Как хорошо, что она позвонила на сотовый телефон, а не на домашний». (Вот он стоит рядом на тумбе и очень удобен тем, что – не только телефон, но еще и часы, и в качестве таковых показывает время крупными цифрами – я иногда просыпаюсь ночью и вижу, который час, не надевая очков).

– Примерно неделю, – ответила, чуть понизив голос, она.

– Как жаль! – не поверите, но это я говорю, я, глядя на цветущие кусты за окном спальни (название их мне неизвестно). – Я сейчас в командировке в Квебеке, вернусь через одиннадцать дней. Ну, расскажи еще что-нибудь о себе.

10.

Я единственный и поздний ребенок своих родителей. Приехав домой после почти двухлетнего перерыва (предыдущий отпуск был использован мною целиком в альплагере в ущелье Джан-Туган на Кавказе), я застал их нельзя сказать, чтобы резко изменившимися, но и не совсем такими, какими знал всегда. В них произошел несомненный перелом. Мать, кажется, утратила прямизну спины, отец словно полинял, а куций пиджак, в котором он меня встретил, пах смесью одеколона и затушенных сигарет. Светлая шляпа на его голове выглядела едва ли не довоенным анахронизмом, но он жаловался, что не может обходиться без нее, потому что даже непродолжительное нахождение на солнце вызывает у него приступ головной боли. В дальнейшем оказалось, что в несколько видоизмененной форме я, видимо, унаследовал от него этот недуг, только у меня головная боль неизбежно начинается на ветру.

Но прежде несколько слов об альплагере. Что я там узнал о себе? что люблю длинные переходы и ледники, что не боюсь стоять над пропастью, но когда карабкаюсь по отвесным скалам, ноги мои дрожат, несмотря на страховку. Что видам с вершин я предпочитаю те, что открываются при достижении седловины, соединяющей два ущелья, что видами этими приятно любоваться, зачерпывая из синей жестяной банки гущенное молоко в смеси со свежим снегом. Наверняка из этих наблюдений можно вывести какие-то предположения о моем характере. Но если бы кто-то попытался облечь их в прямолинейные заключения, я отнесся бы к ним с пренебрежением, потому что не люблю психологической разделки душ. Картина в цельности говорит мне больше, чем вырезанное из нее филе обобщений. Очень может быть, что именно это позволило мне принять Эмму в ее обновленной цельности – с Шарлем и Бертой.

Поселился я поначалу, естественно, у родителей, понимая, что ничего «естественного» в этом нет: я успел уже привыкнуть к самостоятельной жизни и бытовой комфорт не мог компенсировать мне недостаток того ощущения, которое я называл «утренним рыком льва в пещере», хотя причин рычать ни по утрам, ни посреди ночи у меня не было никаких.

Связи отца помогли мне в устройстве на работу. И теперь это было, к счастью, не администрирование и «решение организационных вопросов», а воделенная для меня возможность рожать и растить

новые технические организмы (именно так высокопарно одухотворял я объекты своей деятельности). На новом месте я очень стеснялся того, что годы в отъезде, в значительной степени потраченные мною на деловую переписку и технические протоколы, оставили меня почти еще студентом в сугубо профессиональной области. Я решительно не умел учиться у других, не слишком этим «другим» доверял и искал ответы на свои вопросы в специальной литературе. Это был утомительный неблагодарный труд золотоискателя-кустаря, так как большинство книг тоже были своего рода технические «су-су-су», то есть, казалось, слегка переоформленные чьи-то кандидатские и докторские диссертации, которые обязаны были для соблюдения канона содержать обширный математический аппарат и пускать корни в физику. Намного легче стало лишь тогда, когда появились переводные американские и европейские книги по схемотехнике, обобщавшие практический инженерный опыт в моей области. Имена Tietze и Schenk, Horowitz и Hill много скажут инженерам моего поколения.

В общем, я увлекся и был, наконец, по-своему счастлив. Чтобы сделать данное утверждение более наглядным, приведу пример. Сегодня, чтобы автоматически распознать деталь или сделать выводы об ориентации ее в пространстве, достаточно цифровой фотографии и программной обработки полученного изображения. Но в описываемое мною время до тотальной компьютерной революции оставалось еще несколько лет, да и на ранних ее этапах, когда компьютерная техника еще казалась по сложности и громоздкости чем-то близким если не к автомобилю, то, по крайней мере, к мотороллеру, ее использование в каком-нибудь небольшом локальном механизме выглядело громоздким и совершенно неоправданным. Задача должна была решаться чисто электронными средствами. Электронную систему, чтобы она была достаточно гибкой, предполагалось «обучать» всем возможным вариантам распознавания деталей и их положений, а в оперативном режиме производить сортировку в соответствии с полученными «знаниями». Признаюсь, словосочетание «электронная схема выборки и хранения информации» приводила меня в состояние близкое к оргазму – ни больше, ни меньше. Поэтому, когда компьютерная техника и программное обеспечение к ней стали медленно, но верно вытеснять индивидуальные электронные разработки, меня нередко одолевало грустное чувство, похожее на то, с каким пожилой гипертоник смотрит на юных футболистов.

Между прочим, создание описанной мною электронной системы можно смело приравнять к написанию повести или очень длинного рассказа, а когда в течение года или двух-трех разрабатывается комплекс, состоящий из нескольких взаимодействующих между собой блоков такого рода, то процесс его создания можно приравнять к написанию романа. Смейтесь надо мной на здоровье, но когда я взялся за настоящие записки, то был сначала поражен тем, как много общего в инженерной разработке и сочинении литературного произведения, а потом и немало воодушевлен и обнадужен мыслью, что раз мне удавалось первое, то, возможно, удастся и второе. Отсюда и некоторые мои затруднения и особенности моего письма, ☺-☺ (ха-ха). И наоборот, по стилю моего романа можно вполне достоверно судить о качестве и особенностях моих инженерных достижений. Кстати, произведения великих писателей служат для меня аналогом американских учебников по схемотехнике. А вот интересно – поможет ли мне инженерная привычка «вылизывать детали» разглядеть какую-нибудь любопытную мелочь и догадаться вставить ее в текст. Такое, например, наблюдение: на манжетах рубашки Шарля, когда я пришел к ним впервые после возвращения, были по две пуговицы, одну манжету он застегнул туго, на дальнюю пуговку, а другая, на той руке, на которой носит часы, болталась свободнее, потому и обнаружила существование двойняшек – круглых белых блестящих пуговиц, пришитых так: =, а не так: +. Одна из них – прикована на видном месте, другая – в петле. И вот еще: если бы Шарль саму рубашку в спешке застегнул со смещением по фазе на одно межпуговичное расстояние, то об этом здесь не стоит упоминать, так как, скорее всего, покажется читающему нелепым фарсом, направленным на примитивное осмеяние школьного товарища, и выдаст с головой мою зависть к его семейному счастью. М-да, любопытно.

Почувствовав себя уже более или менее уверенно в профессиональном смысле, я осознал, что могу теперь воспользоваться и полученным на прошлой работе организационным опытом, наличие которого выгодно

отличало меня от товарищей на новом месте. И я начал активно использовать эти свои навыки с целью добиться такого положения, чтобы я сам, и никто другой, ставил себе задачи и определял способы их выполнения, хотя в промышленности техническое задание (аналог сюжета) получаешь, как правило, в готовом виде от заказчика.

Снимать только комнату, как я это делал в первые годы своего инженерства, мне больше не хотелось, я перерос уже этот полустуденческий стиль жизни. Найти квартиру для съема целиком было и трудно, и дорого. Но мне все-таки удалось это сделать, заполучив в свое распоряжение квартиру офицерской семьи, выехавшей на другое место службы, но предполагавшей рано или поздно вернуться в наш приморский южный город. Цена была умеренной – из-за знакомства с моими родителями и надежды, что я буду поддерживать порядок в квартире и сохраню в хорошем состоянии их мебель. Офицеру такие условия казались невыгодными, но жена убедила его, а я подчеркнул, используя наисolidнейшую из доступных мне интонаций, что нахожусь уже не в том возрасте, чтобы устраивать в их квартире подростковые оргии или студенческие попойки. Офицер, капитан третьего ранга, насколько я помню, смягчился и сделка состоялась.

Мои родители снова остались вдвоем, но ненадолго. Однажды за обедом соус брызнул на рубашку отца. Он прямо на себе стал тереть пятно, пока оно еще было свежим, маленькой щеточкой, смоченной в мыльной пене, но почувствовал боль в том месте на теле, где тер. Через два года его не стало. Я не привожу здесь подробностей его болезни и смерти, так как полагаю, что иногда стоит производить полную очистку памяти, чтобы избежать возникновения посттравматического синдрома. Из этого вовсе не следует, что я был равнодушен к отцу. Нет, мы едва ли не с самого моего отрочества, когда естественная детская близость к матери, вытеснилась во мне не менее естественной мужской привязанностью к отцу, стали единомышленниками, особенно во всем, что касалось истории большевизма, социальных теорий и неприязни к власти предрержавшим того времени и характеру той империи, в которой мы жили. Если что-то серьезно разделяло нас, то это было мое неизменное ощущение, что моральные нормы, которым следует отец, как-то уж очень завышены и имеют под собой видевшуюся мне почти религиозную основу. Мне казалось, что я гораздо хуже и эгоистичнее отца, и что хотя он никогда ничего не требует от меня, нахождение в его тени несколько меня угнетает и заставляет ежиться и проявлять утомительную для меня скрытность. Размышляя об этом сейчас, я начинаю приходить к мысли, что, возможно, значительно больший, чем я мог предположить тогда, вклад в это ощущение вносило ролевое различие между нами. Позиция отца всегда предполагает и несравненно большую ответственность и может быть даже некоторую жертвенность.

А тогда, после его ухода из жизни, я решил пожить с матерью, чтобы облегчить ее психологическое состояние. Отношения между моими родителями, сколько я помню, всегда были очень ровными, и чем дальше, тем больше в них было от старицкой потребности поддерживать друг друга, и все же я ожидал, что мать перенесет это тяжелее и не мог не отметить, что женская психология содержит в себе спасительный элемент подсознательной готовности к ранней потере супруга так же, как смерть родителей редко приводит к психологическому надлому детей и к посттравматическому синдрому на этой почве. Тогда я подумал не без удовлетворения, что ведь мы с Эммой ровесники, что я старше нее всего на три месяца и что если бы мы были женаты, то неплохо было бы ей быть лет на пять-шесть моложе меня. Понимаю, жалкие мыслишки.

Необходимость в устройстве собственного семейного гнезда никак не обозначалась на горизонте. Близость Эммы явно не способствовала моему превращению в счастливого семьянина, мать вздыхала по этому поводу, зарабатываемые мною деньги не тратились, и вскоре мне безумно захотелось обзавестись собственным автомобилем. Приобрести новую машину в условиях большевистской экономики было для меня невозможно. Не слишком старый автомобиль со вторых рук был дороже нового и дороже квартиры, но мое желание было так велико, что осуществление этой авантюры стало целью и для матери. Она ввела режим жесткой экономии, подарила мне для продажи все ненужные ей драгоценные украшения, и относительно скоро я стал автомобилистом, что и на работе явно ввело меня в узкий круг личностей, отмеченных

ореолом способности доводить до конца проекты, не только связанные с работой, но и с условиями личного быта. Я был ужасно горд собою, и едва показав приобретение матери, торжественно свозив ее на городской рынок и освоив главные городские маршруты, свой первый автомобильный визит нанес Шарлю с Эммой.

11.

Вы заметили, наверно, что до сих пор я обходился без диалогов и, возможно, полагаете, что пора бы уже вам услышать наши голоса. Мой, Шарля, Эммы. Это называется – речевая характеристика героев. Понятия не имею, по плечу ли мне это, но попробую.

– Привет, Шарль, – сказал я в телефонную трубку.

– Эмма, Родольф звонит! – ответный радостный крик Шарля.

– Родольфо-Додольфо, жертва Адольфа? – из дальнего угла квартиры, видимо, родной голос Эммы.

Приветливая веселая интонация. Эмма! Эмма! Но почему ты шутишь, когда слышишь мое имя? Неужели, в твоих зимних глазах я обнаружу теперь банальную весну с ручейками, спокойно-привычно позволяющую воспевать себя любому начинающему поэту, рисовать себя каждому восторженному мазиле? В этот момент мне совершенно расхотелось ехать к ним, я был уже уверен, что, когда откроется входная дверь, мне в нос ударит кисломолочная прелесть деревенского уюта.

– Поезжай к нам немедленно, – это уже взяла трубку Эмма.

Северное сияние мое! Она почувствовала, что я готов ретироваться. Они не рассчитывали, что я приеду так быстро, поэтому я застал Эмму смахивающей пыль с телевизора. Тряпичей меньшего размера тумбу под ним обихаживала Берта (Эмма в миниатюре, как я уже предупредил вас). Всем известно мужское равнодушие к чужим детям, поэтому я стал смотреть на Берту, чтобы не ослепнуть и скрыть тот очевидный факт, что в блеске Эммы местоположение Шарля я могу определить только по голосу.

– Как тебе удалось добраться так быстро? – спросил он откуда-то из-за спины со стороны левой руки. – Ты звонил из ближнего телефона-автомата?

– Я приехал на автомобиле, – ответ мой был так скромен, что Эмма рассмеялась, а Шарль озадаченно замолчал.

– Пошли смотреть, – потребовала Эмма, и мы все вчетвером на лифте спустились с седьмого этажа.

Вообще-то, в то время мне гораздо большее удовольствие доставляло развлечение, заключавшееся в том, что в полумраке гаража, никем не наблюдаемый, я садился на заднее сидение из желтой искусственной кожи и оттуда наслаждался глубиной салона, видом руля и приборной панели, малиновым блеском краски капота. Езда пока еще была довольно нервным занятием для меня, но я предложил прокатиться. Они вернулись на несколько минут, чтобы переодеться, а я остался в машине.

Я покатил их в центр города по заранее опробованным маршрутам. Шарль сел рядом со мной, Эмма с Бертой – сзади. Я слышал, как они ерзают там, это Эмма передразнивала юркую Берту. Шарль, наоборот, притих. Так мы катились вдоль с детства знакомых улиц, мимо кинотеатров, библиотеки, пышной. Моя нескрываемая напряженность за рулем, кажется, только добавляла значимости происходящему.

– Бей желудочника! – весело заорал я, когда передо мной довольно резко остановилось такси, чтобы высадить пассажиров.

– Что это такое? – рассмеялся Шарль.

Я рассказал им о своем инструкторе по вождению, это его выкрик я воспроизвел. Тогда же, когда услышал его, я поинтересовался, откуда взялось такое прозвище. Тот заявил, что все таксисты – стяжатели, и чтобы не упустить лишнего клиента, они не обедают и не ужинают вовремя, а перекусывают бутербродами, когда придется, и потому – у всех гастриты и язвы желудка. Сам он не только не отказывал себе в регулярном питании, но и попутно с преподавательской деятельностью решал многие другие собственные проблемы – наша езда в основном состояла из коротких переездов от одного пункта к другому, по достижении каждого из которых он исчезал на время от нескольких минут до получаса. Однажды, когда я пришел на очередной урок, я застал его за ремонтом автомобиля. Другой машины на замену не было, я же должен был после занятий вернуться на работу, и поэтому не

только не предложил своей помощи, но и, поинтересовавшись, в чем состоит неисправность, предложил временное решение, которое оставило бы нам некоторое время на вождение. В ответ он выглянул из-под машины с гаечным ключом в испачканной маслом и черной гарью руке, и во взгляде его не просто сквозило презрение, оно будто забрызгало меня таким неприличным образом, как если бы прямо передо мной внезапно сорвало наконечник смывателя писсуара:

– Ну и фуфлыжник же ты, – сказал он со смаком и, видимо, с трудом удержавшись, чтобы не сплунуть, и я понял, что в отношении трудовой этики он предъявляет к себе очень жесткие требования.

Не удивительно, что милейший капитан третьего ранга, продавший мне свою машину (он подписал все бумаги, положившись на мое честное слово отдать через две недели недостающую тысячу рублей) и севший в нее вместе со мной и со своей малолетней дочерью, вызвавшись посмотреть как я вожу и дать мне пару-тройку полезных практических советов, сначала помрачнел, потом попросил подъехать к дому, высадил дочь и для приличия, чтобы не быть заподозренным в трусости, сделал со мной еще пару кругов по нашему району, и наконец, удалился в мрачном состоянии духа. Какое-то время я арендовал его гараж, где хранилось также и некоторое имущество капитана, так что он наверняка видел результаты двух моих неудачных выездов из его гаража задним ходом. В результате первого из них я вырвал из тела машины левую часть бампера, и ус его, глядевший теперь вверх и в сторону, довольно приблизительно пригладил. В другой раз, обернувшись, я упустил из виду, что дверь с моей стороны осталась открытой, и по неопытности не сразу по шуму все увеличивавшего обороты двигателя догадался, что мне что-то мешает. Дверца сначала уперлась в стену гаража, а затем стала вминаться в корпус машины. Денег на ремонт у меня не было, поэтому починку и в этом случае я произвел самостоятельно, привязав дверь к дереву, нажимая на газ и проверяя, встала ли дверь на свое место. Операция, можно сказать, удалась, потому что дверь закрывалась, а автомобиль со шрамами как и человек считается практически здоровым. Все фотографии на фоне машины с тех пор я делал исключительно с правой, неповрежденной стороны.

Но в тот день машина еще была цела. Шарлю и Эмме, я чувствовал, хотелось расспросить меня о том, что происходило со мной в прошедшие со времени нашей учебы годы, но каждый из них хотел, видимо, сделать это отдельно, и потому оба молчали. Мне показалось, что настроение Эммы начало портиться и неожиданно она сказала: «Родольф, ты так ошарашил нас своим звонком, что я совсем забыла – мой отец уже полчаса как ждет нас у себя. Ты не мог бы подбросить нас к его дому? Ты еще помнишь, где он?» Эмма, Эмма, как тебе не совестно? Могу ли я забыть дом, к которому столько раз подкрадывался школьником, не столько рассчитывая тебя увидеть, сколько оказаться в незаконной близости к тебе? Мне показалось, что Шарль был удивлен, но я не уверен в этом.

– Извини, что так получилось, – сказала Эмма, – приходи еще и расскажи нам подробнее о себе.

Она произнесла это, уже выйдя из машины и наклонившись к открытому мною боковому окну, потушив в глазах по очереди весну, лето и осень и оставив мне сосущую пустоту в груди с подвешенным на ниточке оледеневшим четырехкамерным мотором.

– Да, да, – подтвердил Шарль из-за ее выпрямившейся спины, и Берта помахала мне ручонкой. Славная девочка.

Вот и весь диалог. Но мне жаль расставаться с этой сценой. А что, если обратить ее в отвратительный скандал, будто бы состоявшийся после моего отъезда, и который, конечно же, является лишь плодом моего воображения. Это будет игра, всего лишь игра в диалоги.

– Значит, самая короткая из твоих юбок и самые высокие каблук – это для визита к папе?

– Прекрати, Шарль.

– Не волнуйся так, не то у тебя выпадет грудь из лифа.

– Свинья!

– Берточка, – обратился Шарль к дочери, – твой папа – свинья. Хрю-хрю!

– Оставь ее в покое, кретин!

Тем временем я, обнаружив, что попал в тупиковую улочку, развернулся и снова должен был проехать мимо них. Я притормозил,

открыл окно, чтобы с юмором объяснить свое нелепое вторичное появление, но тут увидел красные пятна на лице Эммы, плачущую Бертю и побледневшего Шарля. Не прошло и трех минут, как мы расстались, произошедшая в них перемена поразила меня.

– Что случилось? – спросил я будто бы озабоченно, а на самом деле предчувствуя, догадываясь и – да, конечно, – ликуя.

– Поезжай, поезжай, – сказала Эмма.

– Она полагает, что я – кретин и свинья, – сказал Шарль, – а ты как думаешь?

– Шарль! – сказал я спокойно-укоризненно, но внутренне бурно радуясь.

Любая несправедливость в отношении бывшего друга казалась мне в этот миг вполне заслуженной им.

– Может быть, я и правда кретин и свинья, но тебе-то я был настоящим другом. А знаешь, – спросил Шарль, – откуда я приносил для тебя новенькие коробки «Беломорканала»? Я воровал их в магазине, мой отец никогда не курил этих папирос. А ты жулил, играя в карты на деньги (наглая ложь!!!), и скармливал мне по три мороженных перед качелями, чтобы меня стошнило на них! (Ну, надо же – какой подлец!) А начал ты с того, что сдернул с меня трусы.

– Зачем ты врешь? – взбунтовалась Эмма. – Я же видела – это был не он. Они подбежали к тебе вдвоем, но сдернул трусы не Родольф, он только боднул тебя головой в грудь.

– Как Зидан Матерацци, – прокомментировал я, хотя про «бодание» не помнил.

– Зидан боднул после того, как Матерацци сказал ему гадость, – с отвратительной плаксивостью в голосе пожаловался Шарль, – а ты и оскорбил, и сам же въехал головой в грудь.

– «Головой в грудь...» – презрительно передразнил я Шарля. – И что я сказал тогда? – это сейчас мне много чего хотелось бы наговорить ему, а тогда, в двенадцать лет, что уж я мог сказать такого, что обижало бы его по сегодняшний день?

– «Эй, рогатенький!» – припомнил Шарль без особой охоты.

Эмма расхохоталась.

– У тебя на макушке, – сказала она Шарлю, – действительно были два ежика, вместе похожие на рожки. Я помню, я смотрела на них после того, как ты вернул на место свои штанишки.

– Ну, наконец-то я услышал, что привлекло тебя в этом типе, – сказал я, обращаясь к Эмме и жалея, что я не тот актер с гуттаперчевым лицом, который играл в «Маске», и не могу, обернувшись к Шарлю, изогнуть улыбку в виде рогов.

– И жаль, что это не я оголил тебя, – желчь, затопляя удовлетворение, разливалась во мне, Шарль воспринимался мною в это мгновение как волоконца жесткой говядины, застрявшие между зубами. Так же нетерпеливо, как желал бы я в этой ситуации обладать длинным ногтем, заостренной спичкой, а лучше всего – настоящей зубочисткой, чтобы выковырять побыстрее досадную, грозящую стать гнилью помеху, так же неистово я искал слов, которые обидели бы его посильнее, но сказал то, что мучило по-настоящему меня самого:

– Жаль, что это не я устроил экспозицию распылителя мистера маляра, из которого он замазывает бесценные картины.

– Да? – Шарль схватил на руки плачущую Бертю. – Смотри, смотри, как рисует этот распылитель!

Я молча вынул ключ из замка зажигания и вырезал им тот кусок желтой кожи сидения, который повторял еще контур Шарлевой задницы. Трудно сказать, зачем я это сделал: за психически неуравновешенным жестом, декларирующим мое негативное отношение к оскверненной обивке сидения, за демонстрацией бескорыстного благородства через варварский поступок, видимо, скрывался еще какой-то нечистый подтекст, который должен был обиняком выставить Шарля завистливым безлошадным смердом.

– Ха-ха-ха! – Шарль прямо закатывался от смеха, словно он превратился в крайнюю плоть на своем же твердеющем на глазах мерзком инструменте размножения Эмм. – Хочешь, я дополню картину и вырежу на память контур еще кой-чего, что не оставило четкого следа на сидении, но нередко оставляет следы в неких таинственных глубинах?

– Как вам не стыдно? – кричала Эмма. – Вы оскорбляете меня оба. Она потащила Бертю вперед по тротуару. Шарль был отвратителен.

– Династия длинноногих шлюх, – негромко сказал он, видимо, имея в виду, прежде всего мать Эммы и уж только потом ее саму, но сказал-то он это вслед Эмме и Берте. До него тут же дошло, как может быть истолкована сказанная им гадость, он покраснел, но фанатичное упрямство, незнакомое мне в нем раньше, взяло свое.

– Династия длинноногих шлюх! – еще раз глухо и зло произнес он.

Это повторение было невыносимо, оно было хуже, чем даже смысл его грязных выкриков. «Совсем рехнулся», – подумал я, но поглядел на ноги Берты, полюбовавшись же, решил, что еще рановато судить, какими они станут, когда девочка вырастет.

– Не смей пялиться в ЭТУ СТОРОНУ! – взревел Шарль.

– Да ведь ты сам обратил мое внимание, – уж я постарался назло ему как можно более гнусно осклабиться. – Ша-арль, – сладко пропел я, – ай-яй-яй!

Вы ведь обращали внимание в супермаркетах, какие нарядные, пухлые, свежие, веселые лежат на полках под ярким светом разноцветные сладкие перцы. Они бывают красными, желтыми, зелеными. Именно эти цвета, кажется, даже в этой последовательности сменились на лице Шарля, но не было в нем ни нарядности, ни пухлости, ни свежести, ни веселья, а я страстно желал, чтобы лицо его теперь побелело так, как никогда не случается со сладкими перцами, но каким только и бывает выставляющий их на обозрение неоновый свет. Но вместо этого Шарль вдруг повеселел и, ухмыляясь, спросил:

– И что ты собираешься делать с отпечатком моей задницы? Ха-ха-ха!

– теперь уже он игриво погрозил мне пальцем. – Я возражаю! Хотя и не могу помешать.

Гаденыш, он, значит, решил перейти в наступление, и вот – радостно скалитесь своей убогой шутке и добавляет:

– Лучше повесь на стену в гостиной. Пусть она смотрит на тебя.

– Жаль, что я не повернул тебя тогда спиной к Эмме и не нагнул маленькой строчной «г», – ответил я, поглядев на выкройку, – тогда в ее сознании твой образ сложился бы по-другому и гораздо больше соответствовал бы оригиналу.

– «Г», «г», «Г», – добавил я, выстреливая в Шарля именно этими не прописными мягкими, липучими буквами.

Я хотел было высунуть голову из окна, чтобы плюнуть ему на туфли, но подумал, что этот ненормальный может тяпнуть меня кулаком по макушке и смять трахею об опущенное стекло. И не стану я отмывать своей слюной его башмаки, в которых водится пара, наверняка дурно пахнущих конечностей. На лице моем отразилось отвращение, вызванное последней мыслью, я завел машину, обогнал Эмму, затормозил перед ней, поднял и показал ей вырезанный кусок кожаменителя все еще сохранявшего две овальные вмятины. Я выразительно потыкал пальцем сначала в каждую из них, потом в сторону догонявшего нас Шарля, мимикой подтвердил долженствующую возникнуть у умницы Эммы догадку о ценностной тождественности Шарля и отпечатка его собственной жопы, потом исказил лицо так, что сморщенный фиником нос мой стал геометрическим центром единой композиции «сморщенности», выражающей идею отвращения, затем, демонстративно скомкав жалкий обрывок синтетической кожи, бросил его на дно салона. Взгляд мой перед тем, как я нажал на педаль акселератора, ясно показал Эмме, что все внутреннее пространство моего автомобиля – всегда в ее распоряжении.

Разумеется, ничего подобного не было, и до того футбольного матча Италия-Франция с инцидентом Зидан vs Матерацци оставалось еще много лет, и фильм «Маска» еще не вышел на экраны. Это все – фантазия, эксперимент с диалогами, демонстративно и в бурной форме обнажающими скрытые мои мысли и чувства. Это мой скромный литературно-научный опыт, для контраста заверченный в экспериментальных же целях пантомимой, по определению безмолвной. А также свидетельство того, до какой низости может опуститься в потаенных мыслях даже благородно любящий человек вроде меня. В действительности я и вправду заехал в тупик, вернулся, виновато помахал им. Шарль и Эмма, улыбаясь, помахали мне в ответ, Берта снизу вопросительно посмотрела на мать. Они были необыкновенно похожи друг на друга, сидение моей машины было цело, как пока еще левые бампер и передняя дверь.

Еще через полтора года, когда я почувствовал себя достаточно уверенно за рулем, я решил предпринять первое серьезное путешествие на автомобиле. Я выбрал маршрут, проходящий по Грузии и Армении, и пригласил Шарля с Эммой. Было решено, что Берта еще слишком мала, чтобы взять ее с собой, и она осталась с родителями Шарля. Постоянные междугородние звонки, из-за которых мы теряли немало времени в дороге, ярче, чем сцены непосредственного общения Эммы с дочерью, высвечивали, очерчивали для меня Эмму-мать. Это было грустное и прекрасное зрелище. Для меня. Вот и угадайте теперь, который из переводов первого сонета Шекспира я предпочитаю. Этот?

*Мы урожая ждем от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая.
Пусть вянут лепестки созревших роз,
Хранит их память роза молодая.*

или этот?

*Потомства от существ прекрасных все хотят,
Чтоб в мире красота цвела – не умирала:
Пусть зрелая краса от времени увяла –
Ее ростки о ней нам память сохранят.*

Правильно. Какое мне дело до роз?

Маршрут я выбрал без всякой задней мысли, но когда мы уже катились по территории Грузии, мне показалось, что в воздухе стало больше кислорода. Поначалу я думал, что так оно и есть, но позже это чувство сменилось другой иллюзией: будто здесь чуть легче двигаться и прыгать, как если бы немного ослабили силы притяжения. Этого уж точно не могло быть, но наружное давление, казалось, и правда, – существовало упало, хотя я бывал уже гораздо выше в горах и ничего подобного там не испытывал. Сегодня мне представляется хоть и недоказанным, но вполне вероятным, что влюбленность Пастернака в Грузию, а Мандельштама в Армению питалась не только облегчением, испытанным ими благодаря ослаблению на периферии империи напряженности поля большевистского режима, но и еще одним, не таким уж скрытым источником: в обычном моем окружении ни у кого не было ни малейших причин скрывать от меня, еврея, полупренебрежительное отношение к кавказским народам. И вот Пастернак с Мандельштамом восхищением и любовью к Грузии и Армении как бы говорили: «Смотрите, как мы любим грузин и армян, и может быть, когда-нибудь вы научитесь так же любить евреев». (Что-то очень похожее попало мне недавно у кого-то из американских писателей-евреев. Ах – да, Филип Рот. Герой его романа восхищается простой мудростью пожилого негра, копающего аккуратные могилы на старом еврейском кладбище, и в конце разговора очень тактично оставляет ему просто так, из чистой симпатии, сто баксов. Говорят, американские евреи вообще с большой симпатией относятся к неграм, голосуют с ними за одну и ту же партию).

Но и без того, были разлиты в атмосфере непринужденности и дружелюбия. Так в Тбилиси мы, притормозив у перекрестка, оказались рядом с милицмейской машиной. Мы спросили, имеется ли кемпинг в городе. Реалистичная Эмма на заднем сидении предусмотрительно зарылась в большую карту, и потому помощь, оказанная нам грузинским милиционером, была, несомненно, проявлением чисто мужской приязни и гостеприимства. «Поезжайте за мной», – сказал он, и мы понеслись за ним, замирая от ужаса, будто вслепую летели в пенном следе быстроходного катера, пока не пришвартовались в небольшом парке, где и разбили палатки.

Позже, уже в Армении, на длинном спуске от озера Севан к Еревану, где мне следовало притормаживать исключительно двигателем, я все же злоупотреблял использованием тормозов. В результате, когда я въехал в город и попытался остановиться перед красным сигналом светофора, автомобиль мой проигнорировал приказ совершенно. Счастье, что никто не пересекал в это время дорогу, ибо и малейшей вмятины на таком

роскошном произведении, как Эмма, я бы себе никогда не простил. Со всеми предосторожностями, используя нижние передачи, я дополз до ближайшей автомастерской. Был уже конец рабочего дня, конец недели, и я с тоской думал о том, сколько же времени мой занемогший друг должен будет провести в этой больничной палате для автомобилей, сколько часов я проведу в тревоге, наблюдая, как чужие люди копошатся в его нутре. Приветливость в автосервисе была по моим представлениям того времени абсолютным нонсенсом, поэтому я был и удивлен, и растроган тем, что армянские авто-эскулапы задержались ради меня на работе, что-то подкрутили, чего-то добавили, посоветовали еще подождать, пока окончательно остынет все, что участвует в процессе торможения. Вопрос о стоимости ремонта я задал не без дрожи в голосе, ибо как житель центральных областей империи, был готов к тому, что слухи о том, что кавказские народы, и армяне в частности, плохо разбираются в цифрах, не содержащих в конце двух, а то и трех нулей, окажутся правдой. (Историю об азербайджанце, вставившем своему стареющему ослу золотые зубы, я услышал на работе перед самым отъездом). Только смехотворности суммы в три рубля, которую с меня запросили за работу, выполненную, кстати, в неурочное время, я обязан тому, что она вообще осталась у меня в памяти.

Когда, уже налюбовавшись ереванским розовым туфом, видом на гору Арарат и побывав в Эчмиадзине, мы поднимались, возвращаясь назад той же дорогой, я не заметил, как поползла вверх стрелка температуры охлаждающей мотор жидкости, и остановился на обочине лишь тогда, когда из под капота повалил пар. К такой неисправности я был готов, в багажнике у меня лежал наготове запасной приводной ремень вентилятора охлаждения, но произвести замену мне не удавалось, так как я никак не мог отдать болты защитного кожуха, предохранявшего от ударов картер двигателя. Вскоре около нас остановился грузовик. Водитель, выяснив, в чем дело, снабдил меня подходящим гаечным ключом. Сославшись на занятость, он не стал ждать, пока я закончу работу (я бы ни за что не отказался от удовольствия дольше полюбоваться Эммой, которая, не скрываясь, сидела на ограждении дороги, поскольку молва не приписывала армянам сексуальной агрессивности в отношении женщин). Предложенных мною денег за ключ он не взял, влез по ступеням в высокую кабину, и его грузовик продолжил тяжелый подъем.

Никогда не отзовусь я дурно о народах Кавказа, но высшая оценка в этой замечательной во всех отношениях поездке должна по справедливости достаться Эмме. Во время всего путешествия она, моя дорогая Эмма, щадила меня. Когда случалось, что наши палатки из-за недостатка места стояли рядом, я не слышал никаких подозрительных шорохов, о столах и речи нет. Доносившиеся до меня их голоса были ровными: «На завтрак приготовим кашу из гречневого концентрата, на обед будет овощной суп из пакета и тушенка с рисом... Берта... Родольф сказал...». Я был все же еще довольно неопытным водителем, и от усталости быстро засыпал.

13.

После того, как наступившая эпоха Горбачева на одном из важнейших треков истории с осторожностью прошла первый участок своего маршрута, отрезок скромных реформаторских усилий, вполне ожидаемых от нового участника ралли, и, казалось, начались уже чреватые серьезными потрясениями виражи, я почти забыл об Эмме и Шарле, за исключением того случая, когда им всего на сутки достался журнал с опубликованным в нем «Собачьим сердцем». Они позвали меня, мы читали по очереди, и когда отбрасывавшей волосы и, как любая женщина, хорошевшей от смеха Эмме доставался особенно яркий эпизод, противоречие между ее близостью в пространстве комнаты и принципиальной недоступностью сводили меня с ума.

Упомянутый мною отрезок времени (безусловно, эпохального значения) был полон возбуждения и надежд. Перемены шли по нескольким направлениям – нарастал поток ранее недоступной литературы, закачались привычные с детства символы на самом верху грандиозной политической пирамиды империи, начались наивные, но искренние и горячие попытки изменить старые экономические основы, на благодатной почве которых еврейский сатирик мог фантастически вырасти всего за

несколько лет и превратиться в настоящий баобаб своего литературного подвида.

Анатолий Жигулин. «Черные камни». М-да...

По радио прозвучало имя Сахарова. Не может быть! Неужели мы когда-нибудь его еще и увидим?

Гавриил Попов. Критика «командно-административной системы». Ого – вот так? Ломом по фундаменту?

Новые люди на ТВ. Довольно молодые. Не замороженные, не криволицо-речивые. Они что, и дальше будут вот так разговаривать, будто их никто кроме нас не слышит?

Что еще за Лев Разгон? Запомнилось из его воспоминаний – в тюрьме, во время сталинских чисток 30-х, в атмосфере недоумения, досады заключенных, ошарашенных нелепым недоразумением, которое, как им казалось, произошло с ними, автор мемуаров оказался в одной камере с совершенно спокойным и счастливым человеком. Это был вернувшийся на родину русский эмигрант, радовавшийся возрождению мощи России. Он говорил – настанет время, и русский человек будет смотреть на другие народы как англичанин – сверху вниз. Это возмутило Льва Разгона, неприятное чувство при чтении возникло и у меня.

Неподалеку от нашего дома открылся кооперативный пункт общественного питания, не очень понятно, как его и назвать. Внутри – уютно, многолюдно, вкусно, телевизор, видео. Крутят никогда не демонстрировавшийся ни в кино, ни по телевизору американский фильм, в котором Арнольд Шварценеггер держит негодяя за ногу над пропастью. «Ты обещал убить меня последним», – говорит ему негодяй. «Я тебя обманул», – отвечает Шварценеггер и разжимает ладонь. Какая прелесть!

Дети Шарикова, внуки Швондера. Вот как!

Армянские погромы, резня в Фергане. Землетрясение в Спитаке. Бедные армяне.

На работе – вперед к компетентности и эффективности! Вот эта молодая женщина, ей ведь совершенно неинтересно и безразлично то, что она делает, да она ничего и не умеет. Уволить? Зарплату поделить между «сильными»? А с ней что будет? Больше работаем, больше получаем! Здорово! Но уже через три месяца выясняется, что невозможно постоянно работать в таком ритме.

Шаламов. «Колымские рассказы». Просто, сжато, убийственно наглядно.

Съезд. Кажется, начинается откат. Привкус апатии. Афанасьев выступает. Никогда не говорили так – в таких местах. Эй вы! Вставайте, вставайте! Встаю-ут! Встаю-ут!

Что за бред несет там депутат от нашего города в два часа ночи: «Мои избиратели говорят... Что им ответить?» Председательствующий Лукьянов: «Передайте избирателям – спасибо».

«Лолита» набоковская не пошла, оставлена с закладкой посередине. Не до нее сейчас.

Почвенники. Неприятно. В чем тут дело?

«Архипелаг ГУЛАГ» – энциклопедия для тех, кто непременно хочет знать ВСЕ ОБ ЭТОМ.

Москва. Пошли, посмотрим, – в голландском посольстве – израильское представительство. Снаружи лавки, на них разложены учебники иврита. «Этот – для начинающих, а этот – для «продвинутых» евреев». Новенькое словечко «продвинутый» как прилагательное к старому, но ранее неприемлемому публично существительному «еврей». Улыбка продавца. Хм...

Москвичка: «Надоели армяне». «Как, почему? Ведь им так досталось». «Орут и ходят по городу в домашних шлепанцах». Плавильный котел.

Вот это да! У Эммы, оказывается, еврейские корни по матери. То есть мать ее попросту – еврейка. А я об этом понятия не имел. Спросил у своей матери – она тоже очень удивилась. И Шарль туда же – не то бабушка, не то дедушка. Небось, подделка какая-нибудь. Что ж они раньше молчали-то? «Родольфо-Додольфо, жертва Адольфа». Уезжают в Израиль. Я помогал им в упаковке и отправке багажа. И все-таки – что там с почвенниками? Среди них и вполне приличные, вроде бы, люди. Однажды в командировке у меня было странное и весьма неприятное расстройство желудка – газы просто распирали меня. Я был один в гостиничном номере и без конца пукал, пока не услышал возмущенные голоса из-за стены. Я не знал, что там были такие тонкие стены. И вот, при чтении статей почвенников у меня возникало

ощущение, будто снова я непрерывно пукаю, а они это слышат и возражают.

Вскоре, незадолго до августовского путча девяносто первого года, продав родительскую квартиру за сумму, равную нынешнему моему недельному заработку, посидев на прощание вместе с матерью у отцовской могилы, мы тоже уехали в Израиль.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

В снятую нами квартиру в пятиэтажном доме на столбах мы внесли четыре чемодана, к которым добавились полученные в аэропорту подъемные и два новеньких синих удостоверения личности. Я раньше, сейчас и далее не уточняю намеренно названий населенных пунктов, хоть и сознаю, что, назови я их, например, Тостом, Ионвиль-л'Аббеем, Руаном или Модиином и уточни, что они построены на песках восточного побережья Средиземного моря или у подножия Иудейских гор и что не стоит искать на карте, какие реки через них протекают, тем более пытаться выяснить, водится ли в них форель и стоят ли на них мельницы, то обилие деталей, придало бы объемности повествованию. Мой отказ следовать этим разумным, многократно и успешно опробованным принципам как-то связан с чувством собственного достоинства, утверждение о внезапном пробуждении которого может показаться (вполне справедливо) нелепым в устах подражателя.

Вот я смотрю на этот пятиэтажный дом на столбах в старческих пятнах на его штукатурке-коже, с прямоугольными заплатами обветшалых пластмассовых жалюзи, с безобразной толкучкой бочек солнечных бойлеров на его плоской крыше. Опиши, говорю я себе, ведущие к нему дороги и улицы, соседний супермаркет на углу, пофантазируй, как должен выглядеть кретин, оставивший перед ним на дороге машину во втором ряду, из-за которой теперь пыхтит, изворачивается и создал пробку автобус, автомобильную стоянку перед домом, неприятные места парковки на ней рядом с мусорными баками.

«Не хочется», – отвечаю себе. Пара «желание-нежелание» отражает скромное своеволие, присущее мне, когда гну фразы, надеясь доступными начинающему любителю средствами добиться хотя бы тени волшебства, рождаемого в случае удачи языковым слепком с эмоций и чувств.

По утрам мы расходились изучать свой старый-новый язык – мать в группу для пожилых людей, я – для тех, кому предстояло включиться в активную (в экономическом смысле) жизнь общества. Язык поначалу показался мне похожим на дом, в котором мы поселились, но в процессе знакомства с ним (взявшего несколько первых лет) я начал на вкус ощущать его забавные выверты и точные «пришлепки». В итоге, как и многие другие мои соотечественники, я стал вставлять в русскую речь иные его термины, которые (так мне стало казаться) плотнее прилегают к описываемым ими предметам и явлениям. Ничего нового и недозволенного не было в этом для меня, еще в юности притерпевшегося к французской речи в романах Толстого, позже признавшего право на иноязычные лоскуты как за Гумбертом в «Лолите», так и за Ван Вином в «Аде», несмотря на то, что там закономерность и преимущества таких вставок приходилось брать на веру из-за незнания языков. Теперь же настало и мое время извлекать выгоды из двуязычных, а иногда и «треязычных» сплетений (плюс английский, срочно понадобился и он). Поскольку такие языковые конструкции были понятны Эмме, Шарлю, а также и Берте, то мне (гораздо позже, когда я стал часто бывать у них) удалось рассмешить последнюю, объяснив ей, что я подразумеваю под «ближневосточным салоном Анны Павловны Шерер» (оказалось ей понравилось словосочетание «фрейлина императрицы», она трижды просила меня повторить его, а потом заявила что теперь будет так называть свою одноклассницу и подружку Нету Шерер). Позже, затвердив на языке оригинала такие всем известные божественные пожелания как «не прелюбодействуй» и «не желай жены ближнего твоего», я почувствовал даже, будто легкие мои заполняются волшебным эфиром

избранности. Уже через много лет, когда богатство и выразительность речи импровизирующих на армейском радио остроловов все еще казались мне недостижимой мечтой, я осознал, насколько глупа и ограничена может быть монокультурность. Всякому человеку, желающему ходить на двух ногах, а не прыгать на одной, видеть, чувствовать и мыслить объемно, необходимо достаточно глубокое знание, по крайней мере, двух далеких друг от друга культур, формирующее чувство интеллектуального пространства, развивающее способность баланса и равновесия в нем. Между прочим, открытие, что архитектура нашего непрезентабельного дома имеет своим основанием не только изыскания Ле Корбюзье, но тянется тонкими, и куда более знакомыми корешками еще и к толстовским идеям опрощения, почти примирила меня с жизнью на полке бетонной этажерки. Я ведь, кстати, так же не сразу понял, что выпущенные из под домашнего ареста бретельки лифчиков на плечах женщин и незаправленные в брюки футболки – не свидетельствуют о неопрятности в одежде, а сообщают о смене часовых поясов моды. А если чудовище, в котором ты проживаешь, – результат исторического процесса, отжившей идеи (пожилой дамы-розы с отвисшей губой лепестка, готового вот-вот упасть под ноги, под садовые грабли), – то жизнь в нем будто приобщает и тебя к непережитому лично участку истории новой для тебя страны.

В единственном письме, которое я получил от Шарля до отъезда, помимо адреса и телефона, содержались практические сведения о том, как с пользой подготовиться к переезду. Вывод его был – везти только то, что требуется на самое первое время. На мой звонок из аэропорта к ним никто не ответил, и в выборе места жительства мы с матерью воспользовались рекомендациями и любезностью наших дальних родственников, приютивших нас на первые несколько дней, пока мы не сняли ранее упомянутую квартиру. Телефон Эммы и Шарля не отвечал и в дальнейшем, и лишь после того, как я нашел работу и тут же в долг приобрел машину, я решил навестить их. Обитая светлой планкой дверь, в которую я постучал, оказалась ничуть не более расположенной к общению со мной, нежели до этого – их телефон, и тогда я решил потревожить соседей. Дверь открыла моего примерно возраста (чуть младше) вполне милая, разговорчивая недавняя бабинка. Она сказала, что квартира, в которую я стучался, пустует, что Шарль и Эмма действительно снимали ее, что она очень была дружна с Эммой и, кажется, знала о ней все, кроме ее нынешнего адреса. Она сказала мне, что вначале они снимали эту квартиру вместе с отцом, что он очень тяжело принял переезд и через три месяца скончался после тяжелого сердечного приступа. Она перечислила мне внешние признаки переживаний Эммы – слезы, мешки под глазами, сброшенные килограммы. Мысль о том, что меня не было поблизости в этот период ее жизни, огорчила меня не меньше, чем искренне опечалившая смерть ее отца (я ведь так недавно пережил то же самое).

Настоящие проблемы начались после, сообщила мне соседка Эммы. В целях экономии (по взаимному согласию) родители Шарля отказались от съема отдельной квартиры и переселились в комнату, которую до того занимал отец Эммы. Очень скоро между ней и родителями Шарля начались трения, о характере и причинах которых Эммина подруга предпочитала не распространяться. По тону ее можно было понять, что детали ей известны, но, то ли не в принципах ее было пересказывать такие вещи незнакомому человеку, то ли она считала Эмму более виновной стороной, но не хотела напрямую говорить мне этого. О занятости их я узнал, что Шарль подрабатывал на физически тяжелой работе, на плечах перетаскивая мешки с сухим молоком, а Эмма подвизалась в местном супермаркете кассиршей, а до этого, пока она была слаба в языке, ее в том же супермаркете охотно ставили на мойку витрин. Рассказчица понимающе улыбнулась, увидев движение желваков на моих скулах, когда я представил себе идущих по тротуару мимо витрины прохожих, глядящих на Эмму, в легком платье тянущуюся скребком к верхнему углу витрины в месте, где подход к стеклу загроможден наполненными снедью пластмассовыми ящиками, ждущими, пока их по одному погрузят на багажники своих мотороллеров разносчики (развозчики?) в шлемах. «Я тоже этим занималась, – сказала соседка вдогонку моему воображению, – но они предпочитали Эмму, потому что она гораздо выше меня ростом и легче доставала до самого верха». Эмма, Эмма! Чтобы преодолеть внезапно вспыхнувшую ревность, я мысленно передел Эмму в самые толстые джинсы, какие только мог вообразить в этот момент, и в

плотной ткани блузку с длинными рукавами и семнадцатью пуговицами до самого подбородка. Но и этот образ мешал мне слушать, и тогда я представил себе Шарля, согнувшегося под тяжестью мешка с сухим молоком, и едва удержался от соблазна пожелать ему

грыжи. **לא תחמד אשת רעך** – не желай жены ближнего твоего.

Бакинка рассказала еще, что на следующий день после того, как однажды покупатель нечаянно разбил стеклянную банку с консервированными вишнями, грузчик, хромой Ипполит, устроил перестановку товаров на стеллажах, сверяясь с бумажкой, выданной ему магазинным начальством. В перегруппировке этой, казалось, не было никакой логики, но выставившая себя сейчас передо мной смысленной девушкой рассказчица сообщила, что быстро обнаружила тайную пружину непонятных маневров – товары в хрупких стеклянных упаковках были убраны на ту сторону стеллажей, с которой не видны были кассы, а в тех углах, из которых удобно было украдкой разглядывать кассиршу-Эмму, расположились рулоны с туалетной бумагой и богатая коллекция женских гигиенических прокладок. Я, конечно, рассказала об этом Эмме, продолжила бакинка, но она расстроилась и даже, кажется, немного рассердилась. «А почему?» – спросила меня Эммина бывшая соседка, рассчитывая, возможно, что теперь я сообщу ей что-нибудь интересное о ее бывшей же сотруднице. Было ясно, что работа Эммы в супермаркете стала тогда для магазинного персонала излюбленной темой разговоров и поводом для насмешек над покупателями, и что мой приход – удобный повод хотя бы еще один раз вернуться к старому развлечению. Но я ничего не рассказал в ответ, пообещал позвонить, когда Эмма и Шарль найдутся, и поблагодарил ее самым сердечным образом за полученные сведения. После изъявления благодарностей, я стал прощаться, но забыл спросить номер ее телефона, и в стекле висевшей на стене лестничной площадки большой фотографии знакомого мне по командировке в Баку Дома Правительства республики Азербайджан, я увидел не такое четкое как в зеркале, но все же достаточно ясное отражение сочувственной улыбки маленькой добродушной бакинки. Я решил, что она задержалась, чтобы проследить, не оступлюсь ли я, спускаясь вниз по лестнице.

2.

В нашей маленькой стране рано или поздно мы встретились бы и вполне преднамеренно и закономерно, но вмешательство знаменитого «мистера Мак-фатума» (вовсе не дьявола в моем случае) подарило мне триптих, лишенный религиозной суровости и присущей религии кандальной значительности. Мой «Мак-фатум» плеснул солнца и счастья на асфальтовую дорогу из кривого рога, чей плавный изгиб повторил передо мной автомобиль дешевой итальянской марки, пытавшийся спереди и справа встроиться в мой ряд. Эмма, правившая современным экипажем родом из Паданской равнины и подножия западных Альп, еще не видела меня, когда мне досталась первая, левая, часть триптиха – «Эмма озабоченная» (динамичной дорожной ситуацией). Я уступил дорогу, и немедленно получил в вечное владение две недостающие части: «Эмма дарящая» (дорожную улыбку в ответ на транспортную любезность) и «Эмма обрадованная и удивленная» (когда она наконец узнала меня). Я последовал за ней, соблюдая положенную дистанцию, а она въехала на расположенную поблизости автозаправку, остановилась, выскочила из машины, не заглушив мотора, и повисла у меня на шее, когда я, ее улыбающийся герой, тщательно оценив ракурс, под которым она видит меня, покинул свой автомобиль по классической голливудской схеме: плавно открывающаяся левая дверь и неспешный подъем с плавным разгибом (в отличие от упражнения на перекладине, в котором я особенно отличался в школьные годы, и в названии которого следует опустить предлог «с», то есть, «подъем разгибом»).

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что с годами женщины становятся дружелюбнее и проще в общении. Мне трудно представить себе такое искреннее и дружеское объятие Эммы всего каких-нибудь несколько лет назад. «Я толкнулась в вас грудью, ну и что? Я подняла для объятия руки. Да, я знаю, что когда женщина поднимает руки – пусть только, чтобы достать кухонную посуду с верхней полки – в этом есть какой-то зачаточный элемент обнажения. Ну, и что? Ведь мы так давно знакомы, не правда ли? Сосредоточьтесь, а я проверю, дрогнуло

ли ваше сердце, помните ли вы, что я была небезразличной для вас женщиной». Помню. Еще как помню.

Будьте великодушны на дорогах, кто знает, может быть, ваша автомобильная щедрость станет утяжеляющей каплей меда, незаметно прилипшей к той чаше весов, на которую брошен благоприятный поворот вашей судьбы. Или послужит завязкой серьезного романа.

Кстати, любите ли вы вообще серьезные романы? Я теперь имею в виду уже романы литературные. Такие, в которых встреча старых знакомых на автомобильной стоянке передается не диалогом, пусть и незамысловатым, но милым в своей простоте и содержательно значимым, но потоком слов и предложений, разделенных лишь запятыми и точками? Я признаюсь вам на основе уже накопившегося у меня небольшого литературного опыта: во-первых, я убедился, что все-таки не умею писать диалоги (их честность, прямота и открытость не соответствуют строению моей собственной души); во-вторых... Нет, «во-вторых» требует пространный изложения, поэтому я теперь ставлю точку и начинаю с новой строки.

Когда после множества хороших голливудских фильмов (плохие я стараюсь не смотреть) мне случается набрести на славный европейский, у меня появляется ощущение свежести как от утреннего купания в прохладном озере. То есть, я признаю, что голливудский демократизм совместим с высоким качеством. Например, как бы внутренне дистанцируясь от самого себя, я порожаю в воображении некоего потомственного русского аристократа, самую малость – сноба, высказывающегося о «Криминальном чтиве» как о высоком искусстве для хамов. Но я сейчас не об этом, я хочу сказать, что литература обязана, мне кажется, разниться от кинематографа. Я не хочу показаться снобом, но литература диалогов и «живых» бытовых сцен представляется мне кинематографом для слепых (и в этом, безусловно, состоит несомненная оправданность ее существования) или отчаянной просьбой: «Пожалуйста, снимите по мне фильм!»

Но когда речь идет о капризном, не обделенном счастьем зрения читателе, я вижу его продирающимся сквозь густые тернии слов, а позади него – завистливую толпу с тяжелыми камерами, рельсами и подъемниками. Что им делать на словесной дороге, где диалоги и бытовые коллизии случаются так же редко, как были расставлены старинные верстовые столпы, позволявшие путешествующему встряхнуться, привести в порядок мысли об уже преодоленном пространстве и представить еще предстоящую дорогу. Я не первый, кому посеянный буквами и взошедший словами текст, решетчатый призрак реального существования, представляется роскошью, игрушкой, волшебством и подарком. В надежде, что эта ассоциация не покажется вам напыщенной, скажу, что литература видится мне чем-то вроде цветной лавовой лампы с парафиновыми комками в разогретом прозрачном масле, в котором они плавают и меняют формы медузами идей и событий. Неумно? Дешево-пафосно? Пошлый, примитивный пример? Ах, «эта глупая луна на этом глупом небосклоне»? Или наоборот, – высокопарно, патетично?

В юности классическая литература была для нас действительно «учебником жизни», других учебников в советской империи просто не было, и тому, кто привык видеть в ней камертон верных жизненных пропорций и даже нравственности и морали, бывает непросто принять такое якобы снижение ее назначения. Книга, написанная для баловства, не содержащая пророчеств и предписаний нравственной гигиены, кажется выхолощенной. Тяжко и грустно бывает читателю, созревшему в условиях, сходных с теми, в которых выросли мы, прийти к итогу, в котором черным по белому значится, что литература – не религия, а претензия на волшебство, что писатель – не пророк, а фокусник, которого заботит больше всего, чтобы трюки его не показались скучными.

В потекшем у нас с Эммой разговоре на заправке я почувствовал наряду с ее нежеланием углубляться в подробности их с Шарлем жизни последнего периода также что-то новое в отношении ко мне. Слово рухнул истлевший деревянный забор. Сравнение это кажется мне тем более уместным потому, что я, кажется, вообще не видел в здешней провинции таких заборов. Вместо них вгоняются в землю столбики (иногда это просто железные уголки), а между ними натягивается железная сетка. Далее следует радикальное различие: либо у забора высаживаются кусты или вьюнковые растения, полностью его скрывающие,

либо остается голый безобразный забор. Вот это принципиальное новшество, заключающееся в том, что живая изгородь из кустарника, особенно в пору его цветения, выглядит гораздо красивее деревянного забора, а голая сетка со столбами – несравненно безобразнее, как и тот факт, что здесь в равной степени легко встретить и то, и другое, символизировало для меня отличие здешнего культурного фона с его контрастами красоты и безобразия от относительно ровного культурного фона покинутых нами мест.

Нас с Эммой, осознал я в течение этой первой нашей ближневосточной встречи, соединяет уже не только общее детство, старая дружба, недавний уход из жизни наших отцов, но и еще не выцветшие от времени, не потерявшие остроты воспоминания вроде этого – о деревянных заборах на окраинных улицах. И кажется, что-то еще, что в тот момент не поддавалось определению.

Терпеть не могу загадок и намеков, не задерживаюсь у телевизора, когда транслируют викторины, игры, требующие догадливости или эрудиции, пренебрегаю знакомством с всезнайками, но это непонятное что-то, похожее на перешептывания между селезенкой и печенью, сообщало мне, что в наших отношениях возможен поворот. Но какой? В какую сторону? Неужели в ту, о которой до сих пор и не мечтал?

לא תנא – не прелюбодействуй. Красивые буквы. Цветущая колючая живая изгородь для совестливого, не причиняющего зла ближнему индивидуума, каковым я (и вполне справедливо) считал себя в ту пору.

3.

Как-то, ввязавшись в чтение серьезного романа внушительного объема и перевалив за его середину (не так легко мне, как видите, отвязаться от литературных ассоциаций), я обнаружил, что забыл имя автора. Это так озадачило меня, что я подумал, не начать ли мне сначала. Я несколько раз повторил имя писателя, перелистал страницы прочтенного текста, выхватывая отдельные фразы, и затем загорелся горячим желанием непременно дочитать книгу до конца, которого вообще-то у романа не было (автор умер раньше, чем завершил работу). Ближе к условному завершению чтения я впал едва ли не в эйфорию, много раз отнимал от номера последней страницы номер текущей, радуясь своему неуклонному продвижению. Нечто подобное я испытывал и во время стайерских забегов, которые очень любил в юности. Большую часть дистанции я держался в толпе в середине и только на последней трети и даже лишь на последних кругах дорожки нашей школьной спортивной площадки понемногу разгонялся и нагонял лидеров.

Я вряд ли сумею точно объяснить, почему мне вспомнились эти забеги и история чтения того длинного романа, когда я глядел на короткие, поддерживаемые матерчатым ремнем, шорты Шарля, явно привезенные «оттуда» (здесь носили более длинные и с завязками). Тапочки на нем, слава богу, были не матерчатые с затоптанными, засаленными задниками, а синтетические пляжные, но в бороздке подошвы одного из них, видимо, застрял мелкий камешек и иногда при ходьбе он издавал раздражавший меня скрежет об каменный пол. Шарль не мог не слышать его, но, наверно, ленился поискать и выковырять. Из-за этого скрипа мне представилось, что к той же или другой подошве, может быть, еще приклеились пару мокрых мелких опавших листков или обломков большого засохшего листа, и рано или поздно они отклеятся и появятся на полу за прошлепавшим в другой угол комнаты Шарлем. Не хватало еще ему извлечь из шкафа гитару с повязанным на ее гриф красным бантом и исполнить цыганский романс. Написав эти строки, я поймал себя сейчас на том, что мысленно прокручиваю в голове: «Утро-о-о туманное, утро-о-о седое...», – но тогда, хорошо помню, если и не яростно, то уж во всяком случае, энергично и жестко воспротивился ретроградному духу, которым на меня повеяло. Я вовсе не был склонен к отрицанию прошлого, «весь мир и т.д. мы разрушим до основания, а затем...», конечно нет. Возможно, я испугался, возможно, мне показалось, что Шарль с Эммой близки к тому, чтобы сойти с дистанции, забросить на середине толстую книгу. В тот момент я отказался от своего предположения о поддельном характере Шарлевых еврейских корней, так как от него повеяло какой-то специфической расхлябанностью, хотя назвать его вид неряшливым или неопрятным никак нельзя было. И все же, если бы отношения его и Эммы оставались такими же, какими я

запомнил их во время нашего наиболее длительного и тесного общения во время поездки по Кавказу, Эмма, кажется мне, позаботилась бы о том, чтобы он выглядел по-другому. Сама она была тоже одета по-домашнему, и я не без некоторой боли в сердце опознал в ее одежде хорошие, но не новые вещи, из тех, которые отдают обеспеченные местные женщины «помощницам по дому». И это опять толкнуло меня к цепочке догадок: совместная жизнь с родителями на первом этапе после переезда обеспечивала Шарлю и Эмме финансовую выживаемость на достаточно длительный срок, и тем не менее, она занималась и витринами в супермаркете и, по-видимому, домашней работой в частных домах, и значит, делала это, скорее всего, ради личной независимости и чтобы меньше находиться дома.

Я стал приглядываться к Эмме внимательнее, опасаясь увидеть в ней следы надлома, и еще больше – обнаружить в себе зачатки чувства жалости к ней. Думаю, она разгадала мои мысли, и я словно получил в ответ заряд мелкого колющего снега, хлестнувшего из ее глаз прямо мне в лицо. Я вынужден был даже отвести взгляд, но внутренне возликовал: нет, эта новая Эмма – все та же, она по-прежнему невыносима. Я в конце концов не удержался от счастливой улыбки и добавил к ней еще парочку каких-то мелких примирительных жестов (в зоологическом переводе на собачий – дружелюбно повил хвостом).

Один умник (любитель щеголять наблюдательностью) как-то, не зная о нашем близком знакомстве, сравнил ее с сильно охлажденной газированной водой. «Приятно, – сказал он, – но не хватает сиропа». Дурак! Я представил себе прозрачную воду со светлыми пузырьками, льющуюся в стакан из высокого гудящего автомата, выхватил мысленно этот стакан, отставил его на соседнюю запасную решетчатую позицию в нише-пещере из нержавеющей или просто хромированной стали, а остаток струи набрал в ладони, мелкими глотками, наслаждаясь, выпил, а остатки влаги плеснул себе в лицо, втер ладонями в кожу. Дурак, не дурак этот «наблюдатель», но светлая чистота Эммы схвачена им с достойной похвалы точностью.

Не очень-то понятны мне были благодущие и полная беспечность Шарля. Видимо, он был все еще в состоянии душевного подъема после того, как они разъехались с его родителями, и дамоклов меч постоянной необходимости выбирать между ними и Эммой в мелких бытовых конфликтах больше не нависал над ним. Кроме того, он только что устроился на смехотворно оплачиваемую, но все-таки близкую к специальности работу. Грыжа его, похоже, не мучила, и он даже не поморщился, когда я специально попросил Эмму добавить мне в кофе сухого молока и проследил за выражением его лица. Он явно расцвел здесь и просто потряс меня, когда заявил, что даже после внезапного ночного всплеска чьей-то речи за окном, когда он различает, что это ивритская речь, у него становится спокойно на душе. Я не знал умиляться мне или потешаться над ним, но не сделал ни того, ни другого, так искренен он был. Видимо решил, что здесь никто уже не дернет с него шорты, хотя по-прежнему носил их с ремешком то ли по привычке, то ли на всякий случай.

Квартира, которую они снимали, была на первом этаже многоэтажного дома, но с участком земли, который так понравился Шарлю, что именно он всегда выманивал нас из комнат в крытую беседку с двумя диванчиками и небольшой травяной площадкой вокруг, где мы были отчасти видны прохожим и тем привлекли внимание соседей (конечно, это Эмма была приманкой, на которую клюнул бы и тонкоголосый скопец).

Травы поначалу там не было, а были засохшие сорняки, прошлогодние листья, еще какой-то мусор. Владелице квартиры, жившей этажом выше (съемная квартира принадлежала ее умершей сестре), Шарль, Эмма и Берточка, когда они пришли осматривать жилье, видимо, настолько понравились, что она не только снизила цену, но и пообещала за свой счет привести в порядок участок и посадить декоративную травку. Последняя была аргументом, касавшимся в первую очередь ребенка, для игр которого на свежем воздухе она предназначалась. Но на практике Берту весьма устраивала наша привязанность к беседке, она с удовольствием уступала нам дворик, так как при этом освобождался для нее один салон с телевизором.

Когда я начал появляться у них, обещание насчет травы еще не было выполнено, и уже появились сомнения, будет ли оно выполнено вообще. В один из субботних вечеров Шарль решил, по крайней мере, убрать

участок. Он, воспользовавшись граблями, собрал в кучу весь мусор, сушняк и поджег их. Пламя поднялось высоко, выбежала всполошенная хозяйка, она не решалась отчитывать нас, только переступала с ноги на ногу и выражала опасения, как бы пламя не добралось до газовых баллонов. Шарль снисходительно успокаивал пожилую женщину, утверждая, что ситуация под контролем. Его тяжелый акцент, треск костра, колебания огня, все время менявшие искусственное освещение естественной, настоящей красоты Эммы, не добавляли уверенности владелице квартиры. Я переводил взгляд с языков пламени на Эмму, сидевшую напротив меня в шортах и простенькой однотонной кремовой футболке без всяких надписей, поджав под себя босые ноги, поглядывал на продолжавшую нервничать хозяйку, снова на огонь, выдерживал приличную паузу, чтобы следом уже законно, без помех, сделать для своего и до того обширного хранилища в памяти еще, и еще, и еще один моментальный снимок Эммы, которую взбалмошные прыжки пламени пытался представить всякий раз по-иному.

Тогда-то и подошел к ограде сосед из одноэтажной и очень простой по архитектуре, но большой по площади виллы с другой стороны переулка – неполный профессор всемирной истории Оме и с ним два его племянника: вечно, как теленок, увязывавшийся за ним Наполеон и другой – Жюстен. Оме принес с собой еще одни грабли, тем превратив меня из наблюдателя в помощника Шарля. Он сказал, что старую мебель, обрезки подстриженных кустов и деревьев, а также садовый мусор муниципалитет просит выносить на дорогу вечером второго выходного дня, то есть субботы, и исправно вывозит утром следующего дня.

Оме стал посещать Эмму с Шарлем, позже здесь появились реформистская раввинесса Бурнизыен, а потом и Леон, информация о характере занятий которого и социальном статусе были ограждены им от нашего любопытства, так что до самого конца я не был уверен, что же он за птица и мог судить о нем только по его разговорам и поступкам в обществе, состав которого я только что объявил на страницах этих записок.

4.

Вопросами различия национальных культур и механизмами культурной наследственности внутри каждой из них я стал интересоваться уже здесь, ведь именно бросок из одной среды в другую, как это произошло с нами, немедленно требует реакции на расщепление ранее совершенно цельных привычек и понятий.

Я сейчас перебираю в памяти последние из виденных мною европейских фильмов. Два французских. В обоих фокус на капризном и своевольном мужчине и вьющейся перед ним женщине с очевидными изъянами в характере или во внешности. Ее терпение, бесподобная выразительность, не унижающая себя мягкость побеждают к концу фильма: дикарь ищет/догоняет/возвращает ее себе – победительницу, гордую и неповторимую. Все чудесно: реплики, актеры, ракурсы. Но схема у двух фильмов – общая. Вполне возможно, что имеется неизвестный мне прототип.

Немецкий фильм, о прошедшей войне. Уже через полчаса у меня появляется впечатление, что я это где-то видел, хотя фильм мне определенно незнаком. Ну, конечно же – мужское братство, бессмысленный долг, печальная ирония неизбежного поражения – ремарковские интонации, знакомые с юности.

А вот еще два английских фильма – один про инцест, другой о театре в тюрьме. Аристократические родственники демократичного американского искусства. Психологическое ядро все то же – из железной клетки англо-саксонской законопослушности ускользают между прутьев неоскопленные души. Недавно в «Бургерандже» стайка девчушек лет двенадцати совмещала ожидание заказанных порций с расспросом работавших за прилавком мальчиков, кто нарисован на стенке в качестве символа заведения – бык или вол. Мальчики не знали. Не уловил, кем был задан вопрос, в чем различие между ними. Мне было слышно – смешливая и самая рослая во всей компании девочка предлагала полный и правильный ответ. Я представил себе зрителя, американского или английского законопослушного вола: зажав копыта передних конечностей между коленками задних, переживает он экранные дикие страсти из жизни быков.

Не перепутаешь ни эти фильмы, ни породившие их культуры. Все знакомо – и их родовые различия, и внутренние повторы.

Из всего этого я готовлю какой-то важный для себя общий вывод. Обобщения всегда давались мне мучительно трудно. Я пытаюсь осмыслить то, что вижу сейчас вокруг, в стране, чей государственный гимн лишь одной, словесной своей стороной, привязан к здешней почве, но музыка его повествует о любви чужой.

Я также ищу и нанизываю одну за другой бусинки оправданий собственного литературного пиратства. И вот, что лезет мне в голову – разве все они там, на Западе, сами не пираты? Разве не потребовалось им полторы тысячи лет, чтобы на развалинах римских государственности и права, окружив себя обломками греческих скульптур, вооружившись бульжниками еврейских заповедей (они называют это этическим монотеизмом) предстать перед нами во всем их сегодняшнем блеске и величии?

И я не скрываю – все в моей книге имитация и подделка, старательные каракули третьеклассника. Я учусь таким способом жизнедеятельности в качестве естественной (не приживленной) клетки одной из разновидностей (довольно древней в нашем случае) национальных человеческих коллективов.

5.

Чувствую, мне следует сейчас на небольших примерах «из жизни» дать вам дополнительное представление о своем характере. Начну с того, что когда серьезный жизненный вопрос должен быть решен мною в короткое время, я словно запираюсь в бункере генерального штаба своей судьбы, отрешаюсь от всех маловажных побудительных мотивов, и быстро, как на экзамене, просчитав комбинации возможных последствий, оценив вероятности ошибок, твердой рукой вручаю року-экзаменатору исписанный моим невыразительным, но разборчивым почерком листок и никогда не сожалею о содержащихся в нем ответах, понимая и принимая абсурдность (нежизненность? безрассудство?) погони за идеальными решениями. Простота и внутренняя логическая стройность – мои компас и GPS.

Другое дело, когда речь идет о несущественных мелочах или о тех бытовых проблемах, которые кажутся мне незначительными. Тут нередко сказывается моя нетерпеливая надменность, отмечающая с пренебрежением нужду в серьезном подходе к простым жизненным ситуациям, и тогда из них я нередко выхожу дурак дураком. Вот я добрался и до обещанного примера «из жизни».

Вскоре после того, как я стал работать, я решил купить себе кроссовки и новые туфли. С вполне приличными белыми кроссовками производства известной компании я вышел из первого же магазина на улице Алленби потому, что мне почудилось подозрительное отношение продавщицы к моей кредитоспособности. Это показалось мне нестерпимо. Да еще я услышал ее сказанное напарнику шепотом и, возможно, рассчитанное на мое слабое знание языка замечание, что у меня нехорошие носки. Пришлось купить у них еще и толстые белые спортивные носки. Я вышел из магазина с таким достоинством, будто только что расплатился за приобретенную в личную собственность трехмачтовую яхту с бассейном и теннисным кортом. Хотя продавщица и ее напарник выглядели вполне удовлетворенными, а товар был качественным, я был раздражен и недоволен собой. Поэтому в следующем магазине я повел себя еще ужаснее: я перемерял едва ли не все имевшиеся в наличии модели туфель, а об одной из них безапелляционно заявил владельцу магазина (и продавцу по совместительству), что их я и примерять не хочу, потому что такую обувь в самую пору носить разве что африканскому племени мумбо-юмбо (собеседнику моему, конечно же, неизвестного) в сочетании с бирюльками из слоновой кости, которыми они украшают перегородки носа. На мое несчастье продавец восточного происхождения оказался таким непобедимо настойчивым, какими бывали в прошедшие времена русские дворяне в вопросах чести. От него и его товаров было так же тяжело отделаться, как от дуэли с задиристым юным офицером благородных кровей, одетым в яркий доломан с ментиком. Я так и не купил у него обувь, и он проводил меня до двери своего заведения пожеланиями никогда меня больше не видеть и обещанием ничего мне не продавать в будущем.

Расставание наше было бурным, но к счастью коротким. Хотя я и был возмущен его поведением, но домой возвращался в приподнятом настроении. Новые туфли я купил в другой раз и уже без всяких побочных психологических осложнений. Подчеркиваю – мнительность и гордость в моем характере проявляются по большей части в мелочах, в серьезных вопросах я не позволяю своим эмоциям возобладать над рассудительностью и здравым смыслом.

Коль я уж упомянул о своем устройстве на работу, то сейчас самое время сообщить, что мне повезло гораздо больше, чем Шарлю – я, еще даже не закончив положенный мне и оплаченный государством курс новоязыкознания, устроился по специальности, а после того, как вновь встретил Эмму и увидел, что я пробил языковой асфальт и гораздо быстрее их пророс в профессиональном смысле нахальной травкой в щели естественного недоверия к хоть и единокровным, а все же чужакам, меня охватил соревновательный азарт (я с наслаждением вспоминал, как прыгала и хлопала в ладоши Эмма, когда давал результат мой коронный трюк с ускорением в конце стайерской дистанции и не обращала внимание на Шарля, который плелся в хвосте). Руководствуясь исключительно этим побудительным мотивом, я в короткий срок сменил еще два места работы, пристроившись в местной «оборонке» и выторговав себе зарплату и условия, уровень которых даже превышал средний-обычный для инженеров уроженцев страны, имевших аналогичный опыт работы и сходное резюме. Я, конечно, не скрывал своих достижений, и меня бесконечно радовало восхищение Эммы, хоть и смущало и щипало совесть наивное и искреннее уважение, оказываемое мне Шарлем. Но таков я.

Полюбилась мне тут одна птичка, *Vanellus spinosus*, на которую впервые обратил внимание во внутреннем «зеленом уголке», устроенном внутри солидного каре зданий с круглыми окнами одной не менее солидной компании, производящей электронное оборудование, описание назначения и характеристик которого полагается обходить в разговоре, не все участники которого могут быть определены как заинтересованные стороны. С птицей этой я сразу почувствовал какое-то родство душ. Собранный, кареглазая, осторожная, немного замкнутая. Не считает себя важной птицей. Оперена сдержанно, аккуратно.



Поместив здесь эту фотографию аналогично тому, как привычно цитируют в литературе известного поэта, я все же испытываю опасения по поводу нарушения мною авторских прав госпожи Ван Зандберген и Интернет-сайта, разместившего снимок. Если книга моя не получит

известности, то преступление легко сойдет мне с рук, в противном случае я попытаюсь расчитаться искренним восхищением художественными достоинствами снимка. Если быть до конца справедливым, он отчасти принадлежит и мне, ведь фотографируя птицу, споспожа Ван Зандберген не подозревала, что помимо *Vanellus spinosus* запечатлевает навеки настороженно-независимое состояние моей души.

6.

Не люблю информационных связок в тексте, это всегда халтура или, по крайней мере, выглядит таковой. Только один абзац. Потерпите.

Отец неполного профессора Оме был польский еврей, мать – еврейка немецкая. Отца спасла Красная армия и советская азиатская глубинка, мать – монахини не то в Польше, не то даже в самой Германии. Коммунистические идеи стали общей религией его родителей, в случае же его отца имела место еще и острая неприязнь к местному климату и флоре, к земле, которую в начале двадцатого века в эпизоде 4 первой части «Улисса» Джойс именует «неспособной рожать, мертвой – старушиной – седой запавшей пиздой планеты». Он (отец Оме) оказался здесь только потому, что больше никуда его не брали. Оме-сын рассказал – до конца жизни тосковал его отец по польской зиме.

Я читал о польском священнике, противнике нацистов, освобожденном русскими из концлагеря. На допросе, понимая уже, что ему ничего теперь не грозит, он вздыхает: «Жестоко, конечно, жестоко поступили с евреями, – но потом вдруг подмигивает русскому следователю, – а хорошо, что их больше нет, Польша вздохнет свободной грудью». Разумеется, разные были католические священники, но я благодарю бога за то, что он создал меня пусть не орлом, но, по крайней мере, *Vanellus spinosus*, а не отцом Оме или нежеланным гостем чужих балконов – голубем.

Божественное изобретение – поисковые системы в Интернете. Вот я набираю: «Как отвадить голубей». Щелк – и я уже на форуме, и господи! все, что мне нужно теперь сделать – Ctrl-C да Ctrl-V, таким небесным подарком оказывается найденная мною переписка нескольких женщин для иносказательной иллюстрации чувств, вызванных во мне рассказом Оме о своем родителе. Ей-богу! Я ни слова почти не изменил.

Вопрос:

«По весне голуби свили гнездо на балконе. Я, конечно, его выбросила, балкон помыла, на место гнезда поставила драцену, но эта парочка постоянно бродит по балкону, ну и естественно, гадит... Знаю, что отвадить голубей очень трудно, почти невозможно, но все-таки, может кто-то владеет секретом? У соседей балконы затянуты сетками или застеклены, но у меня квартира съемная, и я не могу этого сделать». (Н. Израиль. Ашкелон. Март, 31)

Переписка (избранное):

В Германии можно купить искусственную ворону. Сажаешь такую птицу на перила балкона, и голуби боятся туда лететь. И выглядит декоративно. (Ф. Германия. Бонн. Март, 31).

Это хорошая идея. В принципе, можно любое чучело какой-нибудь большой птицы посадить. А она не каркает, эта ворона? А то у меня канарейка от инфаркта умрет... (Н. Израиль. Ашкелон. Март, 31)

Нет, не каркает. (Ф. Германия. Бонн. Март, 31)

Есть ещё специальные шипы из пластика: они кладутся на горизонтальную поверхность или прикрепляются на ограду, и у птиц нет возможности усаживаться. А ещё я слышала рекомендацию – насыпать черный молотый перец на проблемную зону. (П. Россия. Москва)

А у нас на маленьком балкончике они уже несколько лет гнездо вьют. Все равно им пользоваться невозможно, он шириной сантиметров

тридцать всего. Голуби раньше нас там уже поселились. Мы, когда купили квартиру, они там уже жили... и мне было неудобно их выгонять. Они там птенчиков выводят, ма-аленьких и смешных, а потом птенчики подрастают и учатся летать. Так что у нас просто орнитологическая станция, наблюдение за семейной жизнью голубей. На балкончик, конечно, не выйдешь – свинство и антисанитария сплошная, но не могу я их выгонять... (Р. Нидерланды. Гаага. Март, 31)

Вот и я уже не смогу птенчиков выкидывать... Так что лучше не дожидаться. Хотя они уже вьют гнездо в моей драцене. Вот глупые птицы! Не понимают, что их здесь не хотят, и все равно лезут! Сейчас наткнула деревянных палочек в горшок, чтобы не смогли залезть. Посмотрела, у всех соседей балконы сетками затянуты, а один без сетки, но там собачонка на страже. (Н. Израиль. Ашкелон. Апрель, 1)

В магазине предложили следующие варианты: спрей, отпугивающий голубей, он образует липкую пену, голуби в ней вязнут, и в следующий раз якобы не лезут. Для того чтобы отмыть эту самую пену, предлагается другой спрей. Еще пластиковые шипы. При этом продавец продемонстрировал на себе как они вонзаются голубю в попу. Страшная штука. Я, конечно, озабочена тем, как избавиться от голубей, но не до такой же степени... (Н. Израиль. Ашкелон. Апрель, 2)

Говорят, старые диски можно повесить – тоже отпугивают. Но еще не проверяла. А вообще, они меня, кажется, побеждают. Нет у меня такого упорства как у них. Буду выкидывать их гнездо раз в день, а не каждые полчаса. Все равно они его успевают построить быстрее, чем я увижу. (Н. Израиль. Ашкелон. Апрель, 9)

Сочувствую!!!! (Гость. Франция. Марсель. Апрель, 10)

Поставь канарейку подальше от балкона на пару дней, а на балкон – ветряк маленький самодельный и трещотку, старые диски – рулят. Особенно двусторонние. Еще метод – мороки много только – по периметру балкона от пола до потолка на пару дней – картонные коробки. Типа – "застеклила". Вид варварский и жуткий. Но самый действенный метод – разбить яйца в кладке. Но это уж совсем на крайний-крайний случай. (Д. Украина. Киев. Апрель, 10)

В общем, войну я проиграла. Они меня победили. Гнезда я каждый день на помойку выносила, один раз и яйцо с балкона швырнула, разозлившись. Второе яйцо они до гнезда не донесли, разбили по дороге, под солнышком, оно хорошо прожарилось... Только пароочистителем удалось эту яичницу с пола оттереть... Надоело мне это все. Последнее гнездо они свили снова в горшке с драценой, и я его выбрасывать не стала. Ну и тут семья их, видимо, распалась... Голубь больше не прилетает, а голубка сидит целый день в моей драцене. Не мусорит на балконе, не какает. Ну и пусть себе сидит, мне она уже не мешает. И я ей не мешаю. Даже когда драцену поливаю, она сидит себе смирненько... Или это не поражение, а мир? (Н. Израиль. Ашкелон. Июнь, 11)

7.

Чуть позже я объясню, как в компании постоянных гостей Эммы и Шарля мне досталась роль «левака», хотя, начиная еще со стычек с сухой сталинисткой, ведущей у нас когда-то семинары по истории КПСС, чем дальше, тем больше, и так по сегодняшний день, кровь моя отравлена (видимо, уже навсегда) неприязнью ко всем видам социализма, начиная от двух его крайностей – германского национал-социализма и русско-еврейского большевизма, и дальше – ко всем разновидностям между ними, не исключая складной, с удобными выдвижными ящичками, шведской модели и крикливой, в мавританском стиле, испанской, вместе со всеми ее латиноамериканскими вариациями (как звали-то ее?.. Пасионария. «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса». Славная женушка). Социализм не признаю еще по одной существенной причине – я люблю роскошь. Пусть и не принадлежащую мне. Например, Эмму.

А тогда, в начале, после переезда, мне еще только предстояло разбираться, чем расцвела или зацвела эта Джойсова вагина, моя новая родина, – райскими садами или болотной ряской. Тогда мне это было неясно, да и неважно. Где Эмма – там сад.

Когда я впервые застал Оме у Шарля с Эммой, мне бросились в глаза его усы, и то, что левый ус обходил бородавку над губой. Он, видимо, принял меня за гостя из разряда случайных. Эта его ошибка еще более укрепилась благодаря тому, что Эмма назвала ему только мое имя, затруднившись определить наши отношения. Оме этого нюанса не заметил, а мое сердце сжалось, чтобы затем прыгнуть, уцепиться за левую ключицу и сделать на ней подъем разгибом. Бывая у Шарля с Эммой, я, конечно, не провожал Эмму маслянистым взглядом и не разыгрывал средневекового рыцаря или Тургенева в... не помню, как называется местность во Франции, где жила та дама, в которую он был влюблен. Я был сдержан и корректен, но вот эта заминка Эммы сразу выдала мне, что она ничуть не заблуждается относительно причин моей «дружбы» с их семейством.

Оме с удовольствием рассказывал о новой Франции, о царящей там терпимости и демократии, до которых нам здесь далеко, о событиях и духе 68-го года. С улыбкой воспроизвел он лозунги «Красного мая»: «Запрещается запрещать!», «Будьте реалистами – требуйте невозможного! (че Гевара)», «Секс – это прекрасно! (Мао Цзэ-дун)», «Воображение у власти!», «Всё – и немедленно!», «Забудь всё, чему тебя учили – начни мечтать!», «Реформизм – это современный мазохизм», «Распахните окна ваших сердец!», «Нельзя влюбиться в природу промышленного производства!», «Границы – это репрессии», «Освобождение человека должно быть тотальным, либо его не будет совсем», «Нет экзаменам!», «Оргазм – здесь и сейчас!», «Университеты – студентам, заводы – рабочим, радио – журналистам, власть – всем!» что ж, обилие тире всегда было мне по душе. Оме сообщал нам также и сведения, касающиеся «текущего момента»: он информировал нас о реформе еврокоммунизма, о его сближении с социалистами и другими общественными движениями – феминистским, экологическим, антирасистским и сексуальных меньшинств, о том, как полнятся французские улицы новыми людьми с разными оттенками кожи. Он сравнил такого рода неизбежный прогресс с привыканием парижан к Эйфелевой башне и мешанине цветных труб центра Помпиду. Я на одной из первых встреч с ним, чтобы поддержать разговор и хоть как-то обозначить свое присутствие, задал вопрос, прибегнув, ей-богу, к самой скромной и вежливой из доступных мне интонаций, не приведет ли смешение культур к трениям, а то и к взрыву, и был поражен той степенью безразличного недоумения, с которой взглянул на меня неполный профессор всеобщей истории. Он был грузный и высокий мужчина, с таким неловко вступать в драку, да я никогда и не дрался даже в детстве. Но вот посмотреть, как затряслись бы его пухлые щеки от пары... Нет, нет, что за нелепые фантазии! Не помню, что именно он ответил, но сказал что-то короткое, пренебрежительное и отвернулся к Шарлю, с которым вел беседу до этого. Не думаю, что в моем внешнем виде или манере говорить есть что-то, вызывающее желание тут же от меня отделаться. Такого почти никогда не случалось со мной. Нет, вру, случалось. Два эпизода. Первый – мне было лет десять, я пришел к сверстнику-соседу и нашел его играющим с солдатом в отпуске. Вторым – я подошел к толпе таких же, как я, студентов, беседующих с туристом, как я понял потом, потомком русских белоэмигрантов. В обоих случаях моя попытка присоединиться вызвала взгляды, в смысле которых трудно было ошибиться: «изыди», – говорили мне они. У меня нет доказательств, но интуиция подсказывала мне, что дело тут было не в личной, необъяснимой антипатии именно ко мне, а в некоем групповом обобщающем чувстве, позволю себе это предположение – в ксенофобии, естественно-биологической в случае солдата и идеолого-исторической в случае с туристом белоэмигрантом. Я знаю – есть немало людей, говорящих: «Это не я дурно пахну, это запах поселившихся и размножившихся на мне бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые я, может быть, вовремя не смыл и не соскоблил», – или стряхивающих с себя подобные недоразумения, как утку влагу с перьев. Но со мной такого не происходит. Я, *Vanellus spinosus*, птичка аккуратная, настороженная, обидчивая. Мои перья защищены тонкой пленкой отчуждения.

Но какое групповое чувство заставило так явно оттолкнуть меня неполного профессора Оме? Может быть, потому что гуманитарий предпочитает общение с другим гуманитарием, делая исключение лишь для красивой женщины и ее мужа? Не знаю.

Я читал в комментариях к «Улиссу», что порвав с церковью, Джойс сохранял «иезуитский упрямо-догматический тип сознания» и наградил им своего героя. Видимо, полученное мною в юности марксистское воспитание также сказалось на моем способе мыслить. Поначалу я считал, что приманкой и главным соблазном для Оме была Эмма. Позже я добавил еще две причины, первая из которых – желание улучшить свой русский язык, начатки которого он получил от отца и развил довольно прилично, читая в оригинале Ленина и другие книги. Я старался не ввязываться в споры с Оме, но однажды не утерпел и поинтересовался, читал ли он «Как закалялась сталь». Он окрылся и ответил, что прочел также «Тихий дон» и «Поднятую целину», на что я искренне ответил всем арсеналом одобренных и восхищенных жестов, имеющихся в моем арсенале – качал головой в знак признания, сжал и чуть выпятил губы, как это делают французы, и глазами изобразил наивное недоумение – как такое вообще может быть человеку под силу.

Второй дополнительной причиной, можно предположить, было его стремление пропагандировать свои взгляды. Начинать он с того, что отсекал как легендарную и не имеющую никаких археологических и документальных подтверждений всю еврейскую историю вплоть до завоевания Иерусалима ассирийцами и разрушения Первого Храма, что уже было болезненно для хрупкого ростка моей только нарождающейся национальной самоидентификации, неуверенно протянувшей ниточку к облюбованному мною в личные предки царю Соломону, с которым меня роднила, как мне казалось, не только моя неизменная любовь к Эмме (уж он бы посочувствовал мне в полной мере!), но еще больше, может быть, характер его философских обобщений, настолько естественно плотных, что я не находил в них трещинки, в которую можно было бы ткнуть кончиком иголки насмешек.

Оме также утверждал, что едва ли не пять-шесть веков (примерно поровну в минус и в плюс от нулевой точки отсчета новой эры) иудаизм обладал изрядным и вполне удовлетворенным аппетитом миссионерской деятельности. Результатом были возникшие во всех уголках Средиземноморья иудейские общины вновь обращенных местных племен. В дальнейшем христианство и ислам поставили предел распространению иудаизма, но последним и самым грандиозным его успехом было воцарение в качестве религии власти в Хазарской империи, вскоре ослабевшей и окончательно развалившейся под ударами кочевых народов. Победным аккордом его убеждений был вывод, что евреи – совокупность этнически и культурно не связанных религиозных сообществ, исповедующих или исповедовавших в недалеком прошлом одну и ту же религию – иудаизм. Таким образом, выходцы из Марокко – по большей части берберы, из Йемена – арабы, из восточной Европы – хазары. Этническими потомками древних евреев Оме полагал местных палестинцев, принявших Ислам, который, по крайней мере во времена его становления, поощрял вновь обращенных освобождением от налогов.

Многие из выпадов Оме казались мне верными, во всяком случае, проходили через то единственное сито, которое было в моем распоряжении в профессионально совершенно чужой для меня области знаний – сито внутренней логической стройности. Мешали мне две вещи: первая – явное наличие в его исторической концепции заранее заданной цели – отрицания этнической еврейской идентификации государства; и вторая помеха – ощущение, что Оме находится в постоянной готовности взойти на костер. Я по складу характера скептик и питаю недоверие к энтузиастам, а слушать речи политически ангажированного историка – как варить кашу под деревом, в нее все время падает всякая дрянь с отсохших ветвей.

В позитивных его построениях я и вовсе не чувствовал той «железной» связи, которая в инженерном деле дает мне ощущение, что изображенная на бумаге электронная схема в принципе работоспособна, а после доводки деталей будет выполнять все то, что требовалось от нее исходным заданием. Короче – застарелая моя нелюбовь к «су-су-су» и стремлению снабдить гуманитарную клоунату неким жестким логическим каркасом, к которому можно было бы уже крепить цветочные горшочки философских обобщений. Но меня ему не запутать, не замотать. Я достаточно интеллектуально гибок, чтобы признать: утверждение

стиральной машины об эквивалентности двенадцати мужских рубашек (в том числе байковых в клеточку) и одного постельного комплекта (простыня, две наволочки и пододеяльник) – абстрактная и неточная, но все-таки истина, а построения Оме – чистой воды «су-су-су».

Прошло некоторое время, и мне показалось, что я готов теперь к спору, но мне не хотелось прямого столкновения с Оме, не желал я и ступать на минное поле чуждой мне области знаний, уподобившись Оме, далеко ушедшему от собственной узкой специализации.

Я решил опробовать свой подход на Шарле. Случай представился мне, когда Эмма задумала угостить нас охлажденным арбузом, нарезанным и смешанным с кубиками белого подсоленного болгарского сыра. Последний отсутствовал в ее холодильнике в нужном количестве, и Шарль вызвался сходить в ближайшую лавку, а я, посомневавшись, стоит ли оставлять Оме наедине с Эммой, вызвался сопровождать Шарля. Я считаю, что веру в женскую надежность, хотя бы для собственного спокойствия, стоит всегда усиливать страховкой, как на тренировках в гимнастическом зале. В данном случае я счел, что таковая имеется в лице становившейся все более забавной Берты, светлым зайчиком отражения матери мелькавшей в доме. Кстати, Шарль в этом отношении представлялся мне слишком беспечным. Я не одобрял его доверчивости.

8.

В инженерном деле, сказал я Шарлю, где результаты работы большого коллектива над грандиозным проектом очевидны, и где любой трезвый человек скажет, удачно ли воплощена идея и насколько удачно, мы наблюдаем последовательный и несомненный прогресс.

Если же гуманитарии спроектируют, например, навигатор, и ты задашь ему направление на центр еврейской души, то он приведет тебя либо в Тель-Авив, либо в Иерусалим, либо в Нью-Йорк, либо сбросит в море. Построенное из обобщений гуманитарное изделие в лучшем случае напоминает мне битком набитый чемодан, собранный безруким упаковщиком: крышка двумя передними зубами вцепилась в замки, но по бокам образует щели, из которых торчат складки одежды, рукава, поблескивает днище баллончика дезодоранта. Изредка в море гуманитарного мышления появляются ослепительные новые идеи, чья стройность напоминает инженерную, например: монотеизм, построение великих империй, коммунизм, фашизм, нацизм, мультикультуризм. Гуманитария, так же как и инженеру, хочется ярких результатов, хочется своего, неоспоримого величия. Гуманитарная же наука, на мой взгляд, тем лучше, чем меньше она рвется к обобщениям и чем больше вместо этого просто стремится осветить детали и темные углы.

Поскольку начал я с инженерии, рядом был Шарль, я был возбужден и рассержен Оме и его речами, и мне хотелось непременно заполучить Шарля на свою сторону в назревающем конфликте с неполным профессором, то, видимо, подчеркивая нашу с ним близость и расстояние от Оме я, дальше – больше, начал вкраплять в свою аргументацию элементы ненормативной лексики.

Надо сказать, что в вопросе ее использования, для меня характерна абсолютная амбивалентность. Я люблю и Набокова, и Ерофеева. Я могу годами без нее обходиться во всех жизненных сферах, но не чувствую ни малейшего дискомфорта, когда обстоятельства диктуют мне ее применение. И вот после некоторого размышления о том, как мне в этих моих записках с достаточной степенью достоверности передать нашу беседу, я решил прибегнуть к трюку, который, может быть, будет единственной стилистической оригинальностью данного опуса, кого-то оттолкнув, у кого-то вызвав несложный коктейль чувств, состоящий из смеси презрения с жалостью в произвольной пропорции. У кого-то же усердие неопытного экспериментатора вызовет поощряющую снисходительную улыбку. Заключается моя идея в следующем: в русском языке всего-то ведь четыре «неприличных» слова, варьируя которыми можно достичь известного эффекта выразительности. Я предлагаю заменить их следующими эвфемизмами:

1. Нос.
2. Платок (имеется в виду – носовой).
3. Сморгаться.
4. Марля.

Если первые три термина не вызовут ни малейших затруднений у проницательного читателя, то в отношении четвертого я обязан дать некоторые разъяснения. В детстве у меня был приятель, страдавший хроническим насморком. Мы звали его – Лестибудуа-сморкач. В кармане он всегда носил медицинский бинт, от которого отрезал перочинным ножиком по необходимости кусок марлевой ленты (нынешних мягких бумажных салфеток тогда еще не было). То есть марля в нашем случае – это относительно дешевый носовой платок, не подлежащий длительному использованию, и теперь, я полагаю, у читателя не осталось ни малейших сомнений в том, что это слово призвано обозначить.

– Да сморкался я в платок его матери, я столько лет мог только облизываться, лишь издав издав наблюдая и обоняя чужие пиршественные столы, – изрыгались из моих уст огонь и сера в адрес Оме. – Русские, например, с их князем Игорем и Василием Темным. Иваном таким-то (Калитой) и Иваном таким-то (Грозным), с приправами, приготовленными какой-нибудь обнаглевшей Мариной Мнишек (а вот наш нос ей в ее горделивую польскую задницу! знаем их гонор – самовлюбленные грузины славянского мира). Или монголо-татарское богомерзкое иго. Но где монголо-татары (на раненых воинов положили скамьи и пиршествовали!), там Дмитрий Донской! А где тевтонцы со своей железной свиньей, там тут же, пожалуйста, – Александр Невский с клещами-«крыльями»! А Петр Великий и «приют убогого чухонца». А Великая Победа, по поводу которой намекали, что мои предки вносили в нее свой вклад, не покидая Ташкента. Между прочим, именно там и пережили ту войну мои малолетние родители. Но старший брат матери, погибший под переименованным потом Кенигсбергом, мог быть, конечно, привит к величественному древу русской славы, но кому видна жалкая его веточка на фоне буйно разметающейся на ветру времен исторической листвы. И вот теперь, когда я, наконец, только усаживаюсь за наш древний, трех с половиной тысячелетний стол, эта гнусная скотина Оме начинает сворачивать скатерть потому, видите ли, что он уже сыт. Убери руки от моего рябчика, дерьмо! Это мой ананас, я его впервые в жизни хочу попробовать, мерзкий ублюдок! Вот англичанам, которым мало было своего острова и потому поработивших несчастных ирландцев, достались еще Австралия с Новой Зеландией и Северная Америка. Еле вышибли их из Индии, а мне не окунуть пяты свои в Мертвое море, а персты рук своих – в Средиземное, между которыми полтора часа езды на «Субару», тысячу шестьсот кубиков. А вот, выкуси, коммунистическое отродье, марля левацкая!

Шарля, кажется, мне удалось без труда перетянуть на свою сторону. Мы задержались немного и выглядели такими веселыми, что Эмма и Оме посмотрели на нас с удивлением, а Берте наше воодушевление настолько пришлось по душе, что она натащила нам на колени игрушек, изображавших женщин, детей и зверушек, и потребовала, чтобы мы рассмешили и их, потому что она хочет посмотреть, как они будут смеяться. Мы с Шарлем, переглянувшись, принялись шептать куклам на уши изобретенные мной непристойности и так хохотать, что заразили весельем сначала Берту, затем Эмму и даже Оме. Пришлось нам соврать, что мы соблазнились с Шарлем выпить по паре больших бокалов бочкового пива (Берта тут же потребовала напоить пивом кукол). Соврал, впрочем, я, а не Шарль, и остался снаружи вроде бы как дослушивать разглагольствования Оме, который, между тем, не желал растрачивать на меня (к тому же якобы слегка подвыпившего) дар своего красноречия.

Шарль отправился на кухню помочь Эмме (что за помощь? перебросить плотные белые кубики сыра из утопленной в молочной сыворотке пластмассовой корзинки в тарелку с алыми арбузными кубами?) Видимо, пересказывал Эмме мои тезисы. Из кухни на площадку, на которой мы сидели с Оме, погруженные в рыхлую серьезность, наступающую обычно после веселья, выходило высокое оконце со стеклянными жалюзи. Но Эмма – рослая женщина, и в нижней его части я разглядел ее насмешливые глаза. Наверное, встала на цыпочки, подумал я. Видимо, в изложении моих мыслей Шарль не делал купюр, и Эмме хотелось, таково мое предположение, чтобы я вступил в спор с Оме и своими ушами услышать, как я выкрикиваю, например:

– майора Ковалева нос! Я этого хочу!

или:

– Да сморкался я в ваши марлевые коммунистические идеи!

Но в перепалку с Оме я так и не вступил в тот день. Зная за собой особенность находить нужные слова лишь после того, как слушатели уже разошлись, я часто предпочитаю помалкивать. Я становлюсь говорлив только среди хорошо знакомых людей, с которыми постоянно общаюсь. В этом случае я уверен – все, что придет мне на ум позже, я смогу досказать завтра или через несколько дней. Да собственно, в этих исторических разбирательствах меня больше всего беспокоила сама Эмма, и я действовал, прежде всего, из высоких побуждений, защищая ее сознание и душу от вредоносных, на мой взгляд, интеллектуальных построений. И я определенно видел ее поощрявшую меня улыбку сквозь жалюзи. За это я могу поручиться.

Раздражение, которое я испытывал в то время по отношению к Оме, было, наверно, исходной точкой в написании рассказа «Реинкарнация сионизма» точно так же, как упреки «почвенников» подтолкнули меня к отъезду. Но не приходится сомневаться в том, что внутренняя пружина рассказа сжата уже совершенно иной силой, она взведена пробуждавшимся во мне чувством, имя которому, наверно, – патриотизм. Не то чтобы в первой части записок меня следует воспринимать законченным космополитом. Пожалуй, нет, а на времена, которые я определил бы как Сахаровские, пришелся пик моего – вплетения, я бы сказал... Во что?.. Я очень осторожно подбираю слова. Ну, в ткань российской государственности, наверно. В канву гражданского общества. Полное же слияние было очевидно недостижимо. А пернатые (улыбнитесь, на здоровье, напрашивающемуся созвучию) вида *Vanellus spinosus* испытывают, оказывается, непреодолимое стремление к цельности.

9.

Всю ночь жгли костры. Иногда звучали выстрелы.

– “Это дети швыряют патроны в огонь”, – догадался я и решил записать сына в танцевальный кружок.

Утром я разыскал школу танцев. Меня опередили две женщины. Учительница, маленькая и юркая, схватила первую мамашу и закружилась с ней в танце.

– “Ага, матери записывают дочерей, а отцы – сыновей”, – догадался я.

– Замечательно! – сказала учительница-пигалица и сделала отметку в журнале.

Теперь она схватила вторую мамашу, но та только подпрыгивала на паркете.

– Ну, ничего, – сказала танцевальная дама и что-то долго писала в журнале.

Теперь она подскочила ко мне.

– Не собираюсь танцевать с вами, – сказал я, насупившись.

– А как же я узнаю, есть ли у вашего сына наследственная склонность к танцам? – учительница в наигранном удивлении развела руками.

Я смотрел на нее и не отвечал.

– Ну, ладно, – сказала пигалица и, убежав, вернулась с иголкой.

Ловко, словно в маленькую подушечку для иголок на покое, она воткнула иглу мне в нижнюю губу, и когда кончик иголки вышел наружу, принялась обматывать вокруг нее нитку.

Пока она это делала, я боялся шевелиться, но когда закончила, я спросил:

– Зачем это? – странное дело, оказывается, иголка с ниткой в губе совершенно не мешают мне говорить.

– А зачем Аврам поднялся из Ура Халдейского и пошел в землю Ханаанскую? – спросила она.

– Чтобы стать Авраамом, – ответил уверенно я.

– Ну, вот, – спокойно и рассудительно сказала ученая пигалица и сделала легкое па.

– Немедленно выньте иголку из моей губы, – потребовал я.

– Куда же я ее дену? – удивилась танцовщица.

– Пришпильте к моей рубашке.

– Ладно, – согласилась она добродушно.

На моей белой без кармашков рубашке с очень жестким красивым воротником, на груди (где сердце) иголка с обмотанной вокруг нее голубой нитью выглядела настоящей орденой планкой. Я шел домой и был очень горд собою – мой сын будет уметь танцевать!

10.

Обсуждение идей Оме продолжалось и в его отсутствие. Конечно, никто из нас, ни я, ни Шарль с Эммой, не обладал таким количеством информации, какое было в распоряжении неполного профессора, и тем не менее, я сделал попытку противопоставить ей что-то простое и очевидное. Пожалуй, из всего, что он нам рассказал, мне больше всего понравилось соображение одного французского философа, чью фамилию я не запомнил: расизм = снобизм бедняка. И вот это я люблю – остановиться перед любопытным экспонатом в коллекции точных наблюдений. Когда же пытаются из них выстроить пирамиду «су-су-су», я оказываю посильное сопротивление, если не вовсе выхожу из себя.

Я предложил оставить в стороне философские обобщения и вернуться к базисному понятию племени. Для его выживания, заявил я Эмме и Шарлю, требуются: жизнеспособная экономика, этнический нарратив и военная организация.

Цифра три, продолжал я чеканить свои постулаты, лежит в основе западной цивилизации, и сама она покоится на трех китах: Риме, Афинах и Иерусалиме. Даже марксизм, напомнил я Эмме, является прямым и непосредственным продолжением: немецкой классической философии – раз; английской политической экономии – два; и французского утопического социализма – три.

Эмма улыбнулась, а я продолжил:

– В основе же психологического типа Оме лежат три синдрома: Герострата, Нарцисса и Монморенси. Он поджигает наш храм и любит себя в ответах пожара.

– А что за Монморенси? – вопрос Шарля, на который я, разумеется, напрашивался и на который рассчитывал. Все-таки Шарль мне – настоящий товарищ.

– Монморенси – это имя пса из «Троих в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, – ответил я. – Помните?

– Помню, – сказала Эмма.

«Жизненный идеал этого пса, по словам автора, – цитировал я, – состоял в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, – тогда он чувствовал, что провел время с пользой».

Этих оскорбительных характеристик, данных мною неполному профессору, мне показалось мало, и я еще накинудся на частично германо-еврейское происхождение Оме, по его словам, – родственника известного журналиста Курта Тухольского. Я выплеснул наружу накопившуюся во мне неприязнь к «немцам Моисеевой веры»:

– Они с алеющими пятернями на обеих щеках, – сказал я, адресуясь больше к Эмме, – продолжают гудеть в вувузелы своих идеалов, будто все еще живут в тридцатых годах в Фатерланде, и все еще возможно предотвратить кошмар сороковых.

– «История – кошмар, от которого я пытаюсь проснуться», – как видите, я запасся цитатами, последняя – из беседы школьных учителей («Улисс», Джойс). – «А вдруг этот кошмар задаст тебе пинка сзади»? – вопрос, который задает себе один из них, молодой, через пару строк.

– Когда это было написано? – будто бы самого себя спросил я в присутствии Эммы и Шарля.

– Самое позднее – в тысяча девятьсот двадцать первом году, – ответил я себе же. – Потом старый учитель догоняет молодого, и вот вам полная цитата.

Теперь я достал листочек из бумажника и, прежде всего, убедился, что не переврал то, что воспроизвел по памяти, а уж затем стал читать по бумажке:

«– Я только хотел добавить, – проговорил он. – Утверждают, что Ирландия, к своей чести, это единственная страна, где никогда не

преследовали евреев. Вы это знаете? Нет. А вы знаете почему? Лицо его сурово нахмурилось от яркого света.

– Почему же, сэр? – спросил Стивен, пряча улыбку.

– Потому что их сюда никогда не пускали, – торжественно объявил мистер Дизи.

Ком смеха и кашля вылетел у него из горла, потянув за собой трескучую цепь мокроты. Он быстро повернул назад, кашляя и смеясь, размахивая руками над головой.

– Их никогда сюда не пускали! – еще раз прокричал он сквозь смех, топая по гравию дорожки затянутыми в гетры ногами. – Вот почему.

Сквозь ажур листьев солнце рассыпало на его велемудрые плечи пляшущие золотые звездочки и монетки».

Вообще-то мне в этом небольшом по объему тексте безумно нравится, что «лицо его сурово нахмурилось от яркого света», и что «ком смеха и кашля вылетел у него из горла, потянув за собой трескучую цепь мокроты», и что «он быстро повернул назад, кашляя и смеясь, размахивая руками над головой», и что топал «по гравию дорожки затянутыми в гетры ногами», и «сквозь ажур листьев», и «солнце рассыпало на его велемудрые плечи», и «пляшущие золотые звездочки и монетки». Все это порождает во мне восторг и зависть, но для нашей беседы я словно отцеживаю эти красоты, а влажный еще идеологический осадок, развернув тонкую хлопковую ткань фильтра, предъявляю моим слушателям, Эмме и Шарлю.

– На самом деле, – говорю я, – как утверждает комментатор, это вранье – в Ирландии все так же и тогда же, как в Англии: евреев впускали, выгоняли, опять впускали.

Тогда же, прямо во время чтения, я задумал когда-нибудь осмелиться и сравнить подходы Набокова и Джойса к еврейской теме. Заодно и коснуться критики Набоковым Джойса по этому поводу. Первый (то есть Набоков) был немного связан в этом вопросе традицией семьи, женой еврейкой, второй (Джойс) – абсолютно свободен. Но оба – словно вороны, сидящие на бюсте Паллады. И слова лжи не изрекут.

*Вороны клюют монеты с неба, черного всего,
Звезды мне швыряют в окна, в стекла дома моего.
Звезды – больше ничего.*

Один из первых коротких рассказов, которые я начал писать во времена моих визитов к Шарлю с Эммой, я назвал «Одесса». Там поначалу фигурировали публичная библиотека и энциклопедии, но позже, чтобы модернизировать рассказ, я заменил их Интернетом и Google-ом. Когда я прочел этот свой мини-рассказ Эмме, мне показалось – цветной лед ее глаз влажно блеснул. Я знаю – у Эммы есть сердце, более того – мне кажется, я слышу его ровные удары даже на очень большом расстоянии. Вот этот рассказ. Я прошу прощения, если вам уже где-нибудь случилось прочесть его. Утверждают: настоящий читатель – это перечитыватель. В данном же случае вам, может быть, интересны сообщенные мною сейчас обстоятельства, сопутствовавшие его появлению. Впрочем, как хотите, рассказ вставной, можно и пропустить его.

11.

«Все началось с того, что просто так запустив однажды поздно вечером свои фамилию и имя в поиск в Google, я прочел, что человек с моими именем и фамилией был расстрелян в 1941-м году в Одессе, в первые же дни оккупации ее румынами в возрасте двенадцати лет. Ознакомившись с подробностями и выключив компьютер, я отправился спать, но затруднился уснуть.

Тогда я решил принять таблетку от аллергии. Так я избавляюсь не только от кашля и рези в глазах, но и, возможно, легче засну, хотя инструкция к лекарству уверяет, что препарат не оказывает снотворного действия. Во сне же я, быть может, увижу, как Одесса вместе со мной спаслась от происшедшего в ней, прячась за облаками, и как лучи союзного солнца слепили наводчиков зенитных орудий.

Я заснул, но в реальном сне кровать в моей спальне стояла на боку, матрас – тоже, а я сам лежал на полу, прячась за матрасом. Одесса же

прыгала как обезьяна, пытаюсь скрыться в Африке. По ней стреляли, подстрелили, и она наконец исчезла из моего сна, утонув в Черном море.

Проснувшись утром, я первым делом отправил имя утонувшего во сне города в поиск в Google. Одесса нашлась в штатах Вашингтон, Делавэр, Мичиган, Нью-Йорк и Техас (США), а также в провинциях Саскачеван и Онтарио в Канаде. Я проверил списки абонентов обычной и сотовой телефонной связи всех этих населенных пунктов, ни в одном из них я не значился».

12.

Я испытываю отвращение к романам с чужими женами. Это, должно быть, похоже на мою нелюбовь к скальным маршрутам в горах. Слишком большой представляется опасность, слишком сокрушительными – возможные последствия. Но это, скорее, отговорка. Смейтесь надо мной, сколько заблагорассудится, но мужская солидарность – это такой летательный аппарат, который возносит меня над пиками вождения.

Тем более ненужной и мало соблазнительной представлялась мне интрижка с женой Оме, вместе с которой он стал появляться. Худая, на грани анорексии, она была биолог по профессии, тоже преподавала в университете и во время начала нашего знакомства писала диссертацию на тему «Вымирание видов как следствие рассинхронизации брачных периодов». Думаю, исходным мотивом ее было держать под своим контролем общение Оме с Эммой, но побочным следствием стало знакомство со мной. И если Оме с самого начала не проявлял ко мне никакого интереса, а позже и почувствовал, что моя нелюбовь к сомнительным обобщениям отталкивает его взгляды, как смазка водоплавающих птиц предохраняет их перья от смачивания водою, то жена его не только не разделяла высокомерия мужа, проявленного им по отношению ко мне, но наоборот, нашла во мне забавного и «куртуазного» собеседника. Я, как кажется уже упоминал, немало разглядывал себя в зеркале, особенно в юности, но если и находил что-то особенное, то, скорее всего, во взгляде. А так – *Vanellus spinosus*, довольно скромная, тонкокостная птичка. Но в перехваченных мною взглядах на меня жены Оме, в той особой собранности и пружинистости, которую позволяла ей ее худоба, когда она заговаривала со мной, ей богу, со временем стало появляться не меньше чувства, чем в глазах оперной певицы, когда она растягивает колоратурное «а-А-а-а-а-А» и будто пытается обнять руками весь зрительный зал. При общей ее, я бы сказал, минорности нужно было напрячь зрение, слух и интуицию, чтобы заметить проявления ее страсти, но я замечал.

Я забавлялся и «динамил», но со временем мое увилвание стало приобретать привкус чего-то неджентльменского. Эмма, как мне показалось, давно заметила это амурное копошение, но, как будто назло, не выказывала никак своего отношения к нему. А так хотелось увидеть Эмму если не ревнующей всерьез, то на худой конец – хотя бы в роли собаки на сене. Каюсь, желая подразнить Эмму, я подавал ложные сигналы жене неполного профессора. Надо признаться, она была по-своему мила. Мне симпатичны почему-то немного серповидные в профиль женские лица. И именно такое было у госпожи Оме. Когда в поле зрения моего попадает такой дамский ущербный полумесяц, я мысленно прикрепляю к кончику носа условный отвес и проверяю, коснется ли струна подбородка, пересечет ли его. И в самом кончике носа ее было что-то по-детски трогательное, он казался вечно мерзнущим, и из этого обстоятельства сам собою рождался порыв как-нибудь ей помочь, обогреть ее.

Когда госпожа Оме заявила ко мне на квартиру под каким-то явно надуманным предлогом, в ее груди kloкотала такая наивная девичья взволнованность (признаюсь, меня совершенно восхитившая), что я начал раззадоривать ее еще больше, пока она не стала напоминать, несмотря на субтильность своей физической оболочки, потерявший управление и катящийся под гору железнодорожный состав. Я, мерзко кокетничая, тянул время, надеясь, что она опомнится. Но этого не случилось, а случилось непоправимое – я стал соучастником преступления, именуемого адюльтер и в моем случае напоминавшего железнодорожную катастрофу с человеческими жертвами где-нибудь в

Индии, о которой сообщают средства массовой информации всего мира. Оглядев последствия – кривые рельсы и мятые вагоны моего душевного состояния – я сказал ей, что муки совести по отношению к Оме жгут меня как пламя ада, и даже хуже. Это утверждение выжало не только вполне ожидаемую слезу из ее глаз, но и такую степень понимания, что я сразу же и совершенно успокоился насчет того, как из этой ситуации выпутаться. Отныне мне надлежало лишь изредка отвечать на ее исполненный глубины взгляд и уворачиваться от дружеских поцелуев в губы.

Видимо, рассказывая и мысли о собственной непорядочности изрядно донимали меня, раз мне приснился такой сон, будто я – жена Оме, с одной стороны вроде бы лежу на спине в тихом восторге, а с другой стороны участвую в дикой скачке и на мне, словно на худющей лошади – кожа да кости – скачет Родольф, хазарская горячая кровь. Захватчик! Насильник! Мешок с бараньим парным мясом – его седло! Раз-раз-раз-раз! Коли-руб! Но-ги-в-стр-емя-ша-шки-вон! Вон-вон-вон-вон! Как-мон-гол-гол-гол-гол-гол! Ко-пы-та-цок-цок-цок-цок-цок! Мол-чать-тер-петь-не-сто-нать! Гип-гип-гип-гип-гоп-гоп-гоп-гоп! Так-ой-ни-пя-ди-не-от-даст-зе-мли-ро-дной-вра-гу-вра-гу-не-дам-вра-гун-гунн-гунн-гунн-гунн!

Пока, проснувшись, я упорядочивал воспоминания о своем сне, наступило утро в обычной последовательности: сначала – застрекотали птицы, потом – всплыл-выплыл рассвет, потом – залаяли-застонали собаки, потом – моторы откашливали мокроты, следствие высокой ночной влажности. Несколько позже стали слышны голоса детей, которых мамы заталкивали в автомобили, чтобы отвезти их в детские сады и ясли. Рассветные шумы существуют для того, чтобы оттенять и огораживать утренний покой, ночным скрипам назначено подчеркивать уязвимость и одиночество.

Через несколько месяцев у четы Оме родился третий, поздний ребенок. Выглядевшая счастливой родительница загадочно улыбалась мне, но клянусь, девочка – вылитый Оме, фамилию которого она будет носить теперь до собственного замужества. Надо отметить, что супруги Оме вообще друг на друга изрядно похожи, вот только у госпожи Оме нет над губой бородавки и, следовательно, ей не нужны пышные усы. Мне, думаю, не о чем беспокоиться, – ее супруг, будучи принципиальным противником использования генетических исследований в вопросе происхождения евреев, неоднократно называвший это занятие расистским бредом, никогда не опустится до экспертизы ДНК, даже если его супруга в запальчивости признается в измене.

Препоганный осадок все же остался у меня в душе от этой истории, несмотря на то, что всем бросалось в глаза, как расцвела жена Оме в последнее время (прибавив даже пару килограммов во время беременности) и принимая во внимание, насколько нежнее стали отношения супругов. Так что сливки в конечном итоге снял Оме, и я отчасти даже возгордился тем, что нечаянно выступил в совершенно неожиданном для себя качестве гормона, способствовавшего чужому семейному счастью (вот только свое собственное мне никак не дается).

И все же мерзкое ощущение вызывало во мне подозрение, что я вклинился в их семейную жизнь не только из желания разбудить ревность в Эмме, но также из низкого чувства мести, и расквитался за личное ко мне пренебрежение, но главное – за то, что Оме посмел, задрав подол моему только зарождающемуся национальному чувству, сделать попытку обесчестить его. Мне казалось также, что я совершил не вполне благовидный поступок еще и потому, что к священному костру, хворост для которого сам собрал и на который жаждал взойти современный пророк свального братства – Оме, я подкрался сзади, со спины, плеснул бензин и зажег спичку, в то время как для чистоты ритуала возжечь священный огонь должен был сам приносящий себя в жертву ради торжества своих идей, при стечении ненавидящей толпы, – неполный профессор Оме.

Леон, о котором речь впереди, конечно, лишь посмеялся бы над моими угрызениями совести. «Зарезал Оме священную корову? – спросил бы он. – Зарезал. Антрекот публичного скандала скушал? Скушал. Ну, пусть и платит по счету и не забудет оставить чаевые. Если он такой любитель суровой правды, пусть покопается еще и в собственной биографии, действительно ли тот, кого он считает своим отцом, на самом деле является его папочкой. Не вкрался ли в его настоящие отцы араб с

роскошными усами или иностранный рабочий из Турции. Правда – превыше всего».

И все же, как любили говорить большевики, я «вылил воду на мельницу» Оме (не совсем воду и вовсе не на мельницу). Его жена была как всегда тиха и пассивна, когда поезд моей низменной страсти гнул и выворачивал рельсы, но я был оглушен случившимся. Я, может быть, внес неопределенность в правильное отображение древа еврейской национальной генеалогии. Каин родил Еноха, Енох родил Ирада. Стройно, определенно, точно! На стройности и точности этой зиждется величие национальной идеи, на определенности этой замешаны высокие чувства, которые великий русский поэт с африканскими корнями определил как «любовь к родному пепелищу» и «любовь к отеческим гробам» и сказал о них, что они «животворящая святыня» и что «земля была без них мертва» и что без них «наш тесный мир – пустыня», а «душа – алтарь без божества». И вот всплывет этак лет через пятьдесят мое сочинение и потомки Оме, гордящиеся своим ученым предком, окажутся перед той же ужасной дилеммой самоидентификации, перед которой он пытался поставить нас и за которую я его возненавидел. Но в глубине души я согласен: правда – превыше всего.

Кроме того, подводя итоги, я признал, что хоть Оме удалось частично подорвать веру в собственную мою биологическую связь с царем Соломоном, были в его подходе к еврейской истории и положительные моменты. Так миссионерская деятельность моих предков-непредков превращала теперь всего лишь в следование древней традиции мое горячее стремление к Эммо-прозелитизму и более сдержанное – к Шарле-прозелитизму, счастливому обращению моих старых друзей в новых евреев. Я с удовлетворением обнаружил, насколько мне это приятно, ведь никакая, даже самая папироснобумажнотонкая прокладка не находилась теперь между нами, потому что «Родольфо-Додольфо, жертве Адольфа» даже слабое дуновение ветерка, ослабляющего естественную, априорную теплоту межчеловеческих отношений, словно загоняет в ноздри рой назойливых насекомых. Этому следствию теорий Оме я, ей-богу, был искренне рад. Отсюда веселый, в общем-то, тон моего рассказа «Ицхак Аронович», в котором появилось это самое насекомое в ноздре, чувство нелепости – результат моего романа с женой Оме – и упоминание о термочувствительном одеяле – идее, с которой я и в самом деле носился, пока изучал язык и размышлял об открытии собственного бизнеса, и которую позже уже в шутку обсуждал с Эммой и Шарлем на их веранде.

13.

Ицхак Аронович (ударение на втором «о», это фамилия) знал, что ночью во сне отлетает от него душа, а если возвращается на время, то тогда он мается бессонницей.

И вот он проснулся и почувствовал, что в ноздре у него, когда дышит, бьется и щекочет нос насекомое. Он поковырял пальцем, втянул воздух – бьется, щекочет. Вывернул другую руку так, чтобы поковырять ею под другим углом. Поковырял, втянул на пробу воздух – никуда не делось насекомое.

И тут почувствовал Ицхак Аронович, что ему холодно, поискал причину и увидел, что одеяло висит над ним в воздухе как ковер-самолет, а на нем восседает его душа. Это как же, удивился он, я не сплю, а душа моя летает на ковре-самолете? Но душа и не думала летать, она просто сидела на одеяле, а оно висело в воздухе на одном и том же месте, прямо над кроватью с недоумевающим Ицхаком Ароновичем.

Он вспомнил, что когда-то хотел и сам изобрести такое одеяло, которое чувствовало бы температуру и держалось бы в воздухе, пока в комнате жарко и опускалось бы, когда воцаряется утренняя прохлада. Но одеяла такого Ицхак Аронович так и не изобрел, а сейчас как раз и царил утренняя прохлада, но одеяло не опустилось. И вот Ицхак Аронович не спит, а душа его сидит верхом на одеяле, перегнувшись над краем и молча глядит на него.

Он зябнет, одеяло автоматическое не изобретено, а это, обычное, не опускается, душа отлетела, сидит, будто на ковре-самолете, молчит и как последняя дура пялится на Ицхака Ароновича, а в ноздре у него

бьется и щекочет нос насекомое и ни одной из двух рук его оттуда не прогнать и не выковырять.

Вот случаются иногда, особенно по ночам, такие нелепые ситуации. Нелепые и совершенно безвыходные. Бедняга, Ицхак Аронович!

14.

Знакомство с Бурнизыен началось для меня со звонка Эммы. Равинессу родители Шарля встретили случайно, кажется, в коридоре тель-авивского отделения министерства абсорбции. Она дочь их московских знакомых.

– Или родственников? – усомнилась Эмма. – Нет, знакомых.

Родители Шарля помнили ее в детстве и охарактеризовали Шарлю как самостоятельную думающую девушку.

– Из тех, что из девичьей сущности рвутся в общечеловеческую, – предположил я в телефонную трубку и напряг слух, чтобы уловить смешок Эммы, но не уловил и удовлетворился надеждой на то, то она хотя бы улыбнулась.

– Какое-то время, – продолжала пересказывать Эмма, – она была близка к секте, возрождавшей культ Григория Распутина, потом, кажется, успела побыть католичкой, но недолго.

– Почему? Ее там кто-то обидел? – спросил я.

У Эммы не было ответа на мой вопрос.

– Она перешла в иудаизм. Там она проделала путь от хасидизма к реформистскому иудаизму, а в последнее время увлеклась учением каббалы.

– Больше всего в жизни не люблю мистику и адюльтер, – резко объявил я, потому что мне показалось в этот момент, будто Эмму заинтриговала духовность Бурнизыен, как когда-то увлекла немецкая философия.

– А из этих двух ужасов, который больше? – засмеялась Эмма.

– Мистику, мистику, – поспешил я загладить сказанную мною глупость.

Привычная марксистская философия напоминает мне дерево, которое пытается пустить корни как можно глубже в почву реальности, религия же воспринимается скорее рекой, которая течет в берегах этой самой реальности, но принципиально отталкивается от твердого грунта. (Ни за что не пушусь в рассуждения о том, что вода, просачиваясь в почву, питает корни и т. д. Всякая метафора хороша только в своем верхнем слое, схоластические отводы от нее видятся мне лишь еще одной разновидностью «су-су-су»). Вера в моем представлении – застывшая интуиция наших предков. Мне импонирует изучение окаменелостей ради самоидентификации, ради поисков культурных корней, и т. д. Но когда мне пытаются надеть эти представления о жизни на голову как гремучее оцинкованное жестяное ведро с отвисшей дугой ручки, я начинаю беситься и орать в его гулкую пустоту. И даже пить из этого ведра мне уже неважно. Когда же пытаются вычерпать из него умильности и банальные истины, я задыхаюсь от интеллектуальной безвкусицы, и мне хочется выть и бежать и продолжать выть на бегу. И вот, заявится теперь эта Бурнизыен и станет, например, выискивать в древних текстах намеки на открытые учеными истины и на имевшие место недавние исторические события. И это будет напоминать мне методу тех моих одноклассников, которые решали математические задачи, подгоняя их под ответ в учебнике. Особого рода абсурд начинался, когда в ответах была опечатка, и первые ученики (Эмма, с ее рациональным складом ума, была всегда среди них) являлись в класс с «неправильными» ответами, радостной, ласковой улыбкой подтверждавшимися учительницей, очень довольной результатами своего труда – родившимися в головах ее учеников практическому умению и интеллектуальной независимости. Но этой закрывающей вопрос учительской улыбке обычно предшествовало разделение класса на три части: одна, уже упомянутая, с «неправильным» ответом; другая – без всяких ответов или с подогнанным – но без претензий; и наконец, третья – твердо идущая в ногу с учебником, уверенная, что на сей раз утерла нос «умникам».

Уважаемый читатель пусть решит сам загадку, от какой из этих групп ведут свой род религиозные авторитеты, и от какой – те особи мужского и женского пола, которые за ними следуют по жизни.

Перечел последние несколько абзацев. Извините, если кого-то задел. *Vanellus spinosus*, оказывается, в таких вопросах – горячая птичка. И что тут поделаешь – ну, не случилось со мной в жизни ничего сверхъестественного, летающие тарелки никогда не воровали у меня пиво из холодильника, самое необъяснимое происшествие в моей жизни – сон, в котором я нашел утерянный сотовый телефон.

Я всегда испытывал благодарность по отношению к нашей с Эммой и Шарлем славной, добрейшей учительнице математики, своим авторитетом легко разрешавшей спор учеников. Когда стало известно, что она умерла, принеся эту новость Шарль, казалось, не знал, что с ней делать, куда поставить ее, к чему прислонить, Эмма отвернулась и отошла в сторону от нас, я даже краем глаза не пытался проследить за ней. Но поверх естественного человеческого переживания, общего для всех нас троих, и несколько позже: осознание непреложного факта – наша учительница математики уже не с нами – преобразовано было моим сознанием как бы автоматически, автономно, без участия воли, в своего рода метафору самого известного двухсловного выстрела Ницше, в почти физическое ощущение – теперь правильные ответы, если таковые существуют, искать и отстаивать – нам самим.

Я был очень рассержен: Эмма и так не принадлежала мне физически, и вот кто-то приходит и покушается на ее душу. Раздражение мое напоминало чувство, возникающее порой, когда морщась, глотаешь таблетку от головной боли, пытаешься вернуть упаковку-матрицу (как она правильно называется? – конвалюта? блистер?) с еще одной опустевшей, развороченной, бесполезной теперь уже ячейкой, сверкающей смятой острой фольгой, в картонную коробку, а она не втискивается, не проталкивается, потому что сложенная гармошкой и согнутая вдвое инструкция воспользовалась свободой и наплевав на свою вторичность по отношению к самому лекарству, заняла предназначенное ему, прежде всего ему, пространство да еще, как назло, подвернулась не гладким горбом, а двумя бумажными жабо. И вот тычешься, мнешь без толку бумагу, гнешь конвалюту, пока, смирившись, не войдешь с другой, податливой стороны или попросту не вышвырнешь инструкцию из коробки. Сгоряча я тут же, по телефону, рассказал Эмме анекдот, который не решался пересказывать раньше.

– Папа, – спрашивал мальчик где-нибудь в России, – я еврей или русский?

– Сынок, приличные люди не задаются такими вопросами. Все люди равны, это не имеет никакого значения.

Я слышал, как Эмма сначала насторожилась и напряглась, но сразу расслабилась и засмеялась. Она слишком хорошо знает о моей любви к ней и о том, что я ни за что не посмею хоть как-то ее задеть.

– Судя по ответу, этот папа – еврей, – сказала она, смеясь в трубку.

«Погоди», – говорю я Эмме и продолжаю историю:

– Но, папа... – настаивает ребенок.

– Ну, хорошо, я – еврей, а мама у тебя русская. Ну, и зачем тебе это было нужно?

– У нас в классе продается велосипед за пятьдесят баксов. Я и думаю: мне сторговать его за пять или просто увести.

К оригинальному тексту, каким он пришел ко мне от сотрудника на работе по электронной почте, я прибавил совсем необязательное и даже лишнее дополнение, чтобы дать время Эмме переварить сказанное:

– Отпроситься, например, в туалет во время урока и увести. Или сторговаться на перемене? Ты, папа, как думаешь? Или спросить у мамы?

Я сделал секундную паузу.

– Я к чему это, Эмма, – продолжил после короткого молчания, окрыленный собственной наглостью, – определи сначала, с какой стороны это пришло к тебе, тогда легче будет разобраться с сутью.

Мы, напомним, беседовали по телефону, и мне лишь виделась хрупкие плечи Эммы, подрагивающие от смеха, будто ее везут по брусчатке в безрессорной колымаге. Когда едва слышные мне, несмотря на пальцы на микрофоне телефонной трубки, всхлипывания прекратились, Эмма сказала, что если я намекаю на те составляющие ее происхождения, которые связывают ее с нынешним расцветом женской религиозности в России, то она особенно настаивает теперь на моем знакомстве с Бурнизыен, и требует чтобы я непременно появился у них в ближайшую пятницу вечером, когда обещала прийти равинесса.

- У нее очень высокий IQ, - добавила Эмма.
- Это она тебе сообщила об этом?
- Да. - Я чувствую веселье в голосе Эммы и стараюсь ее не разочаровать.

- Я не в курсе насчет этого IQ. Есть особая шкала для женщин?
Моя милая Эмма! Я чувствую, как она давится от смеха, потому что свою ревность я ряжу в одежды сексизма. А что еще я могу сделать, чтобы уберечь свое сокровище от вредного влияния? Ах - да, я еще добавил к уже сказанному, что еще там, в 80-х годах меня оставил равнодушным торжественный выбор: «Эта дорога ведет/(не ведет) к храму». Сейчас же, с появлением этой Бурнизыен, я готов сформулировать радикальное утверждение: упомянутая экзальтированная формула представляется мне выстрелом «Авроры» по коллективному интеллекту «шестой части суши» именно из-за вплетенной в ее гриву мистической ленточки.

У меня осталось впечатление, что этот раунд борьбы за Эмму я выиграл. И был рад и горд несказанно. Я не уверен, что мои грубые шутки сошла бы так просто с рук кому-нибудь другому. И все же, мне хотелось обнять ее сейчас за плечи и вдохнуть запах и тепло ее волос, и чтобы она почувствовала, как бесповоротно, как трагично... ну, довольно...

15.

Дела Шарля и Эммы шли нехорошо в то время. Точнее, нехороши были дела Шарля, Эмма продолжала работать в филиале крупной американской компании. Я побывал там однажды, но по делу, ограничившемся одноразовым совещанием, участники которого, включая и меня, перекочевали в соответствии с программой сразу после заседания в другое здание на соседней улице для обхода лабораторий. Выкроить время, чтобы увидеть Эмму, оказалось невозможно и неудобно. Мне очень хотелось переманить ее более высоким заработком в свою фирму, но она заупрямилась, сославшись на то, что там у нее сложилась очень удобная женская компания. Я ей поверил, это было именно то, чего ей всегда не хватало. Я мог бы попробовать перейти к ним, но опасался, что Эмма такой шаг с моей стороны может расценить как проявление неуместной назойливости. Роль настойчивого обожателя была мне неприятна, и по этой причине оставалось лишь рисовать в воображении образ тамошней Эммы, Эммы работающей.

Вот она, найдя для парковки место не под деревом, с которого могли бы птицы загадить капот или багажник ее автомобиля, входит в просторный вестибюль, мимо усталого, заслуженного деревца небольшого роста в объемистой глиняной напольной вазе, немного склоненного, увешанного отвисшими медалями бурых листьев. Наклонив голову к левому плечу, на котором висит сумка, доверяет ей Эмма ключи от машины и извлекает из нее пропуск, которым проводит перед плоским рыльцем синеватого, как школьная форма нашего детства, прибора. Ждет секунду, пока он высветит ее благословенное имя и фамилию Шарля, дружески хлопает тем же пропуском по тумбе турникета, который в ответ убирает из прохода свои не отличающиеся прямизной кавалерийские ноги.

Я представляю ее позже проходящей по длинному затененному коридору. Наклонив голову, опустив ресницы, перелистывает Эмма виртуальные страницы смартфона и целых пять секунд (целых пять секунд!), пока она идет навстречу, не глядя на вас, никому, никому больше не принадлежит бесценное зрелище. Я не ревную! Не пропустите! Как знать, быть может, это самые сияющие, самые счастливые пять секунд в вашей восьмидесятилетней жизни!

Вот останавливается Эмма. Постукивает пальцем по стеклу, за которым в глухом внутреннем дворике, усыпанном фиолетовым тufом, бредет птица, именуемая *Vanellus spinosus*, изгибаются южные растения, стволы которых, подражая гипсовостенному столбику в фармацевтическом магазине, будто обвешались множеством очков. На самом деле - эти овальные впадины остаются на коре растений в тех местах, где отвалились большие резные листья. Диковинки (в данном случае - растительного мира) плохи тем, что к ним слишком быстро привыкаешь - и к их необычным листьям, и к ячеистой коже, и даже к тому, что из нижних частей стволов опускаются, ползут по земле и, в

конце концов, вырастают в нее змеевидные корневые отростки. Только к Эмме невозможно привыкнуть. И вот мелькнула в дальнем конце коридорного туннеля чья-то тень, забеспокоилась, заметалась в нерешительности, запаниковала – что ей делать: спрятаться, исчезнуть или прихорашиваться, выпрямить спину, пройти мимо. И все-таки исчезла за поворотом и терзается там из-за невозможного, отпущенного без борьбы счастья. А может быть, и эта тень изучала философию в юности и теперь говорит себе: эта чудная женщина – есть объективная реальность, данная мне во всех ощущениях, кроме осязания. Да, увы, кроме осязания. Знаете, мне жалко души этой тени, как жалко каждого, кто беднее меня. А ведь может с ней и вовсе приключиться беда – в ней разовьется зависимость, она будет чувствовать себя больной, если за день ни разу не видела Эмму. Поможет ли ей, если Эмма уволится? Пройдет ли тоска за месяц-другой? Наступит ли успокоение через полтора года?

В том же коридоре, вижу, – останавливает ее кто-то мужского пола и заводит с ней серьезный разговор, касающийся производственной политики предприятия, на котором они вместе работают. Критикует действия администрации, утверждает, что последняя слишком увлечена чисто финансовой стороной дела, живет сегодняшним днем и недостаточно уделяет внимания технической стратегии. Приводит убедительные примеры, иллюстрирующие сказанное. А волосы Эммы в этот день собраны, подняты наверх, голова ее поэтому кажется утяжеленной этой чудесной копной и хочется не только поделиться с ней своими мыслями, но и оберечь эту хрупкую живую композицию, именуемую Эммой, от чьего-нибудь неосторожного толчка или от внезапного порыва ураганного ветра, которому здесь, в коридоре, совершенно неоткуда взяться. И неудобно за то, что остановил ее с картонным стаканом, что температура только что приготовленного кофе заставляет ее в начале разговора переключать стакан из руки в руку. Но так хочется, чтобы ее внимательный взгляд оставался сосредоточенным на вас, чтобы покачивания ее головы с мягкоупругой тяжестью волос (вопросительные, удивленные, соглашающиеся) как знаки препинания разделяли именно вами произнесенные фразы, и чтобы иметь на этом основании право смотреть и смотреть на нее, и видеть ее чудные глаза, и каждую секунду почти падать от этого в обморок, и вытаскивать себя усилием воли назад, к полному сознанию, чтобы любоваться ею еще и еще. А тут кто-то (не иначе – все-таки ветер!) раскрыл дверь во внутренний дворик, и солнечного (в кооперации с листьями перечного дерева) плетения ярко-желтая булка-хала вцепилась ей в лоб, прыгнула на нос, на щеку, и Эмма весело жмурится, и происшествие это комкает служебную беседу, побуждает собеседника Эммы спешно уступить ей затененное место, которого и без того предостаточно в коридоре, и не только для них двоих. Увы, не для меня с нею.

А тут случится в том же коридоре еще какое-нибудь мелкое происшествие, отвлекающее внимание, – например, пройдут вдруг мимо два однокалиберных, но в разных званиях совсем молоденьких солдата в комнату, где армия что-то сама для себя разрабатывает во взаимодействии с фирмой, и такие они оба забавные – один явно новенький, сосредоточенный, с лицом, словно собранным в кулак из-за новизны всего вокруг. Другой, сопровождающий первого, – наоборот, опытный, вертлявый, раскованный, на целый год (если не на все полтора) старше первого, вертится на ходу, улыбается и вводит новичка в курс предстоящих ему серьезных дел. И Эмма на это шествие отвлечется, прищурится, улыбнется, а собеседник ее – нет. И я бы не отвлекся.

Вижу ее в столовой. Припозднившись, прихватив поднос, вилку, нож, возможно, и ложку (грустно, но я ведь не знаю, берет ли она там суп на первое), продвигается в моем воображении легкий профиль ее вдоль освещаемых сверху и подогреваемых снизу блюд, мимо стальных ванночек с излишне (на мой вкус) заправленными лимонным соком (или чем-то похожим) восточными салатами. Щипцами отлавливает она горстку маслин, удивляется, как и я, тому, что ни одна из них не теряется по дороге в тарелку, кладет себе почти исключительно «русскими» потребляемой гречки. Может быть, обнаружив, что существенная часть содержимого ложки к ней прилипла, берет добавку. Выбирает между рыбой и курицей, позднее удаляя и оставляя на краю тарелки кожицу. И вот нет у меня возможности присоединиться к ней, или хотя бы, не

присоединяясь даже (если она в компании прилипших к ней своих, отшельских), уловить краем глаза (того, что у меня лучше видит), проследит ли она за проходящим мимо нее *Vanellus spinosus* (мною) с подносом.

А припозднилась она в столовую, обосновывая я свое предположение о ее задержке, чтобы притягивать меньше взглядов. Не потому, что они ей мешают – просто, чтобы расслабиться за едой. Эмма обычно спокойно переносит взгляды посторонних, никогда не видел, чтобы лицо ее при этом каменело или лоб ее вспотел, чтобы она волновалась, вспыхивала или отворачивалась в сторону. Только раз заметил – когда ее уж очень нескрывто разглядывал пузатенький старикашка (не уверен, что роста и длины его руки хватило бы, чтобы придерживать зонтик над головой Эммы во время дождя), только тогда что-то кротко-страдальческое, подмороженное мелькнуло в ее лице. Но может быть, она думала в это время о чем-то другом (о своей жизни с Шарлем, например, – хищная мысль).

И наконец, Эмма по-настоящему работающая, то есть целящаяся, например, щупом в *testpoint* и поднимающая голову к экрану.левой рукой ей нужно изменять условия, *inputs*, реакцию на которые она намерилась исследовать, это не всегда удобно, например, нужно слишком далеко тянуться к громоздкому прибору на полке, и тут, конечно же, находится кто-то (не я!), охотно помогающий ей в этом и заодно комментирующий результаты. Сколько раз я сам был одним из этих двоих, занятых общим делом. Но никогда не с ней, не с моей Эммой.

Она не кокетлива, не проявит очаровательной беспомощности, не попросит смущенно показать, какой стороной заправляют листик в факсимильный аппарат, но как не броситься ей на помощь, если она в таковой действительно нуждается! Мне становится грустно, и дух мой устремляется к ней, забирается под стол, и изредка, стараясь не мешать Эмме в ее занятии, пытается касаться губами ее плотно сведенных (я уверен!) коленей. Жестокая коленная дисциплина, отмеченная мною в поведении Эммы еще в наши школьные времена, запомнилось мне, я высоко ценил это женское искусство и отмечал уже тогда, что им далеко не в такой же степени владеют другие дамы нашего города.

Первое рабочее место Шарля (настоящее, я имею в виду, по профессии, после таскания мешков с сухим молоком) было хотя и вполне надежным, но мало оплачиваемым, в этом плане бесперспективным, и ничего удивительного, что ему хотелось сменить его. Однако настоящая проблема возникла, когда он соблазнился перейти в «русскую» «теплицу», где зарплата была даже ниже, но там Шарля умудрились убедить, что у дела громадные перспективы. Я высказал осторожные возражения, заключающиеся в том, что обычно неопределенность будущего стартапов, значительно более продолжительный рабочий день в них, компенсируются как раз высокими зарплатами, а в качестве материального эквивалента «громадных перспектив», которые могут и не реализоваться, к солидной зарплате прибавляются так называемые «опции», реализуемые только в случае успеха. Проработать полжизни при социализме, сказал ему я, вполне достаточно, лично я пальцем не пошевелю больше без оплаты X/час.

Шутя и мягко отговаривая Шарля, я сообщил ему о сформулированном мною главном законе экономики: у человека столько денег, сколько он способен перевести из общественного обращения в личное, или, попросту выражаясь, отнять у других. Должен, однако, заметить по этому поводу, что будучи (как и абсолютное большинство «русских» здесь) интуитивным, стихийным сторонником либерализма в экономике, я был немало удивлен тому горячему сочувствию, которое испытал по отношению к вспыхнувшему внезапно в Тель-Авиве протестному движению молодежи против подорожания жизни. События 68-го года во Франции, о которых с таким восторгом рассказывал Оме, тогдашние дикие лозунги – все это казалось мне абсолютной нелепостью, результатом резонансного выброса адреналина в еще не знающих холестеринах пробок сердечнососудистых системах молодых людей. Использование революционной символики и здесь, на улице Ротшильда, вызвало во мне странный коктейль чувств, ощущаясь одновременно и забавным, и кощунственным. Но бродя между палаток протестантов, двигаясь вместе с ними в скандирующем лозунги молодом потоке веселых бунтарей, фотографируя двенадцатилетнего местного Гавроша в красной футболке с

Марксом на груди, сообщившего журналистам, что родители не одобряют его «левацких убеждений», я вскоре, как мне кажется, понял, в чем тут дело: речь идет о том же приеме выражения содержания через форму, которым поразила общество живопись второй половины девятнадцатого и начала двадцатого века, который позже привнесли в литературу Джойс и Кафка. То есть так же, как когда-то священник пугал свою паству адским пламенем, чертями и сковородками, на которых поджаривают грешников, так же, желая ограничить аппетиты «жирных котов», тычут им в нос адские сковородки красных флагов ряженные черты с портретов – команданте Че Гевара и Карл Маркс. Никто не собирается удалять «котов» из дому или лишать навсегда сметаны, их просто отучают от наглости, сгоняя со стола.

Еще одно обстоятельство я предложил Шарлю принять во внимание: хоть мне самому и не довелось работать в таких местах, но пришлось выслушать уже немало жалоб на атмосферу «русских» предприятий с их нередко жесткими отношениями, несговорчивостью и, как говорили во времена ранней Перестройки, «склонностью к администрированию».

Но Шарль был полон энтузиазма, он горячо доказывал мне, что наша «русская» способность к собранности и самоограничению ради высоких целей, является тем качеством, которое отличает нас от изнеженных израильских инженеров, этих шоколадных солдат высоких технологий. Я снова возражал ему, что из накопленного мною до сих опыта работы с израильтянами следует, что поставленных целей можно достичь и без жертв, даже если имеет место некоторая левантийская разболтанность, которая если присмотреться к ней внимательнее вовсе необязательно таковую является.

– А чем же? – спросил Шарль.

Я не нашел нужных слов и его молчаливое «то-то же» (по одному «то» в каждом глазу и «же», готовое сорваться с кончика его языка) было невысказанным ответом моей несформулированной аргументации. Мне хотелось сказать, что в этом есть что-то от свободнорожденности, но это было высокопарно и пахло самоуничижением. Мне хотелось высказать предположение, что устройство российского образования, инженерии, армии в основном заимствованы у немцев, хотя и не всегда полностью и успешно, но с полным убеждением, что это и есть идеал, к которому следует стремиться, и что имеются, как я уже успел здесь удостовериться, и другие, отличные от немецких, и несмотря на это, вполне жизнеспособные и эффективные способы организации жизни. Но я промолчал, опасаясь задеть столь близкого мне человека хоть и полумутливыми, но все же довольно брутальными обобщениями. Я только подтвердил и напомнил ему лишний раз то, о чем он в принципе знал и сам: что в задолго до нашего прибытия образовавшихся и устойчивых фирмах – масса «наших», «русских», как правило, – на технических, а не на организационных должностях, что состояние хоть и меньшинства, но значительное, позволяет нам поддерживать микро-оазисы привычного языка с «бережками» знакомых ассоциаций и русских анекдотов, пересылаемых друг другу по внутренней электронной почте.

Слушая наш разговор, Эмма хранила молчание и никак не выражала своего отношения к вопросу, и во мне, как уже часто случалось и раньше, вспыхнула зависть, причину которой сформулирую предельно простыми словами – мне хотелось именно такой женщины в жены.

Увы, мои опасения оправдались. Состояние «вот-вот – успех» в этой новой Шарлевой «конторе» стало постоянным. Денег, выделенных государственной службой по поддержке технологических начинаний (в данном случае речь шла об удешевленных школьных компьютерных сетях), было недостаточно. Инвесторы не находились, разработчики-программисты, хотя бы морально компенсируя себе низкие зарплаты, предпочитали искать и придумывать новые и оригинальные решения, не находя времени для черновой работы – уговаривания директоров школ, устранения возникающих в школах неполадок. Денег для найма техников не было, и совестливый Шарль взвалил на себя основную тяжесть этой черной работы. На каком-то этапе участники проекта инвестировали в свой «бизнес» собственные сбережения (не у всех они оказались, но Шарль согласовал с Эммой вклад в двадцать пять тысяч шекелей). Этого оказалось мало, и они взяли личные займы в банках (не всем банки согласились их предоставить, но Шарль как надежный клиент с разрешения Эммы получил займы пятьдесят тысяч шекелей). Когда кончилось государственное финансирование, «контора» окончательно разорилась, и Шарль остался с хоть и не бог весть какими, но все же

– с долгами и пока без работы. Эмма по-прежнему молчала, но была очень и очень расстроена.

16.

Более чем кому бы то ни было, я обязан Оме тем, что вообще засел за эти записки. Ведь именно после того, как он написал, а затем и опубликовал свою получившую немалую известность книгу «Подброшенные убудки. (Исторические фантазии относительно происхождения современных евреев, приведшие к палестинской катастрофе)», у меня в голове зародилась мысль, что так же, как штангистами, алкоголиками и ди-джеями «не рождаются, а становятся» (есть свое очарование в ура-оптимистических лозунгах), так же не рождаются, а становятся писателями. Небольшие рассказы, которые я писал до сих пор, казались мне некоей «предписательской» деятельностью. Не по той причине, что я считал их непригодными для самостоятельной жизни, но потому, что видел в них скорее некое тактическое средство, что-то вроде подкупа. Под крепость Эммы, конечно. Теперь же мне захотелось создать достаточно крупную форму (эпическую, если получится), амфору своей любви вылепить. Не спеша. Наполнить ее монетками рассказов об Эмме, о моей страсти к ней.

Я вспомнил сейчас, где именно принято было это решение. Я попал на бедную свадьбу своих родственников, очень свежих еще репатриантов. Свадебный зал располагался в старой с обшарпанными зданиями промышленной зоне. Каким-то из соусов я там отравился, как позже выяснилось. Было ужасно скучно. Пока продолжались церемонии, которые приходилось наблюдать стоя, я обдумывал, как бы мне построить рассказ о молодом человеке и его знакомой, которые не любят друг друга, но стараются убедить в обратном и друг друга, и самих себя. Наконец, сели за столы. Соседкой моей оказалась совсем молодая девушка, она ела мало, молча играла какими-то квадратиками и буквами на сотовом телефоне, но вдруг живо откликнулась на упоминание о недавней авиакатастрофе в другой части света. Оказалось из последовавшего затем разговора, что ее увлечение – различные катаклизмы, особенно природные. Она мечтала попасть на спасательные операции и ликвидацию последствий землетрясения. Блуза ее, кажется, была не очень свежей, но может быть, ей пришлось долго идти по жаре, а может быть, и вовсе до меня доносился слабый запах одного из соусов, стоящих на другом краю стола. Физическая близость этой юной дикарки, ее (или соуса?) запахок дразнили мои инстинкты. И тогда я оставил мысль о двоих, не любящих друг друга, и решил писать роман. Какая связь, спросите вы. Никакой. Но именно тогда пришло решение. Так же, как когда-то давно на унитазах меня осенила идея, как прийти к формуле в американской статье.

Посетить ежегодную книжную ярмарку пригласил нас Оме, о чем мне стало известно при довольно забавных обстоятельствах. Стоя перед светофором (стоял, собственно, мой автомобиль, я – сидел), слушая радио, рассеянно вникал я в положение дел на рынке недвижимости, когда совсем рядом со мной, слева, раздался короткий призывающий к диалогу гудок. Я повернул голову и увидел Эмму, одну за рулем, боковое стекло уже заканчивало движение вниз, и было похоже на тонкий киль перевернутого, тонущего, уходящего в непрозрачные глубины кораблика. Я поспешил встречно открыться ей.

– Верни, пожалуйста, мое зеркало на место, – торопилась просить Эмма громко, – оно сложилось на мойке, я тогда не обратила внимания, а теперь – не дотянуться. Ты достанешь?

– Зато так ты заметила меня, – кричал я, возвращая зеркало в рабочее положение.

И вдруг счастливым предзнаменованием, туманным обещанием кольнула меня в сердце собственная фраза. Эмма улыбалась, а невысохшие и неиспарившиеся еще после мойки капли и тонкие скользящие нити воды на корпусе и стеклах ее машины искрились и сияли на солнце, устроив вокруг ее улыбки праздник с цепочками и точками цветных переливов, будто мало было мне сверкания самой Эммы. Зеленый свет не зажигался, и она успела мне прокричать про ярмарку и про обсуждение книги Оме на ней.

– Позвони вечером, – она перекрикивала шум набирающих обороты моторов (свет из желтого окошка светофора уже перепрыгнул в

зеленое), и махнула мне на прощанье тонкой, в легком пластмассовом браслете, обнажившейся до затененной подмышки рукой. Ни один из водителей следовавших за нами машин не попенял нам за задержку даже вежливым коротким гудком.

Она свернула налево, я же продолжил прямо. Мне всегда приносит удовольствие спокойная езда на хорошем автомобиле. Мой не относится к разряду роскошных, но он все же выше по качеству и дорожке обезличенно-невзрачных машин-работяг, на которых ездит средний израильтянин, и тех лизинговых бедолаг-страдальцев, которыми снабжает молодых вандалов наш хай-тек. И вот сейчас я не только наслаждался быстрым беспрепятственным движением, но даже выключил радио, которым завладела певица персидского происхождения. Гипертрофированная чувствительность восточной музыки сменилась вибрацией трех шумов – воздуха, разгоняемого корпусом автомобиля, шин, прокатывающих полотно асфальтовой дороги, и того многообещающего, звонкого шума, что стоял у меня в ушах после нечаянной встречи с Эммой.

В аудитории номер такой-то в 17:00 состоится обсуждение книги для русскоговорящей аудитории, узнал я вечером по телефону от Шарля. Мы все приглашены, но я не смогу поехать, сказал Шарль, объяснив мне (хотя я успел уже и сам сообразить), что ему неудобно отпрашиваться со своей новой работы (он только недавно снова устроился) почти с половины дня по столь незначительному поводу. Мы договорились, что я заеду за Эммой. Поскольку рабочий день оказывался из-за раннего начала все равно скомканным, мы решили выехать пораньше и сначала немного прогуляться по городу, а потом и посмотреть саму ярмарку. Из-за того, что рабочий день еще был в разгаре, в подземной стоянке свободное место нашлось только на минус седьмом, предпоследнем уровне. Эмма смеялась, глядя, как тщательно просчитываю я ситуации парковки и выезда своих соседей по стоянке, чтобы минимизировать вероятность заполучить пару царапин или вмятину. Она сказала, что не замечала раньше во мне такой осторожности, припомнила помятую дверь и вывернутый бампер моей первой машины. Это не от «аккуратизма», возразил я. Просто, чем дольше живу, тем выше ценю красоту и бережнее к ней отношусь. Дополнительная смысловая нагрузка сказанного мною, очевидно, не утаилась от Эммы, она бросила на меня быстрый взгляд. Я много раз упоминал уже, что у Эммы «холодные» глаза, каждый ее прицельный взгляд – свалившаяся мне с крыши на голову полуметровая сосулька. Поскольку я люблю Эмму, удар не оглушает меня, наоборот, – вспышка, озарение – куда более подходящее слова. В эту секунду я словно становлюсь ею, и мне стоит труда скрыть от нее факт вторжения в ее мысли и ее внутренний мир, а кому это понравится?

Прогуливались мы недолго и молча, Эмма была замкнута и хмурилась. Но сама ярмарка развлекла ее, мы оба с удовольствием бродили из зала в зал среди блестящих обложек, остановились у итальянских стеллажей, там десятка полтора человек сидели на пластмассовых стульях, слушали пожилую женщину. Мы тоже задержались, на всех языках речь пожилых образованных людей звучит красиво и неспешно, мы слушали итальянскую книжную оперу. Книг на русском языке было относительно немного. Бросались в глаза приготовленные, но оставшиеся пустыми стеллажи, на них были развешаны гравюры, чтобы хоть как-то заполнить освещенное пространство. Здесь тоже готовились к встрече, на стуле лежала гитара. Я купил сборник переведенных на русский язык рассказов и пьес Ханоха Левина и двуязычный (иврит-русский) Танах. Он стоил очень дешево – продавали эти книги христианские миссионеры. Высокий американец спросил меня, чуть понизив голос, и поглядывая на листающую страницы Танаха Эмму, не желаю ли я приобрести Новый Завет. Я ответил, что он есть уже у меня на русском и легком английском (последний я взял в соборе в Канаде, там лежала стопка для посетителей), зачем мне перевод на иврит (с английского, наверно, в лучшем случае – с латинского или греческого).

Когда мы вошли в аудиторию, в которой должна была обсуждаться книга Оме, там еще никого почти не было, но только стол, микрофоны, Кока-Кола, тонкое сухое печенье и один участник предстоящей дискуссии, худой великан, представившийся художником Кузьмой, пожаловавшийся, что печенье тяжело грызется. Позже подошли еще две женщины, одна из которых говорила с балтийским акцентом, а высказывания другой были полны уверенного оптимизма по поводу

избавления от тяжелого заболевания их с дамой с балтийским акцентом общей знакомой. Потом они стали обсуждать телепрограмму о привидениях, и дама без акцента посоветовала даме с балтийским акцентом оставить на ночь в раковине немытую посуду. Существует предвзятое мнение, будто приведения – непременно злодеи, сказала она, но если утром вы обнаружите, что посуда вымыта и блестит, еще с одним отвратительным предрассудком будет покончено. Она, конечно, шутила.

Мы с Эммой тоже взяли по печенью и забронировали за собой два соседних стула в предпоследнем ряду брошенными на них сумками, коричневой кожаной Эммы и гораздо большей моей, черной, матерчатой, с названием и эмблемой выставки, на которой мне ее подарили. Аудитория довольно быстро заполнилась, печенью и Кола перестали быть доступными, как полевые ромашки. Кто стоял рядом со столом, тот и пользовался, последним протиснулся к ним хорошо сложенный мускулистый татарин в бело-голубой спортивной майке. Когда явились Оме с племянником-полудауном, который уселся рядом с дядей в президиуме, взял его iPhone и приступил к знакомой нам с Эммой игре, имитирующей токарный станок, все расселись по местам и председатель, кстати, мой родственник, объявил о начале собрания.

У Оме сильный голос, в такой аудитории микрофон ему не нужен. Он поднялся со стула, спросил, кто прочел книгу, и убедившись, что таких меньшинство, вкратце пересказал ее содержание и перечислил основные идеи. Племянник был прекрасным фоном для его выступления, иллюстрировавшим как нельзя убедительнее терпимость и широту взглядов автора. «Теперь я понимаю, почему он рискнул прийти сюда без бронежилета, – шепнул кто-то сзади (обернусь позже, чтобы посмотреть, кто говорил), – прикрывается своим племянником-идиотом, бронежилет ведь все равно не защищает яиц от удара ногой». (Я уже достаточно хорошо знаю Оме и думаю, что он приводит племянника, чтобы меньше пялились на его бородавку).

- На сколько языков переведена книга?
- Больше десяти.
- И на древнеегипетский? – доброжелательный вопрос.
- Не стану возражать.
- Не перебивайте, мы пришли слушать не вас, а выступающих.

Первым оппонировал Оме полный профессор. Хорошая школа. Ровный тон, аргументация, не переходим на личности (как я, например), потому что контрпродуктивно. Только о сути.

- Дальше от микрофона!
- Тра-та-та-та-та! Фью-и-и-и...
- Ближе к микрофону!
- Говорите в микрофон.
- Я и так его почти целую.
- Там есть кнопочка-пипочка, ее нужно нажать.
- Нет никакой кнопочки.
- Тра-та-та-та-та!
- Ой!
- Невозможно!
- А так?
- Фью-и-и-и... – это уже не микрофон, а племянник Оме.
- Я буду просто говорить громко.
- Возьмите другой, он хуже, но хоть работает.
- И что – мы действительно сброд прозелитов?

– Частично да, частично нет. Точно установить невозможно. Это не животрепещущий вопрос. Подавляющее число арабов не являются потомками аравийских племен. То же с греками. Автор спорит с примитивной интерпретацией сионизма, хотя, безусловно, носители таковой тоже имеются. Определить прозелитизм? В нашем случае – присоединение к еврейскому народу, к его традиционной этнической и религиозной культуре. Идумеев обращали силой, во время Иудейской войны они были особенно фанатично настроены, так часто бывает с неопитами, то есть с вновь обращенными. Да, их – силой, тогда была сила, позже и в других местах римской империи силы не было, присоединялись добровольно. Ирод Великий происходил из идумеев. В иудаизме было много привлекательного, хотя принятие его было делом нелегким, особенно неприятно – обрезание в зрелом возрасте. С женщинами всегда было легче. Но после формального обращения уже ничего не мешало смешению через браки.

– Фью-и-и-и... – это опять Наполеон.

Его широкая гуипленова улыбка отвлекает внимание слушателей, кое-кто морщится, но все молча пережидают помеху.

– Через поколение, – продолжает полный профессор, – а особенно через пару поколений новички принадлежали к еврейскому народу уже и этнически. Сионизм не построен на этнической основе. Но образ такой есть. Французы считают себя больше всего галлами, хотя они никакие не галлы. Этнически однородные народы – редкость, например, испанские баски. В этом смысле на Оме можно положиться, по большому счету он прав, когда берется доказать, что в такой же степени как еврейский, придуманы английский, французский и русский народы. Если уж говорить о евреях, то у них степень этнического единства, пожалуй, и выше среднеевропейского уровня.

– А как же свидетельства генетиков о единстве происхождения? Это же наука.

– Давайте оставим генетику в стороне, это пока еще сыро, – отвечает профессор. – Подождем до тех времен, когда как в случае с радиоуглеродным анализом уже невозможно будет утверждать, что результаты подогнаны под желаемый ответ.

– Вы не отличаете гены от маркеров (каких маркеров, я не понял и не запомнил), – это вмешался Оме.

Ему повсюду море по колено, что в еврейской истории, что в генетике, подумал я с раздражением, его самоуверенность дилетанта во всех областях человеческих знаний значительно превышает среднееврейский уровень.

– Гены есть! Гены есть! – оторвался от iPhone-а племянник. – Я звонил в институт Вейцмана! Мне профессор сказал, гены су-су-существуют!

– Существуют, су-су-существуют, – успокоил его дядюшка Оме, – есть несомненные сви-сви-свидетельства этого.

Это нам с Эммой было известно – искусственное заикание дяди почему-то легко и быстро успокаивает Наполеона. Племянник замолчал и улыбнулся во весь широченный рот, показав на удивление красивые белые зубы.

– Что же касается хазарского происхождения восточноевропейского еврейства, – продолжил опять профессор, – оно более чем сомнительно. Оме столько страниц посвятил тому, чтобы доказать нам, что никакого изгнания евреев римлянами не было и что крестьяне редко покидают свои земли, но сделал единственное в мире исключение для хазар, которые с разрушением их империи вдруг в массовых количествах подались в Украину, Литву и Польшу. Тем более что никаких доказательств такого перемещения нет, в то время как переселение евреев из Германии в Польшу подробно задокументировано.

– Национальные мифы – перешел к выводам оратор, – сумма самоукрашений, в основе которых, скорее всего, лежат факты. В этом смысле все народы изобретены. Мой друг, тоже профессор, сказал: «Конечно, современные нации изобретены всего полтора-два века назад, как и еврейский народ, но утверждать на этом основании, что последнего не существует, все же абсурднее, чем говорить, что он есть». Он же, мой друг, спросил однажды (внимание, профессорский сарказм! – мое примечание): «Евреи, конечно, синтетический народ, но в чем перед господином Оме провинились именно хазары?»

– Изобретение народов – метафора, – подытожил профессор, – хорошая и полезная в деле противостояния нацистским идеологиям.

Профессор закончил. Аплодируют. Аудитории понравилось.

Следующим высказался заслуженный отказник-сиделец. Книга напомнила ему писания записных юдофобов. Она игнорирует наше стремление вернуться на родину.

– Ведь почему мы здесь? – спросил он аудиторию.

– Потому что не пустили в Америку! – выкрикнула с места дама без акцента.

Дама с балтийским акцентом засмеялась и потеряла сумочку на коленях. Две женщины, составляющие компанию, – всегда в состоянии разыграть маленький спектакль. Если имеется в наличии хоть один наблюдатель, летописец, – добавляется разность потенциалов. Когда две женщины еще и молоды – бывает, глаз не отвести. Особенно повезло в свое время мисс Дус и мисс Кеннеди. Бронза и золото. А вот у Эммы никогда не было пары. Девичьей. Женской. Может быть, поэтому

она всегда держится так прямо. Эмма – янтарь. В нем две птички – Шарль и *Vanelus spinosus* (то есть – я).

Отказник не отреагировал никак на это замечание, разве что только глянул в сторону выкрика, но не только осуждения не выказал, но даже мягкой укоризны не было в его взгляде, и это мне в нем особенно понравилось – демократ до мозга кости. Он попытался развить вызванные прочтением книги мысли в позитивном патриотическом направлении, но его стали дружелюбно «захлопывать». Знаем, согласны. Поехали дальше.

Теперь взял слово мой родственник. В детстве он дарил мне в дни рождения хорошие книги, и я привык ему доверять.

– Историю, конечно, следует отделять от мифологии, – сказал он, – надежность любых наших оценок этнического единства евреев колеблется в пределах от двадцати до девяноста пяти процентов. Хазарская основа восточноевропейских, ашкеназских евреев – миф. Никто не знает, каков был процент принявших иудаизм среди подданных хазарской империи. По тем обрывочным данным, которые имеются в нашем распоряжении, с уверенностью мы можем судить лишь о том, что иудейскими прозелитами были царь, его администрация и имперская аристократия. Но именно эта прослойка и должна была быть уничтожена первой при вражеском нашествии. Нет лингвистического тюркского следа в языке идиш. Утверждение, что немецкий диалект передавался всему населению заезжими немецкими раввинами, – выглядит притянутым за уши.

«Как же? – хотел было пошутить я публично. – Разве не стала говорить по-французски вся крепостная Русь вслед за своим дворянством?» Но не решился, и лишь шепнул это на ухо Эмме. Она, улыбнувшись моим словам, ответила тоже шепотом: «Жуткий мужичок с взъерошенной бородой говорил по-французски в кошмарных снах Анны Карениной». Мне не понравилась это упоминание.

– А ведь хазарская версия – основная глыба в книге Оме, – продолжал мой родственник. – Как бы там ни было, а еврейским историкам, в девятнадцатом веке «придумавшим» еврейский народ, мы должны быть благодарны, – завершил он свое выступление, – выполненная ими работа не предотвратила Холокост, но повела нас в правильном направлении.

Ему тоже благодарно похлопали. В том числе и мы с Эммой. В качестве председательствующего он объявил о начале прений.

Человек в шортах, темной клетчатой рубашке и безрукавке укрепил подозрения, ранее высказанные отказником.

– Я бываю в университетских кампусах за рубежом, в Америке и в Европе, – сказал он, – и свидетельствую: книга Оме встречена с большим интересом, она активно используется для делегитимизации существования нашего государства, у нее есть шансы стать новым «Майн кампф».

Встал впереди нас из второго ряда и выступил с места невысокий господин с круглым животиком и естественного происхождения тонзурой на довольно широком темени. Он предложил собственное определение еврейского народа.

– Евреи, – сказал он, – это те конкретные люди, которые по собственному желанию или волею обстоятельств несут на своих плечах нарратив от Авраама до Холокоста.

– Этот народ, – продолжил он, то ли намеренно пренебрегая четкостью в построении предложения, то ли претендуя на образность изложения, – ныне разделяется на две части: на Вуди Аллена и Шестидневную войну, а та половина нарратива, которая – Шестидневная война, намертво связана с этой землей.

– Он ошибается? – поинтересовалась моим мнением Эмма, но я к этому времени уже потерял интерес к происходящему, слишком близка была она от меня.

– А ты?

Эмма вздрогнула, она сразу осознала, что я думаю не об Оме и его книге. Мучительное чувство. Сладостное. Как мгновенно она понимает меня! Как мы близки! Конечно, – он прав, моя Эмма! Понесем вместе все, что пожелаешь! Авраама, еврейский нарратив, Вуди Аллена, Шестидневную войну!

– Зачем ты? – впервые вижу Эмму растерянной. Мне кажется, руки ее дрожат.

– Что же касается самого произведения, – господин с не имеющей отношения к религии тонзурой кивнул в сторону лежавшего на столе

президиума экземпляра «Подброшенных ублюдков», – то книга эта политически ангажирована до смешного и у нее чрезвычайно броское название. Вы без труда можете составить большой перечень книг такого рода. Знаете ли вы, что знаменитый литературный труд господина Шикльгрубера, был первоначально озаглавлен им «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости»? Не слишком удачное название для бестселлера, правда? Потому издатель сократил его до «Моя борьба».

– Между прочим, – выступавший господин как-то очень по-ленински усмехнулся и потер руки, – обратите внимание, как не поспешил оформить обложку на желтый оттенок в ее цветовой гамме.

Господин был очень доволен собой. Но и это оказалось еще не все – не будь на нем простая футболка, а хотя бы рубашка, он, пожалуй, заложил бы ладошку между двумя соседними пуговицами на груди, ощутив пальцами негустой седеющий подшерсток, сбегаящий вниз от видимого кустика, выбившегося над овалом его футболки.

– Одно обстоятельство, вытекающее из данного произведения, показалось мне особенно любопытным, – произнес он, всем своим видом готовя аудиторию к тому, что он собирался сейчас сказать и, наконец, выложил как козырную карту. – Ведь если, по автору, мы – лишь потомки хазар, а палестинцы являются наиболее вероятными потомками древних евреев, то обвинение в распятии Иисуса ложится на них, а не на наших предков.

– Вот, значит, зачем нам подбросили Оме и его книгу, – это отозвался энергичный татарин из третьего ряда, пока другие хихикали.

Из кулака приподнятой руки татарина миниатюрной ущербной луной выглянуло круглое сухое печенье. Становилось душно, несмотря на то, что оба кондиционера работали. Дама с балтийским акцентом открыла дверь на балкон, был уже вечер, снаружи повеяло прохладой и свежестью. От духоты, от произносимых речей, от близости Эммы, от присутствия и поведения Наполеона на меня накатило легкое беззаботное чувство свободы, безнаказанности, безответственности, безумия, и я теперь изо всех сил старался заразить им Эмму. Я откинулся на спинку пластмассового кресла. Мне видно было только ее плечо, выступившее из рукава легкого платья и ухо, открытое убранными вверх волосами. На плече – несколько веснушек. Я сосчитал – пять. Я пересчитывал веснушки под удары в висках. Удар – раз, удар – два, удар – три, удар – четыре, удар – пять. «Эмма!» На каждый счет «пять» я произношу ее имя. Я шепчу его так тихо, чтобы она не была уверена. Слово против ветра, будто в полете со снежной горки на санках. Слово шутка. Доктор немного испортил конец истории. Зачем неубедительное раскаяние? У каждого доктора – свое персональное кладбище пациентов, у каждого писателя – испорченных рассказов, у каждого любящего – умерших чувств. Мое чувство – живо.

Пока я до звона в ушах был погружен в свою игру с Эммой, я пропустил, как последний оратор вдрызг поссорился с Оме.

– Уважаемые дамы и господа! – воскликнул он. – Я готов относиться с уважением к ультралиберальным воззрениям, не разделяя их, но я не считаю, что нужно непременно ломать все стены нашего общего и единственного дома, к чему явно стремится господин Оме в своей книге. Господа! – человек с тонзурой возвысил голос. – В нашем с вами национальном жилище имеются двери, открытые и достаточно широкие как для входа новых идей, так и для их беспрепятственного выхода.

Теперь этот господин, казалось, приготовился сказать застольный тост. Он, видимо, заготовил его именно для дружеской или родственной пирушки, но раньше случилась книжная ярмарка, и он соответствующим образом изменил формулировку.

– Я – за контрреволюционные идеи, господа! – воскликнул он. – Но вижу я в них не абсурдное препятствие всему новому, а выражение бережной признательности за все то хорошее, что было создано до нас и для нас.

Гул в зале привел к тому, что Эммино плечо снова поглотило мое внимание, и к происходящему я вернулся только тогда, когда услышал мощный хлопок входной двери, которым господин с тонзурой попрощался с аудиторией.

Эмма обернулась ко мне удивленно. Гуманитарии, ответил я только взглядом, безмолвно. Другая раса. Мы здесь затесавшиеся чужаки, гости, плывем вдвоем в надувной лодке. Она взлетает и падает на

волнах гуманитарного моря. Морю нет до нас дела. Будем невозмутимы. Принимаем все как есть.

Я возобновил свою игру. Ее спина беззащитна перед тупой отчаянной настойчивостью моих повторений. Я заманил ее в ловушку. Ярмарка – это ловушка. Все ярмарки – ловушки. Падения женщин происходят на ярмарках. Их густонаселенность рождает уединение. Донжуаны чаще всего соблазняют женщин на ярмарках. Возможность падения Эммы причиняет мне такую же боль, как ее стойкость. Если я сейчас коснусь пальцем хотя бы складки ее платья, – непременно все испорчу. Она знакома с рассуждениями немецких философов, умеет пользоваться плоскогубцами, водит машину, воспитывает дочь, верна Шарлю. А я сижу, откинувшись, так близко, смотрю на ее спину, считаю веснушки на ее плече, лампы слепят меня с потолка, проходя через прядку ее волос, она, вне всяких сомнений, чувствует мой взгляд. Я перестал повторять ее имя.

Господин, одетый не по местным законам раскованности и не по европейскому костюмокедному писку, а именно так как обычно одеваются здесь «русские» в возрасте, то есть скромно, вне времени, но чисто и наглажено, вышел к микрофону и начал с сообщения, что книгу он не читал. Это вызвало смех, но господин оставался серьезен. Он начал с описания обложки книги, чем вызвал еще большую веселость присутствующих, но чем дальше, тем больше, высказываемые им мнения были аргументированными, а обобщения воспринимались аудиторией как, пожалуй даже, интересные. Да ведь он обобщает и повторяет то, что услышал от других, догадался я.

– Потрясающе, – обернулась ко мне Эмма, – а Оме утверждает, что нет такого народа – евреи. Там было: «Не читал, но осуждаю», а этот: «Не читал», – а теперь толково излагает и суть книги, и претензии к ней.

– Да ведь он только что всех прослушал.

– Все равно. А откуда интеллектуальная отвага? – спросила Эмма и тут же повернулась к президиуму, потому что Наполеон, видимо, закончил вытаскивать очередной полицейский жезл или толокушку для вареного картофеля на виртуальном токарном станке и настойчиво требовал от Оме, чтобы тот оценил его работу. Когда же Оме похвалил его, он расплылся в улыбке и заорал так громко, что все замерли от неожиданности:

– Палестинцы распяли Христа! Сионизм! Если бы его не было, его следовало бы выдумать! А обложка желтая! Из-за оккупации задерживаются менструации! Смените миру подгузник! Я укакался.

Я отметил про себя, что в отличие от Наполеона, хлопнувший дверью господин, как полагается еврею, дипломатично назвал христианского бога только по имени. Иисусом. И все. Христос – значит Мессия. Он этого не сказал. Оме успокоил племянника, на сей раз простым поглаживанием по плечу:

– Он очень любит заучивать афоризмы и яркие термины, – смущенно объяснил он аудитории.

– Еврейская демократия – оксюморон! – еще громче заорал племянник.

– Вот видите, – сказал Оме.

– Я укакался, – настаивал Наполеон. – У нашей страны – выкидыш завтрашнего дня и счастливого будущего! Дайте миру подгузник! Мир укакался!

Председатель объявил о конце мероприятия, и мы с Эммой, наскоро попрощавшись с Оме и моим родственником, покинули небольшой зал заседаний, не примкнув ни к одной из группок в коридоре, составившихся, чтобы хоть и меньшему количеству слушателей, но все же выплеснуть накопившиеся эмоции, которые не могли канализоваться в русле общей дискуссии из-за ограничений, накладываемых регламентом, о необходимости соблюдать который несколько раз с места напоминала дама с балтийским акцентом на протяжении всего заседания.

17.

Примечание публикатора:

Здесь в «рукописи» имеется широкое свободное поле. Видимо, автор не был удовлетворен мотивировкой последующего развития событий и ему казалось,

что он все еще не нашел подходящей литературной площадки, с которой можно было бы запрыгнуть на вершину Эвереста, чем, безусловно, представлялось ему нижеописанное происшествие. Можно также предположить, что данная история основана на подлинных событиях и таковые не соответствовали концепции романа, ведь нелепо предполагать, что автор предпочтет так называемую «правду жизни» внутренней истине своих записок, как бы скептически не относился он к своим творческим возможностям и как бы подчеркнуто скромно (я уже давно не принимаю всерьез его скромность) не оценивал достоинства пестуемого им литературного произведения. А может быть, он попросту не успел придумать серии совместных мероприятий (вроде верховых прогулок по лесу), из которых можно было бы исключить Шарля. В самом деле, с какой стати не присоединился бы, например, Шарль к прогулкам по пересыхающим руслам рек на горных велосипедах?

Мы спустились на отметку минус семь автомобильной стоянки. Я понял – сейчас, когда она колеблется, или никогда. «Сейчас», которое перевернет ее и мою жизнь, или кошмарное «никогда», которое ощущаю подарком абсолютному нулю. Шарль. Мне показалось – Эмма шире раскрыла глаза – неужели не?.. Неужели откажусь? Шарль. Я не могу, я не могу, Эмма. Не хочу жидкого азота с его минус двумястами семидесятью тремя градусами Цельсия. Эмма! Я не сумею удивить тебя благородством души! Полжизни Эммы – твои, Шарль, но вторая половина – моя. Разве это несправедливо?

Я притиснул ее к круглой колонне. Как разрыв плевры. В душном подвале не хватает воздуха. Не хватает лошадиных сил моим чувствам. Недостает возможности разделить каждое из них еще на тысячу: зрение, чтобы видеть отдельно все квадратные и круглые миллиметры ее тела; слух, чтобы каждый удар ее сердца, не умеющего, как я полагал всегда, сокращаться быстрее, чем шестьдесят раз в минуту, приходил ко мне отовсюду, отражался от бетонных стен, колонн и машин; обоняние, чтобы в прелой, с пылью, парами бензинов и масел, подвальной атмосфере уловить, как пахнут кончики ее волос; с осязанием лучше – не только обе руки мои касаются ее, но и осторожным натиском тела я убеждаюсь, что чувства меня не обманывают, это – она. Мое зрение. Почему я не попросил сначала насмотреться всей этой роскошью как в картинной галерее, до ломоты в пояснице? Остановиться сейчас? Попросить? Нет! Боже! Это Эмма! Эмма! А это – я. Я. Меня зовут сейчас – «Я и Эмма». Непостижимо! Какие, какие еще есть у меня чувства, которые пока еще не пущены в ход? Главное. Его орган-носитель – «скипетр страсти». И вот я уже несусь как гондольер в урагане. Закачан гелий в шар, брошенными с высоты змеями забитыми в конвульсиях на земле отстегнутые веревки, ветер меняет то направления, то силу. Я отказываюсь возвращаться вниз. Ничего сравнимого с этой нынешней гонкой там меня не ждет. Ураган разумен, у него есть какая-то цель. Эмма! Нимфа бури! Я надеюсь, что простое, неизбежное физическое удовольствие, которое обжигает меня, я распознаю в тумане ее глаз или по тому, что она сомкнет их. Но я все пропускаю, потому что Эмма сжигает, превращает в черную корку все тонкие мои ощущения. Мне не досталась юная Эмма. Все женщины, которых я знал до сих пор, закрывали глаза, а она нет. Потрясающие глаза, глядящие мне прямо в лицо. Вернуться бы в то время, когда мы поднимались по склону от моря к автобусу, вернуться с карманами, набитыми «Виагрой». Мерзкий жалобщик! Крохобор! Работай ягодичными мышцами! Один Герц. Так вот, чья дочь – Секунда! Не так жаростно. Зрелая Эмма! Растяни! Невозможно.

Я знаю, что рычу неубедительно, и потому всегда воздерживаюсь, но когда душа моя взрывается (взрыв – не мгновение, а пусть короткий, но промежуток времени), словно убитых птиц разносит вокруг нас энергией взрыва. Будто клубами стремительно заполняет ограниченное пространство подвальной стоянки плотный дым, все ослепляя вокруг. Но вот мутно-белый бутон истрепался, и хлопья его опали.

Я оглядываюсь на колонну, ее нужно как-то пометить. Был бы я псом. Написать: «Э + Р = Л»? На столбе – только номер уровня и ряда,

никакого граффити, которое можно было бы запомнить. Я прошу у Эммы ее помаду.

– Не-ет.

Нет-нет, я не собираюсь писать ею. Мажу собственные губы и прижимаю их к колонне повыше, там, где вряд ли ее могли пачкать человеческие руки. До меня помада знала только ее губы. Наш общий поцелуй колонне. Больше – мой. Потом вода в бутылке, смоченный носовой платок. Тщательно вытираем мне губы, еще раз. Вернусь, обещаю я, сделаю что-нибудь основательней. Эмма просит платок, она заметила пыль колонны на моем носу. Да, действительно, коснулся. Вторая колонна от угла, говорит она. Да, вторая.

– Отвернись!

Когда я снова оборачиваюсь к ней, она уже ищет, куда бы ей выбросить скомканный носовой платок. За этой окрашенной в тусклый фиолетовый цвет стеной, наверное, лестница и бачок для окурков.

Я все время прислушивалась, говорит Эмма, не идет ли кто. Она намного аккуратнее и точнее меня. Я заглядываю ей в глаза. Контролируемый блеск. Камни в перстнях. Ее стиль.

Ноги мои дрожат и подкашиваются, но уйти от роскошного счастья, обрушившегося на меня так внезапно, я еще не могу. «Пожалуйста, Эмма», – говорю я и, открыв переднюю правую дверь, вытаскиваю из гнезда и бросаю на пол подголовник, поддвигаю вперед до упора сидение и откидываю назад его спинку так, что образуется ложе. Она не поняла моих намерений и, взявшись за угол открытой двери, хотела войти, но я, улыбаясь виновато и просительно, не позволил ей этого сделать и сказал: «Я обессилен, у меня колени, словно ватные», – на четвереньках кое-как я заполз в салон автомобиля сам и улегся, подложив под голову руку и глядя на нее через стекло задней двери. Приглашающим взглядом. Она постучалась пальцем в окно и, прежде чем я успел испугаться, что она может сейчас улыбнуться мне и уйти, освободилась от туфель с каблуками, бросила их под сидение. Два комка белой ткани исчезли в ее сумке. Один из них, догадываюсь, – испачканный носовой платок. «Эмма, – сказал я, – если я не совладаю с собой и стану хрюкать, у меня могут вырасти копыта». Я получил согласие и на это. Боже, как она добра! Какие же глупцы те, кто в ее прохладных глазах не способны разглядеть, какое она чудо. Эмма! Я конечно, не мог позволить себе совсем раздеть ее в машине на этой стоянке, и она, вряд ли пошла бы на это, я только долго, очень долго, расстегивал пуговицы на манжетах ее блузки, делая вид, будто они с трудом проходят сквозь петли. «Туго», – сказал я почтительно. Она улыбнулась. Поняла. Боже, как она догадлива! Неужели эта понятливость идет от немецкой философии? Приди и владей. Что-то мешает мне, подо мной. Я вспомнил – в руках у меня было печенье, когда попросили помочь передвинуть стол в президиуме. Я бываю до смешного услужлив в малознакомом обществе. Чтобы сразу откликнуться, поторопился сунуть печенье в задний карман брюк. Потом выброшу, решил. И забыл. Крути, пожалуйста, крути педали, Эмма! У женского велосипеда другая рама, не такая, как у мужского – похожа на разросшуюся галочку. Хочу видеть твои глаза, когда ты склоняешься над гнутым луком руля, сжимая ладонями его негладкие, с насечками ручки. Эмма! Эмма!

На выезде со стоянки в будке – тип в клетчатой байковой рубашке. На воротник ее легли видные мне с моего места две сосульки волос неопределимого цвета. Рыжеватые, кажется. Он явно – небольшого роста. Лицо опухшее. Водянистые глаза. Я расплатился.

– Откуда? – спросил, опознав в нас «русских».

Я ответил. Он кивнул.

– Не деревенские?! – одновременно спросил, констатировал и наклонился куда-то вниз. Судя по шелесту и запаху, копается в полиэтиленовом пакете с бутербродами.

Я покачал головой отрицательно, Эмма молчала.

– Не деревенские, – в тесной будке между полосами въезда и выезда удостоверил он мой ответ. Диковатый нотариус. – Вы меня понимаете?

Я как раз совсем не понял, к чему относится его вопрос, но предпочел не вникать и согласно кивнул за двоих.

– Ласковый теленок двух маток сосет. Се ля ви, как говорят в Париже. Правда?

Что за кретин?

– Oui, – ответил я и опять покивал ему. Когда он, наконец, поднимет шлагбаум?

– Недеревенские могут с быком перепутать. Вы меня понимаете?

Эмма напряглась. Что он несет? У него в будке нет никакого экрана наверху, только касса, и Эмма тоже это видит.

– Чтобы выехать на трассу, нужно прямо до упора, потом направо? – спрашиваю и слегка отпускаю тормоз. Машина приближается к шлагбауму.

– Ага, – пауза, – вы меня понимаете?

– Конечно. – Черт, что ему нужно?

Он, наконец, отложил в сторону свой мешок с едой и что-то нажал. Шлагбаум, дергаясь, поднял свободный конец, указав на стык перекрытия со стеной.

– Просто – идиот, – сказал я. Эмма молчала.

Мы выехали на трассу и теперь молчали оба. Я не разрешал себе тронуть ее руку. Чудная Эмма. Вдоль всей дороги были фонари. Их отражения в роговице глаз Эммы сверкали и затухали, сверкали и затухали. Один раз показалось – блеснуло как-то по-другому. Она не плачет? Нет, не плачет.

18.

Когда, высадив ее у дома (ее с Шарлем дома!), я один возвращался к себе, дул сильный ветер, сталкивая машину то на соседнюю полосу, то к обочине. Войдя в нашу с матерью квартиру, я обнаружил, что окно в ванной комнате так и оставлено открытым (когда уходил, мне не понравился запах – возможно, где-то в глубине стеного кармана, предназначенного для выдвижных рам окна (стекло, жалюзи, сетка), разлагалась миниатюрная ящерица, может быть даже – очень крупная муха или шмель, я чрезвычайно чувствителен к запахам). Видимо, мать, уйдя к знакомым, решила не закрывать окно. На бежевом кафеле было полно сухих листьев (мелких от соседнего дерева и крупных от бегущего по стенам дома вьюнка). Они неприятно, как лопающиеся под ногой крылатые тараканы, хрустели под ногами, и я смел их в совок и отправил в корзину для мусора. Но такие же листья набрались и в сухой открытой ванной. Из душевого шланга я лил воду на ее борта, не допуская заполнения, подгонял листья по мелкой ряби, когда же прекращал поток, они плыли к перекрывающей вход в канализационную преисподнюю решетке сливного отверстия и садились на мель. Они не были похожи на вытасенные на берег лодки. Я сгреб их, превратил в бурый ком и для разнообразия выбросил за окно. Листья на полу – мусор, мокрые, отмытые в ванной – часть природы. Ей и вернул в черноту ночи. Я выключил свет и постоял у окна, дожидаясь, когда стихнет ветер, – перед стеной соседнего дома росло дерево с редкими резными листьями, обвисающими с веток как уши той породы собак, у которой они похожи на олады. Дом напротив недавно побелили заново и попутно расколотили матовый колпак небольшой неоновой лампы с четкими крупными черными цифрами номера дома. Лампа теперь светила ярко и таким же контрастным, каким раньше был номер 16, словно черной тушью очерчивался теперь по ночам листьями дерева на стене портрет лысого мужчины с бородой и высоким чистым лбом. Я уже несколько недель следил за тем, как меняется постепенно выражение его лица, мне казалось, что он понемногу теряет рассудок. Дождавшись затишья, я убедился, что со знакомым образом не произошло никаких изменений со времени нашей последней встречи, и благоразумно отошел от окна – из опасения, как бы ветер не скорчил мне физиономию обезумевшего Шарля.

Мне хочется, чтобы приведенный в предыдущей главе не рассказ или монолог мой, а скорее длинный выдох, воспоминание об украденной порции земного блаженства, не был воспринят вами как эротический. Сам же я, сейчас, перечтя написанное, тоже не ощущаю его таковым. Скорее – это мероприятие по поддержанию воспоминаний в образцовом состоянии. Разборка эмоций, смазка чувств. Консервация моей жизни в лучшем и ценнейшем ее повороте. Эмма! Не подлежащая присвоению женщина в газообразном янтаре. Какой должна быть температура окружающего ее сухого янтарного облака? 36.6 градусов, как у Эммы? Или 33–34 – оптимальная температура воды в ванной, которую она принимает, после того, как вернулась домой, к Шарлю? Мне, когда-то чрезвычайно любившему снежную зиму, совестно признаться, но со временем я полюбил тепло. Во время сухого без пыли хамсина я и

вообще открываю все окна и даю прокалиться воздуху в доме. Конечно, когда повышается влажность, это становится больше похоже на бассейн, заполненный пять минут назад снятой с огня манной кашей, но зато я знаю, что утром наверняка проснусь не как автомобиль с полицейским «башмаком» на колесе (то есть с заблокированной поясницей) и без горбатого кита в горле. Видимо, начинает сказываться возраст.

Позвольте (я много думал об этом), представить вам сейчас выполненную мною реконструкцию видения Эммой этого великого в масштабах моей жизни события. Итак, Эмма в ванной осмысливает происшедшее.

Хоть я и провозгласил в самом начале, что меня вовсе не смущает подражательный характер используемых мною литературных приемов, все же, когда дело доходит до «потока сознания», даже мне становится не по себе. Этот метод представляет собой до того легкую поживу для литературного вора, лежит таким сочным куском мяса прямо на пути голодного кота, что... в общем, краснея, мучаясь, внутренне загнувшись, я решил испробовать и это, и сохраняя верность традиции, изложил мужское представление об истечении (некрасиво назвалось), о течении женской мысли. Эмма, наверняка, ничуть не обиделась и рассмеялась бы по поводу этой моей оговорки, она – не женщина-еж, она из благословенного племени позволяющих шутить над собой и не ставящих вокруг своей территории-личности колючие заслоны. И кроме того – лексикон «для двоих», общение с возлюбленной (я тогда впервые назвал ее про себя этим волнующим, театральным словом) должны были расширить сложившиеся языковые рамки в наших личных отношениях. Эмма.

«...моя зубная щетка отвернулась ворсинками к стенке, спинкой ко мне, будто упрекает, а вот щетка Шарля смотрит в сторону, это хорошо, так и нужно сейчас, в ванной две струи бьют в талию сбоку, четыре – в поясницу, с противоположной стороны, у ног, – три, двум боковым можно подставить ступни, средняя не добивает до... когда в мыслях дохожу до этого «до», словесная ткань у меня почему-то разрывается и вместо слова вставляется образ, причем затушеванный, тщательно вымытый – и все, скользкая чистота, я – пуританка? «самая чистая девочка грязнее мальчика, мой свои «прелести» часто и тщательно» – прощальное материнское наставление, больше всего запомнилось, нет, было еще какое-то... да, «прелести» – это было ее обозначение, не могу сказать, чтобы «прелести» ощутили сегодня существенную или вообще какую-нибудь разницу, как это назвать? в технике... глупо было бы ожидать иного, женщина – замок, к которому любой ключ подходит, кто это сказал? неужели я? впрочем, ничего особенного, напрашивающееся сравнение, Родольф тонкокостный, может быть станет когда-нибудь пухленьким старичком, во снах будет сидеть перед двумя запретными тортами – одним белым (бизе, крем, орехи), другим темным, в тонкой, ломкой шоколадной оболочке? все рубашки окажутся приталенными, встанет перед дилеммой – либо широковата в плечах, либо тесновата в талии, что выберет? как тот забавный толстячок в супермаркете, порядочно за пятьдесят, который однажды сначала положил шоколадку в тележку, возил ее по магазину, а в конце, перед тем как подойти к моей кассе, выложил, кассирши заметили, что он всегда ко мне приходит, и стоило ему стать в хвост очереди, которая-нибудь из них вылетала из засады, садилась за дальнюю свободную стойку и кричала ему: «подходите, пожалуйста! свободно!» и он, бедняжка, брел к своим палачам, и даже без утешительной шоколадки в корзине, да, у Шарля кость шире, особенно в запястье, вспомнила – еще это ее объяснение, гораздо более позднее (по телефону), почему не взяла с собой: «отцовское воспитание гораздо лучше формирует характер девочки, готовит ее к семейной жизни, сколько видела материнских дочек, как правило – чертополох, им трудно быть половиной семьи, твой отец – очень хороший человек, он даст тебе больше, чем я смогла бы», она права? отцовское воспитание приучает к мужской любви, своего рода зависимость, все-таки тяжело... Родольф не ожидал, если бы надеялся, он постригся бы за пару дней до события, а может быть и больше, вдруг парикмахер схалтурит с филировкой, а он был только-только стриженный, под моими пальцами был свежесбранный затылок, виски, по-моему, чуть-чуть, самую малость, разной длины, странно, что не заметил – не похоже на него, ах да – у него правый глаз «ленивый»? так что ли это

называется? и приобрел бы, наверно, заранее самую лучшую и дорогую рубашку, я это хорошо чувствую – мужчины обожают хорошие рубашки – ведь по степени близости они в каком-то смысле – суррогат женщины, особенно, когда в отношении последней их возможности окончательно исчерпаны, да, подготовился бы – когда мы ехали только на ярмарку, он остановился вдруг на обочине дороги возле дерева, в ветвях которого запуталась длинная упаковочная лента, наверно улетела с какого-нибудь грузовика, он достал из багажника резиновые перчатки, надел их как доктор, вытащил ленту осторожно, так, чтобы не ломать ветки, сложил ее в пакет, туда же докторским жестом сбросил перчатки, эта лента на дереве висела минимум два года, я помню, мы же каждый день проезжаем по этой дороге – и я, и Родольф, он улыбался во время всей этой процедуры, придумал заранее – развлечь меня, да, смешно получилось, я вспомнила, что неподалеку отсюда кто-то забросил на высоковольтные провода пару связанных шнурками красных армейских ботинок, но, конечно, не сказала ему об этом, потом на светофоре он рванул вдруг вперед, как только загорелся зеленый свет, глянула на него, объяснил: «стоял рядом «Фольксваген», тип за рулем тебя разглядывал», подумал, помолчал, будто собирался добавить что-то, и это ожидание продолжения обязало меня никак не реагировать пока, но он так ничего и не сказал больше, намеренно заложил эту паузу? опасался нежелательной для него моей реакции? интуитивно сделал это или рассчитано? сколько лет знакомы, не знаю, где у него грань между интуицией и расчетом, и когда-нибудь разве я его «ококорачивала»? смотрела на него «поверх очков»? я и очки никогда не носила, когда уже въехали в город, а он продолжал быстро ехать, вдруг пришлось довольно резко притормаживать, потому что мужик здоровенный, который до этого стоял на тротуаре, вдруг вышел на пешеходный переход, остановился, повернулся к нам лицом и стал как квочка приседать и обеими руками делать осаживающие знаки Родольфу – мол, успокойся, тише, я заметила, такие мужики громадные, чтобы подчеркнуть еще сильнее свои внушительные размеры, любят надевать безрукавки с огромным количеством нагрудных и боковых карманов и в них напихивать всяких угловатых предметов, вот и этот стоит со своими оттопыренными карманами как культурист с напряженными мускулами и Родольфа-гонщика умиротворяет, я на них по очереди смотрю, а «гонщик» будто застыл, волосок брови не шевельнется, мускул на лице не играет, сквозь темные очки смотрит на этого большого дядьку и, кажется, как медный всадник на площади еще сто лет не пошевелится, только не в доспехах, а в джинсах и мягком пиджаке с благородной искрой, похоже на двуцветность молотого перца для стейков в баночке, да, вполне благородные цвета, правда, по погоде не было нужды в пиджаке, наверно, захотелось покрасоваться, а дядька закончил свое представление, сделал знак женщине на другой стороне дороги, и та с девочкой в одной руке и стопкой из трех корытц таких, в которые в ресторанах упаковывают на вынос блюда, не глядя на нас, пересекла дорогу, а за ней и он ушел, продолжая с ней разговаривать, но ношу ее себе не взял, мы поехали дальше, уже медленно, и я рассмеялась, тогда и Родольф вышел из своего ступора и начал улыбаться, возможно, слишком внезапно для него все это случилось на стоянке, не только для меня, но если бы он готовился, мог бы сорваться, жалко Шарля, он ничего не заподозрит, многовато мелких происшествий было по дороге на ярмарку, через два квартала после инцидента с карманистым мужиком дорогу нам стал пересекать черный полиэтиленовый пакет, и он так был похож на черепаху без головы, но с хвостом ондатры, так ловко взобрался и сполз с мощеного красным кирпичом разграничившего полосы дорожного треугольника и побежал нам под колеса, что я поневоле съехала, Родольф почувствовал и затормозил, поехал только когда я кивнула головой, он теперь из-за Шарля спрячется на несколько дней, ему наверняка потребуется время, чтобы совладать с собой и изображать, будто все по-прежнему, во время прогулки по городу перед лекцией, мы проходили мимо супермаркета, и я подумала, что в последнюю недельную закупку продуктов забыла приобрести свечи (в эти выходные – годовщина смерти отца, мы собирались с Шарлем поехать на кладбище), мы вошли, нашли поминальные свечи, и я тут вспомнила – утром обнаружила, что и гигиенические прокладки у меня закончились, но неудобно было покупать их при Родольфе, видимо от досады я забылась и на кассе потянула к себе подписанный мною чек, а распечатку подтолкнула кассирше, та улыбнулась, по этому жесту тут

же распознав во мне коллегу, а я смутилась – сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз захлопнула кассу, а до сих пор случается – срабатывает привычка, Родольф видел, конечно, все это, но сделал вид, что не заметил, почему? сразу догадался, в чем дело, и решил, что раз я не обсуждала с ним раньше наш первый год здесь, то и теперь не захочу? до такой степени заботится о моей гордыне и владеет собой? а я сумею скрыть от Шарля? сумею, наверно сумею, «лишь две вещи поражают меня: звездное небо надо мною и нравственный закон...», где? «во мне»! но какая же это философия? это игра словами, нажимающая на какие-то нервные окончания души, так же (наркотически?) действует мазок Ван Гога, не иначе как Родольф у колонны впрыснул мне свои идеи, или уже в машине, бедный Шарль, кого-нибудь да предашь, не себя, так другого, как же я-то решилась? сказал кто-то, не помню, кто, – женщине на глаза попадает соблазнительная пуговица, она под нее придумывает платье, это не про меня, мне всегда недоставало спонтанности, это Родольф оторвал меня от почвы, Родольф был во мне – значит, он теперь мой нравственный закон? во мне сменился внутренний закон? или у меня теперь два внутренних закона? потолок – вместо звездного неба, белый, какую маску наденет Родольф? в детстве у меня была маска лисички, очень тяжелая, не такая, какие сейчас продают, но я ее любила, и мне нравился запах клея, нравилось, как глухо звучал из нее мой голос, но бегать в ней нельзя было, она тогда сползала с лица, а резинка давила на уши, да, маску невозмутимости, а не как тогда в школе он пялился на меня, когда Шарль стоял с сорванными трусами у футбольной площадки, Шарль ужасно побледнел, вернул быстренько свои трусишки на место и уже не отпускал их до конца урока, а потом всегда носил поясные ремни с пряжками, до сих пор не признает шорты с резинкой, а Родольфу, хоть он не осознал тогда, хотелось, чтобы это с него стащили трусы, и что он бы тогда сделал? небось, слезы по щекам, в драку полез бы, а Шарль так и остался на линии, был бы Родольф ему настоящим другом, тоже опустил бы трусы, ради Шарля, ведь они потом стали друзьями, но он этого не сделал, интересно, он догадывается сейчас, как ему следовало поступить? видела, как однажды зимой мальчишки сорвали с Родольфа шапку и забросили на крышу одноэтажной пристройки рядом со школой, шапка там хорошо была видна с дороги на крутой крыше, лежала на снегу как мертвая собака, обычно такие пакости доставались на долю Шарля, а тут Родольф – сразу вышел из себя, совершенно не любит собак, как он ее потом достал с крыши? всегда казался мне немного зеленым, сейчас из-за отсутствия семейного опыта, зеленый? как ирландский паб снаружи? внутри никогда не была, говорят (где-то читала), там ужасно скучно, пьют всю ночь это свое пиво Guinness, под утро трахают по очереди малолетку в сортире возле писсуаров, Родольф долго был один, я все-таки за ранние браки, вокруг нашего дома бродит в последние месяцы полтора приبلудный котенок, еду берет у меня и у Берты, а в дом не заманишь его, дикуват, не представить даже, что сможет свернуться у ног калачиком или прыгнуть к тарелке на стол, или обращаться к людям с просьбами, не теряя достоинства, для этого нужен каждодневный опыт, Родольф, бедняжка, как он сейчас? смешной, спросил, люблю ли я ссориться, торжествует или наоборот? боится адюльтера как монах нечистой силы, он просил меня – кричи, стони, почему я этого не умею? и не только этого – избегаю высказываться, или не хочу, знаю – мужчин заводит эта сдержанность, они любят, когда их понимают и не мешают самим «самовыражаться», выдавать себя за тех, кем только мечтают стать, что толку самой разглагольствовать? зачем мне мужская слава? что я с ней сделаю? выпячу гордо грудь вперед? она и так выставлена напоказ, не спрячешь, если и захочешь, нет, были случаи – обтягивали полотенцем, чтобы выдавать себя за мужчин, воевать, а вот нимфы растерзали Орфея, потому что пел не для них, а со мной, Эммой, что бы они сделали? тоже – камнями? предательница? какая у нимф была мораль для моего случая? теперь их двое, Шарль и Родольф, мамочка, где ты? я теперь знаю, каково это, тебе не нужно больше прятаться от моего гнева, святая Эмма семейная не состоялась, стиль взрослой женщины определяется ее детскими предубеждениями, в школе, в каком это было классе? не помню, собрание, только девочки, о девичьей чести, учительница упрекнула Кармен за ношение прозрачных капроновых чулок, предполагалось, наверно, что одноклассницы тоже выступят и как это называлось? «осудят» или «выразят неодобрение», нет «выразят

неодобрение» – «взрослая» терминология, но девочки все промолчали, слава богу, Берте теперь не предстоит ничего подобного, либеральное воспитание, хорошо, что успела научить ее правильно держать в руке карандаш, не могу привыкнуть, как у взрослых уже людей ручка будто воткнута в сжатую ладонь и случайно вышла наружу между средним и безымянным пальцами, и ведь ничего – пишут, даже удивляешься, как это у них получается, однажды попробовала – ничего, можно привыкнуть, а тогда, в нашем детстве, мы, девочки, носили чулки плотные такие с рубчиками, напяль сегодня эти чулочки вместо колготок, ни Шарль, ни Родольф не донесут свои фонтанчики до цели, чулочки с рубчиком как варварское средство контрацепции, люблю ли я Родольфа? дай ему волю – будет стараться смешить с утра до ночи, и чтобы слова его были тонкими, как неширока его кость, во всяком мужчине, стремящемся выглядеть аристократично, есть что-то птичье, я это особенно заметила, когда мы были с Шарлем в Париже, Родольф, несмотря на свою узкокость, – из породы (♂)-Марс, не хочу сейчас думать словами «мужчина» и «женщина» или «самец» и «самка», на них слишком много всего навешено – привходящих эмоций и т.д. – они вносят искажение в ход мысли, так вот (♂)-Родольф – из тех (♂)-homosapiens, которые готовы обменять свою безграничную любовь к homosapien-(♀)-Венере на ее безграничную же готовность следовать за ним, подходит ли мне это? о человеке очень много можно узнать по выражению лица, с которым он причесывается перед зеркалом, Родольфа никогда не видела, знает об этом? прячется? забавный, затеял недавно собирать косточки авокадо, приносил, показал, какие они красивые, если смочить водой, блестят, потом обнаружил, что если оставить на воздухе – быстро начинают усыхать, морщиться как старые армейские ботинки, тогда освободил прямоугольную вазу для пасхальных опресноков, так это следует называть, используя терминологию синодального издания 1917 года (на последствиях исхода из Египта у меня открылась книга на ярмарке), Родольф в этой вазе держит салфетки, теперь налил воду, бросил туда косточки авокадо и любит ими, воду меняет каждый день, говорит, если начнут прорастать, попробует налить водку «Финляндия» вместо воды, спросить, собирается ли и ее менять ежедневно, жена Оме, биологиня, в курсе его экспериментов, очень потешается, он ей объявил недавно, что возраст человека тяжелее всего определить по его ушной раковине, уши человека, сказал, почти не старятся, она не знает, возможно, о его привычке уносить огрызок яблока в мусор на лезвии ножа, будто проводы знатного покойника на лафете пушки, всегда требуется ему нож для яблока, однажды спросила Родольфа, кем мы с Шарлем ему приходимся, я напряглась немного, ожидая ответа, а он так смешно просиял и сказал, что мы люди, которые ему доверяют, и столько искренней гордости было в его ответе, что я просто опешила, в школе, в самом конце, мы ездили всем классом на экскурсию в Киев, Родольф все поднимал с земли ежистые зеленые, начинающие желтеть шары, вскрывал оболочку перочинным ножиком, извлекал из нее блестящие коричневые каштаны, немного влажные, липкие и скользкие, почти как новорожденный ребенок, которого только-только извлекли из матери, и любовался ими, интересно – догадывается, почему его заморозили косточки авокадо? правда, каштаны в отличие от авокадо – с большой лысиной телесного цвета, потом мальчишки швырялись этими каштанами, кроме Шарля, киевские каштаны, видимо, несъедобные, а жареные, «пьяные» готовят из каких-то других, у Шарля тоже был свой перочинный ножик, очень забавна эта страсть мирных мальчиков к ножам, и он из коры ствола каштанового дерева вырезал легкие такие, коричневые лодочки, одну мне подарил, жаль, что не сохранила, сейчас пустила бы плавать в ванной и, может быть, заплакала бы, но не мог же Родольф подарить мне каштан с лысиной, а когда были еще в младших классах, Фелисите пришла в школу и сказала, что у Родольфа «отвалился кусочек головы», она жила рядом с ним, оказалось – раскачивался на стуле за ужином и грохнулся спиной на пол, Шарля тогда еще не было с нами, или уже был? не помню, ничего страшного, через пару дней Родольф вернулся в школу, очень на него похоже – раскачиваться на стуле, он и рассказы так пишет – хочет и развлечься этим, и привлечь внимание к себе, и понравиться, но опасается, как бы не заработать душевную травму, если плохо получается – проблема, знакомая каждой женщине, сколько женщин, столько решений, как произвести впечатление и не пострадать, как, например, реагировать на мужские взгляды – в

лицо, на грудь, на ноги, мне проще – я воспитана мужчинами, знаю, чего они ждут, – не отталкивать, не кукситься, но и не поощрять, жена Оме очень расстраивается, если на нее не обращают внимания, это заметно, ею поэтому можно вертеть, интересно, Бурнизыен в юности «окорачивала наглецов»? как? самое глупое, что может сделать женщина, это задевать, как правильно определить? биологический авторитет мужчины, что ли, этими перочинными ножичками Шарль с Родольфом еще играли, как эта игра называлась? так и называлась – игра в ножик, они всегда и меня приглашали играть, очерчивали круг, делили его на три равных сегмента, нет, забывать стала, сегмент – это пространство внутри кривой и прямой линии, соединяющей ее концы, а круг делили на равные сектора, это части круга, ограниченные радиусами, становишься в свой сектор, ножик берешь за кончик лезвия и мечешь так, чтобы воткнулся в землю и «откусил» кусок у соседа, им обоим нравилось, когда у меня оставалось место только, чтобы стоять на одной ноге, но тогда Шарль начинал промахиваться, а Родольф обзывал его «мазилой», вспомнила – прямая линия, которая соединяет в сегменте концы кривой, называется хордой, в Киеве Родольф подбивал меня с Шарлем сбежать на последний сеанс фильма с названием «У пустели, як у джунглях», Шарль знал украинский язык, он сказал, что «пустеля» по-украински – пустыня, ужасно смеялись тогда, с Родольфом – продолжится? до каких пор? все ведь заканчивается, он тоже задал себе этот вопрос, или нет? мужичок, ужасные трусишки в таких вещах, совершенно не в состоянии, например, думать о матери как о женщине, «нравственный закон», табу, ну вот – рассуждаю... а можно думать чувствами, наваждениями, суевериями, как в латиноамериканской прозе, привлекает и отталкивает, лучше всего мне думается по утрам, когда я съедаю большой цельный, не разрезанный на доли помидор прямо над кухонной раковиной (красные брызги – во все стороны, когда лопаются), Шарль знает эту мою привычку, никогда не отвлечет в это время, не помешает, Родольф спросит «о чем ты думаешь», что я ему отвечу? в машине Rumer пела «Slow», и он растаял, будто меня нет рядом, я съездила вся, а он не заметил, уплыл на звук, лепи воском уши, привязывай к мачте, не поможет, похожее что-то вспомнилось, да, солдаты американские посреди океана, камикадзе разнес их корабль, много часов уже прошло, наглотались соленой воды, начались галлюцинации, один говорит – вон там мать моя на пороге, зовет меня, бросил плот или за что они там держались, и поплыл в океан, его пытались вернуть, а он вытащил нож и угрожал им, его больше не видели, уплыл, к матери, а Родольф слушал это губокое «slo-o-o-w» протяжное, обволакивающее, завораживающее и это «even tho-o-ugh», прозрачное, чистое, не думаю, что он пытался слова разобрать, если бы разобрал, может и не уплыл бы, найти, посмотреть потом, как она, эта Rumer, выглядит, я его недавно попросила о чем-то, а он говорит: «разве так просят?», «а как просят?» – спрашиваю, он сосредоточился весь, собрался, – и «мя-а-а-а-у-у?!», беззащитное такое, очень обрадовался, что получилось, мне хотелось в ответ изобразить кошачье «к-х-х-х!», это гораздо проще, но между нами тогда ничего еще не было – неудобно, им слова женские безразличны, лишь бы не корбило, пытаются уловить настроение по звучанию голоса, каков нынче курс моей акции на женской бирже? даже если медведь на ухо наступил, ноты женского голоса читают безошибочно, не дай бог, почувствуют раздражение – сразу в панику, за неделю не успокоишь никаким мяуканьем, мальчишкам-трусишкам, в конце концов, наплевать, что первично, материя или дух, им нужно знамя, с которым они идут в бой, выбор, с кем сражаться, достаточно случаен, чаще всего – идет от отцов, или, наоборот, им наперекор, Родольф заметил бы на это: «очень диалектично», не может простить мне увлечения философией на втором курсе, это, по-моему, его обижает больше, чем выбор Шарля в мужья, не так давно речь шла о том времени, о философии, Родольф сосредоточился, показалось, глубже, чем требовалось, чтобы вспомнить, оказалось, он, и правда, дальше погрузился, помнишь, говорит, в детстве пели по радио: «я ждала и верила, сердцу вопреки», да помню, сказал Шарль, и я тоже вспомнила, а я, Родольф не дал нам отвлекаться на воспоминания о детстве, тогда еще, видимо, не знал слова «вопреки» и поэтому текст этот слышал как «сердцу фабрики», в детстве часто сталкиваешься с такими непонятностями, примиряешься, скользишь поверх, а отрочество ведь начинается с отказа «скользить», и позже, когда в философии стал наткаться на

«сердцу фабрики», не желал этого принимать или верить иезуитским выкрутасам, якобы объясняющим темноты, если тебе, господин философ, есть, что сказать – говори, а не темни, «кто ясно мыслит, тот ясно излагает», это Шопенгауэр сказал, Эмма? – спрашивает, не помню такого, отвечаю ему... ждут мальчики, не дождутся, пока наберется у них в душе критическая масса убежденности – и вперед, к победе, ура, есть женщины – тоже хотят избрать себе масштабную цель, Бурнизьен, например, кстати, абсолютно противопоказанная Родольфу женщина, им для дыхания нужны разные типы атмосфер, если бы Родольф питался, к примеру, планктоном (не знаю, как он выглядит), то Бурнизьен следовало бы есть только красные помидоры, даже на одной плоскости они непересекающиеся множества из разных квадрантов, но он, кажется, хочет и на нее произвести впечатление, у Бурнизьен цель – духовная, насчет материалистической – нет живого примера под рукой, разве что по телевизору эта социалистка-депутат, женщина-уксус (а она как реагирует на мужские взгляды?), а я кто? женщина-роза? фиалка? манго? все не то, озадачить Родольфа поиском подходящего мне растения? нет, будет выглядеть кокетством, у жены Оме есть цель, нет, притворяется, ей все равно, но она хорошая жена, а хорошая жена – заодно с мужем в том, что для него важно, Родольф сказал о ней, что в анемичных женщинах есть своя прелесть, что и в их душах тоже бушуют ураганы, нужно только приставить ладонь к уху, чтобы услышать их рев и свист, спросила, почему не вступает в прямой спор с Оме, сказал: «нет смысла метать бисер перед свиньями другой породы», а с женой его было что-то у Родольфа или не было? убеждал ее, что полеты во сне доказывают происхождение человека от птицы, говорил, что в этих снах в воздухе чувствует себя очень естественно и надежно, даже какое-то время после пробуждения пребывает в полной уверенности, что умеет летать, так было или не было? спросить его самого напрямую? не стоит, соврет, Родольфу тоже все равно (в смысле материи и духа), и это делает его несколько женственным, чтобы убежать от женственности (боятся этого как огня), выбрал бегство от обобщений и вражду к расчленению цельного, сделал это своим знаменем и тоже – вперед! на штурм Эммы! однажды сказал, что лучше останется голодным, чем разделает курицу, даже ошипанную уже и выпотрошенную, с дырками вместо шеи и зада, уж очень ему напоминает процедура расчленения дурацкой «ко-ко-ко» написание школьного сочинения, да, обрадовался, это же так и называлось – «разобрать произведение такого-то писателя такого-то», сказал и изобразил на лице ужас, будто ему предстоит медленно, по частям погружаться в прорубь, а меня нет рядом – и хорохориться не перед кем, добился своего Родольф, получил приз за своеобразие интеллектуального оперения, вот он – приз, не «он», а «оно», мое тело, странно, когда чувствую на нем мужскую руку, не ощущаю ее власти, думала это связано с Шарлем, но и с Родольфом – то же самое, почему они оба обращаются со мной так, будто боятся во мне что-то сломать или повредить, не так уж хрупко я сложена и родила уже, Родольф сказал, запомнил на всю жизнь, как мы сгрудились все в классе вокруг стола, смотрели свои оценки в забытом учительском журнале, сладость запретного, что в этом было запретного? а я оказалась позади него, поднялась на цыпочки, чтобы разглядеть получше и оперлась подбородком о его плечо, неудачное слово – «подбородок», какой может быть подбородок у школьницы? тело, конечно, только доля приза... а какая доля? что он любит во мне? возможно ли философское расчленение любви на составляющие? вот я вижу свое тело, (кроме лица, конечно), и там, на стоянке все было при свете, не таком ярком, конечно, как здесь, что я делаю сейчас со своим телом? смываю Родольфа, зачем? от него хорошо пахло, запах сладковатый, но все же мужской, похож на него самого, что это было? одеколон? дезодорант? лосьон? крем «после бритья»? когда лежал на спине в машине, из тумана этой парфюмерии – два его глаза снизу смотрят на меня, будто с другого корабля, издалека, двумя фонарями для большей надежности сигналият один и тот же текст, и фонари мигают на фоне мерцающего тоже неба: «кудпывдаль?», я в ответ: «ты ТАКТАКТАК меня лю?» и что-то в этом же духе вслух, но шепотом спросила, не помню, какими точно словами, а он честно так, сознаваясь, лоб виновато морща: «мне даже стыдно иногда бывает за то, как», я на него свалилась, и от моего смеха машина затряслась, а он испугался, говорит: «тише, нас заметят», не заметили, нет, если ладонь держать на самой поверхности воды в ванной и пытаться быстро

ее отрывать, вода, кажется, тянется за рукой, и будто тяжелеющая масса жидкости колыхнется под ладонью, вот так машина подрагивала, еще я могу быстро сжимать в кулаке воду так, что она выстреливает фонтанчиком как у Родольфа и Шарля или как семья надкушенного помидора, я смываю Родольфа, потому что скоро вернется Шарль, если у меня не успеют высохнуть волосы – удивится, почему купание не перед сном, как всегда, в аудитории было так душно? Шарль аккуратен – всегда, например, находит кончик золотистой полоски на нераспечатанной еще упаковке зеленого чая, когда долго не получается, говорит: «но ведь он должен где-то быть», когда учились, Аталия иногда просила Шарля вскрыть ей свежую пачку сигарет, болгарских, без фильтра, там полоска была красной, как лак на ее ногтях, которыми гораздо удобнее ковырнуть кончик, она смотрела, как он бережно стаскивает с пачки прозрачное сигаретное белишко, и глаза у нее притворно, или непритворно? туманились, а Шарль не замечал этого, был полностью погружен в процесс, Родольфу из любопытства поручила недавно помочь мне на кухне – тоже вскрыть коробку с чайными пакетами, со вкусом граната, – тот сразу кончиком кухонного ножа – упаковке под ребра, Шарль, ей-богу, заслуживает той нашей однокурсницы, которая потом появилась в рассказе Родольфа, где про длинную лампу, как он написал? «ей можно доверять как ночной бутылке минеральной воды», кажется, до сих пор думает, что я ничего тогда не заметила, еще как заметила, Шарль знает, что у меня вот-вот начнутся «праздники», «первое мая», с тех пор, как стал близок к компьютерам, в нашей постельной жизни появилось слово «alignment», это значит – выравнивание, подгонка, с целью минимизации периода воздержания на время месячных, как я пройду в этот раз через alignment? добавить горячей воды? это, кажется, может ускорить, уже сегодня скажу: «опоздали», поверит? Шарль поверит».

Где тут Эмма? Где я сам? Запах, который ей понравился, кстати, не был ни лосьоном, ни духами, ни дезодорантом, это была жидкость от комаров. Я смазал себя ею в туалете перед тем, как мы покинули заседание. Был вечер, я знаю, что Эмму комары почему-то обходят, вернее – облетают, а меня – нет, и я не хотел отмахиваться, тем более – бороться с зудом или, не дай бог, почесаться при ней.

Стоп-стоп, откуда взялись струи в Эммином купании? Разве у них была тогда ванна-джакузи? Нет, конечно, не было, это у меня сейчас в квартире такая ванна.

19.

Бурнизыен мне поначалу даже немного понравилась. Я в основном молчал (как обычно поступаю в подобных ситуациях при первоначальном знакомстве с новым человеком), больше прислушиваясь к непривычным интонациям (смирение перед невежеством собеседника и твердость в собственных убеждениях в примерной пропорции 40/60%), нежели вникая в содержание ее речей. Покоробило меня однажды упоминание ею тургеневских женщин как блестящего литературного примера высокого идеализма, смутил тон этого упоминания, в котором мне почудилась, будто равнинесса верит в собственную принадлежность к некой мистической ближневосточной ветви этого сияющего женского братства (сестринства, в данном случае). Раздражение мое, полагаю, было вызвано в основном тем, что Эмма – точно не тургеневская женщина, и уж тем более не может претендовать на роль королевы этого прославленного племени. Ревнивое чувство, вполне мирящееся со скромностью моего собственного места в мире, но не допускающее ни малейшего умаления светозарности Эммы, услужливо заправило в дисковод моей памяти напоминание о том, что «Ариадна», рассказ об эгоистичной, взбалмошной и пустой красавице, – одна из любимейших моих чеховских историй, а отсюда, может быть и не слишком логично, выплыло злорадное подозрение – за картонными фасадами тургеневских женщин удобно устраивать засады исчадиям ада в юбках, в изобилии населяющих романы Набокова, образами которых голова моя заполнена несравненно плотнее, чем тургеневскими идеалами.

Эмма сказала, что и первое впечатление равнинессы обо мне было положительным. «У него слушающие глаза», – передала она отзыв Бурнизыен о моей скромной персоне. В отличие от прибывающей из

России открытой, победительной женской религиозности («у такого-то писателя в произведениях его не присутствует Бог! мне в них нечем дышать!»), проповедь Бурнизеен шла из интеллектуального полуподполья, обращаясь к людви́гфеербаху совращенным еврейским язычникам, то есть к Эмме, Шарлю и ко мне.

Вы, наверно, много раз наблюдали, как морская волна ударяется о препятствие – скалу, пирс, волнорез (что там еще может быть у нее на пути)? Волна отступает, а то, во что она только-только ударила, стоит мокрое там, где стояло. Если это были прибрежные подводные камни, на которых растут морские водоросли, похожие на волосы, перекинутые через всю лысину на другую сторону головы, то эти водоросли приходят в движение, как упомянутый волосной мост через лысину при порыве ветра. А теперь представьте то же самое, но только после отката волны вы обнаруживаете, что произошло чудо – пирс, скала и волнорез остались сухими, водоросли – не шевельнулись, нелепая прядка волос, начинающаяся от пробора над самым ухом, будто приклеена к коже лысого черепа специальным гримерным клеем. Вот это и есть моя внутренняя реакция на речи равинессы. Без всякого чуда. И когда я смотрел на нее «слушающими глазами», мозг мой на самом деле искал метафор, которые отразили бы мое отношение к услышанному. И вот это все про волны, пирсы и лысины – результирующая моих исканий. Видимо, метафоры заменяют мне философские обобщения. Ничего не поделаешь – так я устроен.

Но как это знакомство отразится на Эмме? Эмма – клуша? Эмма – ханжа? Это выше моих сил. Эмма, рассуждающая о том, что электроны в общих чертах были описаны гаоном из Вильны? Поджимающая губы, когда я интересуюсь, приводит ли виленский гаон описание экспериментальной установки, приведшей его к таким выводам. Эмма, выясняющая из еврейских трактатов, что Далила выведала тайну силы Самсона, измучив его тем, что не позволяла кончать в себя? Но ведь Самсон был таким сильным, возражу я ей, как же он не мог ее удержать? «А-а! – найдется Эмма, – она умела внезапно вспотеть и в нужный момент выскользнуть из железных объятий Самсона!» О, боже! Когда я наталкиваюсь на аргументацию и доказательства, принятые в религиозном мышлении, я чувствую себя несчастным ветеринаром, которому за день не удалось вылечить ни одного животного. Не вынесу! Нашатырного спирту мне! Уж лучше – квадратный лоб папаши фейербаха, лучше – привычный Гегель с его стеклянным взглядом и седыми космами!

20.

– Повсюду крошки. Кто это у тебя тут ел печенье в машине? – спросила мать.

Мы ехали с ней к окулисту.

– Никто не ел, Эмма растолкла. Она каталась на велосипеде, а в кармане было печенье. Высыпалось, когда мы с ней возвращались с книжной ярмарки.

Я должен выполнить свое обещание насчет колонны. Относительно рисунка решение пришло быстро – *Vanellus spinosus*. Но как? Я порылся в интернете, но не нашел никакого способа, позволяющего перенести цветной рисунок (фотографию, в моем случае) на бетон. Тогда я позвонил своему родственнику и попросил у него телефон художника Кузьмы, которого увидел на книжной ярмарке рисующим выступавших ораторов. За тысячу шекелей тот согласился написать птицу на колонне. Повыше, попросил я. Он снисходительно взглянул на меня с высоты своего громадного роста, я улыбнулся в ответ. Он видел нас вместе с Эммой, может догадаться. Нужно как-то объяснить.

– Возле этой колонны мне пришла в голову одна идея.

Куда же еще может прийти идея? Конечно, в голову.

– Какая, позвольте узнать?

– Техническая, я инженер.

Поверил: «Инженеры. Другая раса. Делают расчеты. Когда-то становились под мост, плохой расчет – мост на голову. Теперь – вряд ли, а платят им, говорят, хорошо. Тысяча шекелей – маловато, но поздно уже передоговариваться, слово – не воробей, вылетит – не поймает. Черт с ним, пусть, так и быть, тысяча шекелей».

– ОК, сделаем. Ваш телефон?

На всякий случай, не дам.

– На этой неделе собираюсь менять, не уверен, что останется тот же номер. Хочу, чтобы у сотового и обычного было как можно больше одинаковых цифр. И так жизнь – одни цифры. В банкомате – пароль, в компьютер войти на работе – пароль. Еще и меняется каждые три месяца. Чем меньше цифр запоминать, тем лучше. Я сам позвоню вам, когда можно? Уже через неделю? Здорово! Конечно, устраивает. Я не тороплю вас.

Я позвонил ровно через неделю.

– Готово.

Мы встретились вечером на стоянке.

– Никто не пытался вам помешать? – поинтересовался я.

– Нет, у них здесь нет видеокамер, а я работаю быстро.

Мы спустились к уровню минус семь, помаду я растер и замазал еще перед тем как привел Кузьму в первый раз.

Рисунок меня смутил, хотя и очень понравился. В нем присутствовал дух разрушения. На высоте чуть более двух метров колонна будто была выдолблена на две трети ее ширины, и в этой выбоине стоял на своих тонких ногах *Vanellus spinosus* и продолжал клевать бетон. Я горячо поблагодарил и расплатился. Показать этот рисунок Эмме я не решился и даже не рассказал ей о нем.

21.

Я все откладывал и откладывал изложение взглядов равинессы Бурнизьен, надеясь, что мне вот-вот явится нужный ракурс, припомнится что-нибудь характерное, что продемонстрирует их выпукло и ясно представит ее характер. Но, увы, ничего. «Клум», как говорят здесь, «гурништ», как говорила моя бабушка. Похоже, я воспринимаю веру, а особенно женскую религиозность как бетонная стена теннисный мяч. Видимо, отчасти, даже носитель ее (носительница в данном случае) теряет в моих глазах свою половую окраску, так же, как я не в состоянии отличить самку воробья от самца из-за лезущей в глаза общей для них воробьиности.

Рано или поздно, эта моя эзотеронепроницаемость должна была омрачить наши с равинессой отношения. Эмма пыталась предотвратить такое развитие событий. Ей хотелось, видимо, чтобы какая-нибудь женщина удержалась в ее окружении. Она, может быть, ощущала родство между философскими увлечениями своей юности и духовными исканиями Бурнизьен. Эмма, пытаясь представить меня в выгодном свете, даже прочла равинессе пару моих рассказов, не знаю, каких. Но было, по-видимому, поздно – моя косность и языческое равнодушие уже раздражали равинессу, как когда-то безумно раздражало евреев равнодушие греков к их религии. Ее высказывания, которые я хорошо запомнил и сейчас приведу, относились ко мне и моим рассказам, и дошли до меня через щели тех самых жалюзи на Эмминой кухне, через которые сама Эмма когда-то надеялась услышать вкрапления неформальной лексики в моих высказываниях об Оме.

Его рассказы похожи на его же манеру одеваться, говорила Бурнизьен Эмме. Он тщательно гладит рубашки (да, мама старается) и меняет их каждый день (правда), а вот светлые брюки доводит до сероватого налета вокруг карманов (мама до них не добирается, рубашки она гладит, потому что я ей их даю, а налета, если это правда, скорее всего, не видит, нужно поторопиться с удалением ее катаракты), и туфли у него нередко в пыли (она права, я вдруг вспомнил идеальные стрелки на брюках отца, свое недоумение, зачем нужно так тщательно отглаживать ткань на заднице; и как подолгу он обихаживал свою обувь сапожной щеткой, заодно всегда цепляя и мою; и что стоит, действительно, лишний раз постирать брюки и пройти тряпочкой по обуви – просто забываю).

В его речи, продолжала Бурнизьен, слышен южный говорок (ну, это если и правда, – не страшно, мы с Эммой росли вместе, значит, и у нее – такой же). Он говорит «распространение» и «гнустный», «более, не менее», запросто может сказать «одел кипу», зато откровенно щеголяет тем, что в слове «звонит» ставит ударение на последнем слоге (вот сучка! и это ей тоже мешает). При упоминании таких давно и прочно вошедших в лексикон культурного человека понятий, как парадигма и дискурс у него взгляд становится как у затравленного еврейчика. («Еврейчика» оставим на ее совести, а вот по поводу

«затравленности» я, кажется, знаю, в чем дело – женщины с массивными бедрами почему-то вызывают у меня чувство опасения. Буду откровенен – я их немного побаиваюсь. И слова, смысл которых не имеет в моем сознании достаточно четких очертаний, меня настораживают. И вот, сочетание тяжелых бедер Бурнизыен и слетающих с ее уст неродных мне терминов, действительно, приводит меня в состояние, близкое к испугу. Да, вот еще – круглые брови Бурнизыен, как мне кажется, напоминают полуоправы очков. Глянув ей в глаза в первый раз, я замешкался в поиске стекол, и две части «полуоправы» недовольно приблизились друг к другу. Перемещение это озадачило меня, и неприличная заинтересованность, видимо, отразилась на моем лице. Возможно, опасение повторно попасть в эту ситуацию также сокращает нейтральную полосу между нами при нарастании потенциала словесной стычки).

Что такое оксюморон и автохтонность, доносился до меня голос Бурнизыен из-за стеклянных жалюзи, он просто забывает от раза к разу, а ведь в этих терминах ничего сложного нет.

Что такое оксюморон, я тоже все время забываю, вставила в разговор Эмма. (Милая!)

Ну, ладно, отвечала равинесса, выгораживая (и отгораживая от меня) свою собеседницу, «оксюморон», действительно, не каждый обязан помнить, но если уж ты взялся писать, изволь выучить...

Скотина. Выскажи она все это Эмме, скажем, на полгода раньше, может быть и не долбил бы сегодня колонну в подземелье автостоянки рисованный *Vanellus spinosus*. А в самом деле, повлияло бы это на Эмму? Повлияет ли сейчас? Я почувствую. Зачем Эмма прочла ей мои рассказы? И какие? Неужели равинессе ни один не понравился?

Когда Бурнизыен вышла из кухни на площадку, по моему взгляду она догадалась, что я слышал ее. «Мы с тобой говорить и слушать, а друг друга не понимать», – прочла, она, должно быть, намеренно стилизованный «под чурку» ответ в моих глазах. Я увидел, как она начала краснеть раньше, чем успела отвернуться, изменившийся фон для полуоправ ее бровей привлек мое внимание, но на сей раз, наблюдая изменения в ее лице открыто и с прищуром, я не испытывал ни смущения, ни огорчения. Когда вошла Эмма, я на всякий случай прикрыл локтями карманы брюк.

Я отметил для себя: отзывчивость по отношению к моим прозам пера меня ободряет и поддерживает (что вполне естественно), но и пугает немного – как бы мне не остановиться в развитии. Плохой отзыв в первый момент рождает сомнения, но затем делает злее и настойчивее. И то, и другое – явно школярские, подростковые страсти новичка. Так что продолжать я, видимо, буду в любом случае. Внимание Эммы к моим рассказам, безусловно – сильнейший стимул, но поощряет нетерпение, торопливость. Отсюда, по-видимому, краткость моих рассказов. Слава богу, что не опустился до поэзии. Хуже поэзии – только сочинение песен и исполнение их под гитару. Это уж все равно, что прямо подойти к бабе и схватить ее за сиську. Пардон! Горячность, конечно, с моей стороны, не моя лексика, и т. д., но вымарывать не стану. И все же я чувствую себя пленником страсти: писание пусть даже и коротких рассказов и связанное с ним изобретение словесных фокусов, чтобы удивить ими Эмму, представляется мне занятием возвышенным и прекрасным. Но воспользоваться этим инструментарием ради расположения Бурнизыен? Заклчить для ее удовольствия величие и трагедию человеческой жизни в липкий кокон эзотерического самовнушения? Не знаю, не знаю... Со мной это не склеивается.

Вот эта последняя фраза – клад для Бурнизыен. «Шедевр еврейской провинциальной речи, – скажет она. – По-русски говорят: у меня то-то и то-то (личная жизнь, например) не клеится, к ней (к нему) то-то и то-то (грязь, например) не пристанет». А я так и оставлю. Не принимаю ее правил. Сначала закует в словесные штампы, скрутит ими, а затем вручит мне, скрюченному, воздушный шар шатких обобщений или просто фантазий: лети на крыльях сих в самое синее небо – там славно! Ну, ладно, я, конечно, порядочно обижен и раздражен из-за негативного характера высказываний Бурнизыен в мой адрес. Мужское ехидство вызывает во мне гнев, женское – отталкивает. «Обижен и раздражен» – это не гнев и не отталкивание. Это, так сказать, практические чувства, потому что в данном случае речь идет не исключительно о наших с Бурнизыен отношениях, а о том, как наш конфликт отразится в сознании Эммы, то есть, действительно, о сугубо

практическом, но самом важном для меня вопросе. Счастье еще, что женщины, как правило, не умеют язвить по-настоящему глубоко, ведь могла бы сказать, например, что мои «творения» напоминают ей спортивный успех инвалида. Или будто поглаживать меня по голове, приговаривая: «Молодец, Родольф! Умный Родольф!»

Дома я первым делом отправил брюки в стирку, а потом отыскал и зазубрил определения всех упомянутых Бурнизыен терминов. Все-таки нужно быть благодарным тем, кто нас не любит. Это лучше, чем равнодушие. Развивает. При следующей встрече с Эммой я бойко включил в свою речь понятия парадигмы и дискурса, охотно объяснил ей их значение (теперь, опять, ей богу, не помню) и удовлетворенно отметил, как взгляд Эммы скользнул по чистым карманам моих брюк. Я опять вырвал победу.

Но о великодушном прощении Бурнизыен и речи быть не могло, я все-таки противник примиренчества и уступок. Я, например, не понимаю, зачем было Герасиму топить Муму, если он все равно ушел от барыни. Между прочим, барыня по-своему была права: ей нужен был дворник, а не враждебная по отношению к ней и твякающая в часы ее отдыха собачонка. И Бурнизыен, конечно, приятнее было бы обратить меня в неопита-каббалиста, который составил бы часть ее свиты. Казачок, паж, «член моего кружка», как выражались на нашем школьном дворе. Старшекласники, конечно. Из тех, что, бравирюя знанием женской физиологии, могли предложить вам выпить стаканчик теплой «менсурации». Понятно поэтому – зачем ей мои рассказы? Они ей только мешают, отвлекают от главного, от того, что является главным в жизни по ее представлениям. Утопи, Герасим, собачку (это говорит в моем воображении барыня равинецца Бурнизыен, имея в виду мое писание рассказов), она лает по ночам. И собачка-то – говно, дворняжка какая-то. Безродная псина, уродка малорослая. Слышишь, немой, утопи собачку. Не слышит, покажите ему жестами: взять за голову – и вот так, под воду. Или в мешок. Или веревку привязать к ошейнику, а на другом конце тяжелый камень. Нам в хозяйстве нужен только дворник.

Не буду топить свою Муму! Не признаю утилитарного творчества! Литература – не кормушка для морали! И для духовности – тоже! Не буду писать рассказы ни ликующие, ни врачующие, ни возвышающие, ни подвигающие! Запуская посевной комбайн «разумного, доброго, вечного», утверждаю я, автор художественной формы оскорбляет читательский интеллект, нарушает границы его суверенной личности. «Ни проповедей не хочу, ни самых правильных поучений! – в запальчивости кричу на такого автора. – Ни прямых, ни опосредствованных!» «Кто ты такой, чтобы меня воспитывать?! – ору на него и пихаю его своей неширокой грудью. – Не предложу своим ни читателю, ни читательнице косячка с катарсисом! Не будет раздачи «наркомовских ста грамм» перед встречей с жизнью! Не желаю сооружать словесные бандажии для душевных грыж!» Но продолжая буянить, оставляю я теперь в покое воображаемого автора, с которым только что чуть не подрался и в которого чуть издали не плюнул, и возвращаюсь мыслями к Бурнизыен и на нее наставляю остро заточенную пику своей полемики: «Не хлынет из рассказов моих поток амброзии или веселящего газа, от которого душа женская взмывает в заоблачные высоты, а писа тайно, в надежном укрытии, ликует и поет! Мои рассказы – это мои, стоячие, мужские рассказы! Какие есть! Эмме, между прочим, нравятся. И это все решает».

Господи! Ну, зачем ты послал мне под самое утро этот дикий сон? Будто Бурнизыен забралась ко мне спящему в постель, и когда я проснулся, строгим голосом объявила, чтобы я не смел и думать ни о чем «таком»... что в комнате ее шумят, а ей нужно выпасться как следует перед лекцией (по каббале, разумеется), которую она прочтет, не запомнил, где.

Ух, представляю себе, как она вьет перед аудиторией человек в тридцать (двадцать восемь пар глаз коровьих, две пары прикрытых дремотой) затейливый словесный узор, а-ля длинный-предлинный забор (простите нечаянную рифму). А в конце лекции – этап вопросов, и вот поднимается из середина зала дама лет шестидесяти в розовом кокетливом берете, с тоже розовым шарфом, перевернутой греческой буквой «гамма» наброшенным на вянущую от диет шею, и спрашивает ее о чем-то, на что Бурнизыен отвечает с видимым удовольствием, добавляя в конце или (еще лучше) в начале: «О, это замечательный вопрос!» Но дама в розовом не успокаивается, она сначала углубляется в

затронутую ею тему, а потом и вовсе вступает с госпожой лекторшей в спор, и Бурнизыен начинает беситься, потому что ахиня, которую несет дама-перевернутая-«гамма» обретает все более четкие контуры карикатуры на собственную ее лекцию, и она торопится, поглядывая на часы, завершить мероприятие, приятно улыбаясь всем собравшимся и ссылаясь на знаки, которые ей от двери подает другая дама, ответственная за то, чтобы запереть аудиторию.

Но я отвлекся от сна. Да, я рассказывал, что она потребовала от меня, чтобы я не смел думать «ни о чем таком». Я сказал – хорошо, не стану пытаться ни делать, ни в мыслях иметь ничего «такого», но она протянула руку к середине моего тела (у меня, между прочим, при не очень большом росте – довольно длинные ноги) и проверила, не думаю ли я на самом деле о чем-нибудь «таком», и я во сне ужасно обрадовался, что я не успел ни о чем таком подумать. И она показалась мне удовлетворенной этим и даже придвинулась ко мне ближе, и я смел нужным сказать ей что-нибудь вежливое, ведь она проявила доверие ко мне, и я сказал, кажется, что она «приятная к телу», и она будто бы хмыкнула в ответ, а я подумал: «Ну, почему же ей так не нравятся мои рассказы?» Дальше увидел я в продолжавшемся сне кого-то неназванного, но приходящегося мне старым другом, который, поморщившись, сказал, что в моих текстах слишком много запятых. Потом каким-то чудом попал я на вечер воспоминаний к вдове знаменитого писателя. Людей там была тьма, никто меня не знал, и чтобы не остаться в памяти хозяйки неизвестным нахалом, я старался съесть поменьше треугольных бутербродов с безголовыми тушками шпрот. Скрывая природный окрас (черненное серебро), маслянистые, они золотились, поблескивая в теплоте желтого искусственного освещения. Рокфорными с изумрудной прожилкой шариками (впервые вижу рокфор в шариках!) меня обнесли. Собравшись уходить, я расписался в книге посетителей, подпись свою расшифровал: /Родольфо-Додольфо/, – и направился было к выходу, как раздался звонкий голос вдовы: «Это кто же тут Родольфо-Додольфо?» От вскрика я проснулся в волнении и тревоге, предполагая, высчитывая – хотела ли вдова просто узнать, как я выгляжу, или, обернувшись, увидел бы я, что все гости повернулись ко мне и несогласованно, немного размыто выдохнули: «Ро-о-дольфо-До-о-дольф-о-о!» Набрали воздуха, и громче, веселее, опытнее уже, грянули, синхронизируясь на первой букве: «Ж-ж-жертва Адольфа!»

– Когда я пытаюсь смотреть на свои литературные опыты глазами Бурнизыен, – пожаловался я Эмме, – то они и мне тоже перестают нравиться.

– Глаза Бурнизыен? – спрашивает Эмма, улыбаясь.

– Мои литературные опыты, – отвечаю, смущаясь.

– Смотри на них моими глазами, – шутит она.

Дразнит Эмма (меня). Глазами (ее) предлагает смотреть на рассказы (мои). Они (глаза → ее) дразнят (меня) и смеются (☺). Над вниз стремящейся ломаной молнией ценности (\$, €, £) творчества (моего). Над невысокой стоимостью (\$, €, £) его на бирже (%) взглядов людских (например, равинессы). Смотрю в них (глаза Эммы), дразнимый (ею), вышучиваемый (ею), и сердце (♥), (мое) – растаявшее (~), густое (~), текучее (~). В нем, как в красном озере, могли бы плавать, черным серебром поглевкая, золотом не притворяясь, мелкоголовые шпроты.

22.

Умерла мать. Сначала – тяжелый инсульт, парализована половина тела, искажена речь, потом кратковременная поправка, я даже пробовал ходить с ней по дорожкам реабилитационного центра, вполне ее понимал, затем – удар. Наверно, инфаркт, который ее убил. Так мне сказали. Они не пытались выяснить точную причину, ну и я, разумеется, не настаивал.

Когда она еще была жива и относительно здорова, когда мы решали ее гинекологические проблемы и планировали операцию по удалению катаракты и не думали о более серьезных проблемах, мне нужно было решить после случившегося на книжной ярмарке, как обеспечить безопасность регулярных встреч с Эммой, если это вообще окажется возможным. Я решил приобрести собственное жилье. Без особого труда я внушил матери, что, несмотря на расходы, стоит продолжить снимать ту

квартиру, на которой мы жили до сих пор. Я апеллировал к тому факту, что на новом месте она лишится приобретенных знакомств, привычных и налаженных социальных услуг. Ни того, ни другого, объяснил ей я, не будет в новом городе, заселяющемся по большей части молодыми семьями и людьми среднего возраста. А так – за мной останется та комнатка, в которой я живу сейчас, а во вновь купленной квартире и у матери тоже будет своя. «Мой угол», – так она сказала. Вообще-то, совершенно отдельная комната, уточнил я, но больше не настаивал на своей формулировке. Во-первых, термин «мой угол» больше соответствовал ее жизненной философии, во-вторых, глупо и неприлично воспитывать собственную мать и навязывать ей рационализм, отнимающий у нее пестуемый ею самой образ преданной, нетребовательной и любящей матери. Она сможет навещать меня, сколько захочет, сказал я.

Тайная же часть моего плана состояла в том, чтобы встречаться на квартире матери, неизвестной ни Шарлю, ни самой Эмме (я никогда не приглашал их туда), но довольно близкой к их дому. Я лишь однажды привез к ним мать в гости, в дальнейшем тщательно избегал повторения таких встреч, хотя Шарль, нередко бывавший в детстве у меня дома, несколько раз спрашивал о ней, искренне интересуясь ее здоровьем.

В том, что мать примет горячее участие в обустройстве и поддержании порядка в новой квартире, я не сомневался. Купить же квартиру я намеревался в совершенно новом, очень милом на мой взгляд городке в тридцати километрах от того места, где мы жили. Привозить и отвозить мать я буду на автомобиле, так что у нее не будет возможности «накрыть» нас с Эммой. Таким образом, можно будет совершенно исключить всякую нервозность во время наших предполагаемых встреч. Я не допускал мысли, что Эммой наш роман может восприниматься как приключение, которому элемент риска добавляет остроты и пряности. В детстве я старался сводить контакты Эммы с моей матерью до неизбежного минимума, чтобы не напоминать ей о болезненном для нее безматеринстве (не морщитесь, пожалуйста, отсутствующее в www.gramota.ru, есть такое словечко у Набокова в самом начале «Лолиты», и оно слишком соблазняет меня, записного плагиатора, чтобы им не воспользоваться). Сейчас же я опасался, что горячее желание матери, чтобы моя жизнь наконец «устроилась», войдет в противоречие с беззаконной связью с замужней женщиной, о чьей собственной матери она еще во времена моего детства дважды неодобрительно отозвалась. Дважды, потому что после второго раза я в резкой форме потребовал, чтобы она прекратила эти упоминания. Она посмотрела тогда на меня с жалостливым подозрением, огорченно и обиженно поджав губы. Думаю, в глубине души она всегда недолюбливала Эмму («яблоко от яблони», и прочая чушь, предубеждения старшего поколения – так это я воспринял тогда). Можно с большой степенью уверенности предположить, что она догадывалась о моей детской влюбленности тогда, и сейчас, думаю, питала вполне обоснованные подозрения относительно причин моей семейной неустроенности, и это тоже не добавляло ей любви к Эмме. Поэтому, когда для визита к гинекологу у матери не нашлось сопровождающего, который мог бы перевести для нее диагноз врача, не говорившего ни на русском, ни на идиш, я не обратился за помощью к Эмме, а стиснув зубы и преодолев естественную мужскую неприязнь к любому виду осведомленности о физиологически-женских аспектах жизни их матерей, пошел с ней сам. Доктор после осмотра вышел ко мне и объяснил: она страдает от выпадения матки, это исправимо, но операцию в ее возрасте и состоянии рекомендовать он не может, опасно. Придется обходиться пассивными средствами.

Вот так! Выпала моя родина. Эту проблему она нажила, когда возилась с обездвиженной в глубокой старости собственной матерью, моей бабушкой. Мать всегда гордилась своей способностью переносить тяготы жизни, она даже любила их, я думаю. Хлебом не корми – предоставь ей тяготы, дай возможность проявить героизм. «Я чуть сознание не потеряла, но посмотри, как сверкает унитаз». Одна из тягот ее жизни – моя неустроенность. Теперь еще эти бандажы, перешитые из старых полотенец. Наверное, продаются в аптеке готовые, но с этими самоделками появляется для нее дополнительная забота и тягота. Если Эмма со временем решится на развод, нужно будет постараться перестроить их отношения, довольно с Эммы ее собственных грустных детских воспоминаний. Почувствует ли мать своевременно, что в любом конфликте с Эммой я буду на стороне так тяжело доставшейся

мне любви. Нужно будет как-то дать ей понять об этом заранее, планировал я тогда. Это были сладкие мечты, приятные планы.

Я не хотел оказывать никакого давления на Эмму, хотел дать ей возможность привыкнуть ко мне и надеялся, что со временем она преодолеет сомнения, разведется с Шарлем и выйдет за меня замуж. Думать о Шарле мне было тяжело вдвойне. С одной стороны – я не желал ему зла, с другой – мысль о том, что он продолжит спать на одной простыне с Эммой, я отталкивал от себя как наваждение. Ближе к северу страны есть одно место, где впереди широкого шоссе прямо по курсу автомобиля начинает нарастать стена срезанной горы, и лишь под самой горой дорога разветвляется направо и налево. Мысль об этой простыне появлялась вдруг у меня в голове двойником соблазна не снижать скорость перед стеной, а нажать до предела педаль газа. Однажды (задолго до книжной ярмарки), сделав глупость, я сходил в сауну вместе с Шарлем. В душевой, когда, уже перекрыв воду и открыв внутрь матовую стеклянную дверь, он потянулся за висящим снаружи полотенцем, мне стало на миг смешно при виде окладистой, совершенно черной бороды, под которой висела его мерзость, в то время как голова его и усы были не просто тронуты сединой, а скорее уже захвачены ею. Да, я пожелал все-таки Шарлю, несмотря на нашу многолетнюю дружбу, во-первых, чтобы пушка его тоже почернела как старинные осадные орудия, во-вторых, чтобы стреляла ядрами такого калибра, которые доставляли бы ему столько же удовольствия, сколько узкобедрой женщине доставляет процесс рождения ребенка-богатыря.

Опять я со своей obsessией. В главе о матери. Попробую докопаться до какого-нибудь особенно глубокого воспоминания. Заветная баночка из-под майонеза с лимонными дольками в белом сахаре (тогда о существовании и пользе коричневого сахара никто не знал). Выпуклой стороной ложечки мать уплотняет содержимое, ложечка тонет, и вот уже в нее поверх бортов с двух сторон неспешно втекает сок. Он блестит, он густой. каким буквосочетанием передавался звук, с которым содержимое затонувшей ложечки всасывалось детскими губами? «Сь-о-р-б!»

Мать иногда посещает меня во снах, но я потерял остаток веры в их волшебную природу после того, как мне привиделось во сне, будто у меня из рук на пол выпал карандаш и встал на попа, на несколько покату ю резинку, что было особенно удивительно, и указывал остро заточенным грифелем в потолок. Мне показалось это до того невероятно и смешно, что я во сне просто сотрясался от хохота и думал, что весь мир умрет, надорвав животы, когда я расскажу об этом. Даже Некто, почему-то лежавший на диване в одной комнате со мной и в этом сне притворявшийся спящим, чтобы не заговаривать со мной, так как мы были в ссоре, начал всхлипать, а потом поднял голову, рассмеялся открыто, высказал свои обиды и помирился со мной. Проснувшись, я хотел понять, кто бы мог быть этот Некто (Оме?) и посмаковать приснившуюся мне комичную ситуацию, но поразился ее убогости и своей потусторонней упоенности ею. Я выпил несколько глотков холодной воды из синей бутылки, стоявшей на прикроватной тумбе, и постепенно, не сразу, смирился с разочарованием. Но на седьмую ночь моей «шивы» (в течение которой я начал обрастать бородой) и проходившей в новой квартире, где я показал навесившим меня в числе других соболезнующих Шарлю и Эмме комнату матери, мне приснился сон, из обрывков которого с примесью печального дневного настроения соткался (ворованное применение словечка) рассказ, который я назвал «Сон».

23.

Это был нервный предутренний сон. В нем мне захотелось поесть оладий, которые во сне я называл почему-то блинчиками. Я не стал ни к кому обращаться. Я никогда не готовил ни блинчиков, ни оладий, но решил, что в этом нет ничего сложного. Я насыпал муки и налил воды. Тут мой сон, видимо, стал крепче, и я потерял контроль над процессом в то время, когда я что-то размешивал.

После короткого провала связь восстановилась, и я вернулся к блинчикам. Но тут я с раздражением и даже отвращением обнаружил, что замес я сделал прямо в кухонной раковине. Я вырвал пробку из слива, и капля села мне на лицо как мокрая муха. Я вытер ее рукой, но продолговатый след остался на тыльной стороне ладони и, видимо, на

правой щеке. Усилием сонного рассудка я достал глубокую тарелку и снова принялся что-то размешивать в ней. Этот процесс отлетел в сероватую даль, и я опять остался без вождельных оладий.

Я обратился к матери, и уж очень быстро, почти сразу передо мной появились сложенные стопкой блины. Но это были странные блины. Это были именно блины, а не заказанные мною оладьи. То есть они были не величиной с пол-ладони (я вспомнил, что для этого белую смесь выливают на шипящую сковороду из столовой ложки). Эти были величиной со сковородку. Мать тысячу раз в детстве делала мне оладьи величиной с пол-ладони. Чего вдруг сейчас она испекла мне этих лопухов? Да ладно, какая разница? Нет, разница есть – я проиграл в количестве завернувшихся кверху чуть пригоревших ободков. А они-то и создают все понятие об оладьях. И я хочу «оладей», как называла их бабушка, а не оладий. Но я не хочу сердиться на мать во сне – ведь в жизни она умерла.

И вот она уже пригласила кого-то убрать дом. Но почему я слышу голоса? Была свободна целая бригада, и ее привезли целиком, чтобы закончить быстрее, соображаю я. Одну из работниц я вижу со своего дивана – она шваброй толкает перед собой осколки чего-то знакомого. Я напрягаюсь – понять, чего именно. От этого напряжения я вот-вот проснусь. Это осколки вазы. Но я не проснулся, и я уже слышу крики – это начальница этих работниц кричит на них. Наверное, из-за разбитой вазы, а может быть, они и еще что-то успели натворить. Не знаю, ведь я лежу почему-то на диване, а не в своей постели. И тут на диване я обнаруживаю, что я не один. На этом диване я обнимаю кого-то. Кого? Одну из работниц? Ту, что толкала шваброй осколки вазы? Она податлива, мягка, в ней нет напряжения. Но она не смотрит на меня. Я и наяву ни за что не пойду на связь с женщиной, которой я неинтересен. Передо мной дилемма – немедленно прекратить это или сказать ей что-то такое, что ее удивит? Самолюбие побеждает, и я что-то говорю ей, что делает ее тело теплым.

Видение исчезает. И я уже не на диване, а захожу в комнату к отцу. Он приподнимается на локте и смотрит на меня тем обузданным взглядом, которому научаются отцы, когда их сыновья становятся взрослыми мужчинами, или даже немного раньше. Отец умер на десять лет раньше матери, и я ощущаю совсем забытое мною чувство, что есть кто-то по определению старше меня, по отношению к кому мое место заведомо ниже в иерархии мужских отношений. Пока я переживал это знакомо-забытое ощущение, комната с отцом перестала существовать, я уже опять лежал укрытый одеялом в своей постели, а на другой ее половине была та, которая и должна там быть. Не продирая глаз, я пробормотал, что я еще сплю, но мне уже хочется куснуть ее пониже спины. Но и это все еще был сон. Я на самом деле ее никогда ни так, ни хотя бы в «верхнюю треть», и вообще никак не кусаю. Это только угроза, утренний укол любви.

Наконец я заставил себя проснуться. Побежали наперегонки желание потянуться и опасение, что сведет икру и тогда придется немедленно вскочить с постели на холодный пол или упереться ногой в стену, возвращая на место два выпрыгнувших вперед пальца, и ждать, пока утихнет боль в мышце. Я благополучно справился с соблазном и угрозой, прошел в ванную комнату, чтобы первым делом, почистив зубы, освежить рот и глотнуть воды. По дороге к раковине и полке, на которой лежат щетка и паста, я провел пальцем по запотевшему оконному стеклу. Палец остался сухим. Всю ночь работал кондиционер. Я приоткрыл окно, чтобы убедиться: влага осела на внешней стороне стекла.

24.

Будучи весьма неторопливым, я умею в некоторых случаях развивать бешеную энергию. Тогда же, после книжной ярмарки, я, может быть, и мучился бы гораздо сильнее угрызениями совести из-за шарля, если бы во мне не засел настоящий бес. Какое там, засел! Колотил меня копытами в кишки, в селезенку, чтобы я разворачивался быстрее, оформляя ипотечную ссуду, чтобы не перебирал слишком, осматривая квартиры. В полторы недели все было решено, и я стал владельцем пятикомнатной квартиры в двух уровнях в доме на холме, на седьмом-восьмом этаже с лестницей и джакузи. Эмма спросила, удобно ли это –

два уровня. «Нормально, – ответил я с гордостью, – вот только всякий раз, когда спускаешься на нижний этаж, – уши закладывает». Ах! Эта улыбка! Это растяжение губ!

Из окон двух спален моей новой квартиры в хорошую погоду можно было в бинокль разглядеть очертания Тель-Авива, из салона и третьей спальни – гроздя иерусалимских пригородов, из четвертой – отлично видна долина. Зачем нужна была мне такая большая квартира? Во-первых, холм, просторы – внутренний и внешний – дали мне ощущение небывалой свободы; во-вторых, городок был новеньким, удаленным от столиц, жилье в нем пока было намного дешевле, и грех было этим не воспользоваться; и в-третьих, если надежды мои сбудутся и я уговорю Эмму родить мне ребенка, я так постараюсь, верилось мне в ту пору, что родятся близнецы, а может быть и больше, например, три сестренки, похожие на мать, и у каждой будет с самого рождения собственная комната, у двух – с видом на Тель-Авив, у одной на Иерусалим.

Когда я впервые после ярмарки, появился у Эммы с Шарлем (я был нервозен и суеверен в преддверии этого первого появления у них, боясь, что оно может определить раз и навсегда характер моих будущих отношений с Эммой, да, не дай бог, не в том направлении, о котором мечталось), и мой возбужденный рассказ Шарлю о холме, о доме, о видах из окон так распалил меня самого, так удивил Шарля, что Эмма, не сразу вышедшая к нам и, видимо, прислушивавшаяся из соседней комнаты, появилась уже с улыбкой на губах и поздравила меня. Она, конечно, поняла причину моей спешки и моего нервного возбуждения, и моему ликованию не было предела, когда ее насмешливая улыбка сказала мне: «нет, тем, что было, может быть, и не кончится».

Первым делом, я приобрел холодильник, а затем комплект мебели для материной комнаты. Он ей понравился, явно еще приятнее ей было думать о нем, когда мы вернулись в старое наше жилище, и она обвела взглядом бывший в многолетнем употреблении мебельный скарб, частично с момента нашего вселения имевшийся на съемной квартире, а частично подаренный соседями или привезенный с муниципального склада поддержанных вещей, организованного местными властями для помощи новым репатриантам. Я поторопил мать – нужно было определиться, какую часть гардероба она перевезет на новое место, а что останется на съемной квартире. Наконец, я перенес ее чемодан в багажник автомобиля, вместе мы заехали в привычный супермаркет за продуктами и через час, чуть меньше, я уже оставил ее хозяйничать, якобы торопясь вернуться на работу, но уже выйдя из лифта, я позвонил на работу Эмме, во время набора номера и ожидания ответа снова представив ее и проходящей мимо дерева в медальях, и мимо растения в очках на стволе с большими резными листьями, и тянущейся из вращающегося матерчатого кресла к светло-серым квадратикам кнопок осциллографа или спектрального анализатора, на которых что там написано? «Mode», «Sweeper», «Trigger». Я жду ее на старой квартире, сказал я прерывающимся голосом, я объяснил все свои расчеты, назвал адрес, но когда она вошла, я почувствовал, будто я до звона в ушах торможу перед той самой стеной на севере: когда в глазах у Эммы слезы, мне кажется, что это я родил ее, и я умираю от сочувствия и жалости.

Она, сняв туфли, прилегла на мою кровать, а я устроился возле нее на полу, гладил ее руки и пытался рассмешить. Я напомнил ей – неделю назад на экранах телевизоров мы видели Наполеона (Оме сообщил нам заранее о часе, когда пойдет передача с участием его племянника), он стоял на фоне нового участка бетонной стены, отгородившей страну от палестинцев, и проникновенно декларировал: «Кто же захочет лежать у себя дома на травке, когда перед собой он видит такую высокую, гадкую стену»? Интересно, как было запланировано сказать – «гадную» или «гладкую»? Но с Наполеоном никогда нельзя быть уверенным, куда он повернет.

– Как это печально! – прокомментировала телеведущая, когда племянник Оме исчез с экрана телевизора, а она вернулась (и повернулась от своего студийного экрана к нам, телезрителям, с выражением озабоченности на очень милом ее лице).

Но сегодня, рассказывал я Эмме, стараясь снять напряжение, в котором находились ее душа и тело и продолжая поглаживать ее руку, худощавую, как вся она, родную, ту самую, умелую, которую навсегда запомнил чинящей замок моей куртки, в YouTube появился ролик с

продолжением. Я повернул к ней лэптоп и нашел ссылку. На фоне все той же стены профессиональная телевизионная съемка представила широкую улыбку Наполеона. Для начала он без единой запинки и ошибки (у него великолепная память) процитировал разученный с ним отрывок из «Улисса» (моя работа, однажды мне стало скучно, я нашел Наполеона на кухне пьющим томатный сок и несколько раз повторил ему этот чудный бред в пику левацким взглядам его дядюшки):

– «Бедняки отдыхают с голоду, а они себе откармливают своих королевских оленей, они себе стреляют базанов и фекасов, купаются в золоте, плавают в платине. Их барство таит коварство, а наше государство это их царство, и до каких же пор, товарищи, это кошмарство...» – все это Наполеон выпалил на едином дыхании, хотя голос его немного пресекался, видимо, у оператора, державшего шест с микрофоном, дрожали плечи, и их нестабильность ему не удавалось амортизировать локтевыми и кистевыми сочленениями рук. Было непонятно, как Наполеон перешел к этой цитате от темы защитной стены, может быть, Оме затронул социальную тематику в беседе с телевизионщиками.

Дальше – хуже. И снова – моими стараниями. После разрушения еврейских поселений в Газе, я сочинил и разучил с Наполеоном короткую сценку, пародирующую устроенный поселенцами и глубоко оскорбивший мои обретенные здесь патриотические чувства спектакль «изгнания». Уже определившись к тому времени со своим собственным отношением к тому, что именовалось международной прессой «ближневосточным конфликтом», я не сочувствовал поселенцам. Шансы на возрождение еврейских Иудеи и Самарии при сложившихся в результате многолетней борьбы (освещаемой всеми мировыми средствами массовой информации) нынешних обстоятельствах я оценивал не намного выше, чем реальность возрождения Византийской империи греками. Сравнение нынешнего поселенческого движения с вызывающими во мне искреннее восхищение пионерами конца 19-го, начала 20-го веков, когда в Европе и Америке проживали восемнадцать миллионов евреев, а в богом забытой Палестине – менее миллиона арабов в средневековых деревнях, не выдерживало в моих глазах никакой критики. И все же я испытывал тот вид уважения к поселенцам, который автоматически полагается всяческим пионерам, берущимся за казалось бы совершенно неподъемное предприятие из идеалистических соображений и не практикующим при этом жестокости по отношению к тем, кто стоит у них на пути. Я и сейчас верю, что жестокости и грубого насилия с их стороны, по настоящему, не было никогда, если не считать нескольких законспирированных групп кретинов или не вполне душевно здоровых одиночек-энтузиастов. Тем глубже было мое разочарование, когда телевидение транслировало «душераздирающие» сцены выселения и слезливых прощальных молитв, наклепленные на одежду желтые шестиконечные звезды. Хорош авангард, думал я тогда. Я был одним из миллиона, правда, добровольно прибывших сюда репатриантов, но без языка (многие и сейчас еще на иврите двух слонов не свяжут), без связей, без денег, тем более таких, какие полагались поселенцам в виде компенсации. Были, конечно, и в нашей среде многия стенания и жалобы на одномоментное обнищание и потерю положения и социального статуса, но они не выплеснулись на экраны телевидения такой мощной и безобразной волной. Я мало связан с армией, мой жалкий трехмесячный опыт, практически – курс молодого бойца, и тот – для будущих офицеров, не позволяет мне рассуждать на военные темы, но мне всегда казалось, что во внезапной успешной атаке с гиканьем любая банда, любой бандитский сброд выглядят удало. Настоящая армия испытывается при отходе. При всех справедливых оговорках, не забывая Черчиллева замечания: «идеальные солдаты, идеальные рабы», – трехлетнее отлично организованное немецкое отступление во Второй Мировой войне являет собой опыт, отчет о котором стоит перелистать. Надо сказать, что неприязнь вызвало у меня и освещение этих событий прессой, в соответствии с чистопородным социал-демократическим инстинктом теперь выражавшей сочувствие «преследуемым». Я, недавний гражданин «страны победившего социализма», не в состоянии был видеть в этой «солидарности со страждущими» ничего, кроме лицемерия, демагогии и фальши. Особенно, когда выражают ее рафинированные «борцы за права угнетаемых», с последними не имеющие ничего общего и профессионально на них паразитирующие. Ух, сколько во мне, однако, накопилось

гражданственности! Я-то думал, что мои мысли заняты исключительно Эммой.

Так вот Наполеон воспроизвел перед камерой разученный при моей режиссуре весьма рискованный с точки зрения хорошего тона (признаю это) спектакль: он сначала выпятил грудь и раздул щеки, изображая дюжего русского солдата, выводящего из немецкого концлагеря исхудавшую еврейскую женщину, кричащую: «Оставьте меня! Здесь мой дом. Это моя земля! Я прожила тут целых два года! Здесь регулярно топят и делают дезинфекцию!» Суровый русский солдат, представляемый Наполеоном, пускал скупую мужскую слезу. Наполеон был великолепен в этом кощунственном спектакле, который я никогда не предполагал увидеть вынесенным на публику. Надо сказать, что пусть гораздо меньше времени, но телевидение все же показывало и других поселенцев, как правило, из тех, что понесли там, в Газе, тяжелые личные потери. Они смотрели на происходящее молча, с прямыми спинами, с тем спокойным достоинством, которое так подкупает меня, чем дальше, тем больше во всей этой затее с собственной страной и государством. Эти, получив приказ об отступлении, выполнили его, скрыв эмоции от телекамер.

Но и этим не кончилось. Наполеон, почувствовав, что захватил внимание телевизионщиков, сменил декорации. Теперь он уже изображал совсем недавние события – депортацию детей иностранных рабочих. Вернее, мою интерпретацию событий. Очень похоже изобразив министра и, произнеся его знаменитую фразу: «Этих деток на родине ждут не дождутся их бабушки и дедушки», – он теперь согнулся в три погибели, изображая корреспондентку с микрофоном, наклонившуюся над ребенком.

– Правда, ты привык к своей учительнице? – спрашивал он плаксивым голосом, и сам же себе согласно кивал в ответ и на этот вопрос, и на следующие.

– Ты очень любишь ее? Тебе тяжело было бы, если бы тебя перевели в другой класс, где совсем незнакомые детки? – Наполеон-дитя все больше огорчался.

– А ты знаешь, что решили твои родители вчера на вечернем совещании в салоне у телевизора?

Наполеон-ребенок отрицательно покачал головой, а Наполеон-журналистка залился «слезами», быстро, как я его учил, лизнув палец и нанеся влажные следы на щеки.

– Они решили переехать всей семьей из Петах-Тиквы в Ришон ле-Цион.

Наполеон не по-детски заломил руки.

– Я надеюсь, тебе хотя бы дадут возможность попрощаться с фелисите, с которой ты целый год сидел за одной партой.

– Бат зона! (Сукин сын в женском роде – ивр.) – отреагировал Наполеон. – Украла у меня линейку.

Он выпрямился, выдержал долгую паузу, глядя прямо в камеру.

– Как печально, – заключил он свой спектакль замечанием, идеально воспроизводившим глубокий грудной голубиный голос телеведущей.

На этом ролик заканчивался. Эмма попросила показать его ей еще раз, но потом передумала, и сказала, что посмотрит сама дома, а теперь ей пора возвращаться на работу. Она уже расслабилась и смеялась, и хотя этим и ограничилась наша первая встреча в приготовленной мною любовной западне, у меня было ощущение, что отступив, я все же не допустил разгрома своих позиций. Я остался дома и написал рассказ «Между июлем и августом», который послал ей вечером по электронной почте, и в котором после серии отвлекающих маневров в самой последней фразе я перешел в наступление, намекая, как желанна и дорога мне ее любовь, как мечтаю я о тихой семейной жизни с ней, с моей несравненной Эммой.

25.

Все было очень устойчиво. Люди были похожи друг на друга как две капли воды. Неумные головы были набиты таким громадным количеством штампованных правильных мыслей, что от умных голов их было не отличить. И действовали все люди похожим образом. Расскажут в теленовостях, что муж убил жену и покончил с собой, и вот уже неделя за неделей – мужья убивали жен и кончали с собой. Потом происходил мини-переворот: один какой-нибудь убивал жену, но с собой не кончал,

и заводилась новая шарманка – следом семь мужей убивали жен и все оставались в живых.

Телевизор. Новости. Телеведущая. Очень приятная. И на другом канале – другая ведущая, но тоже приятная. И на третьем – очень приятная. Одна телеведущая расскажет что-нибудь такое про мужа и жену и грустно головой покачает, и вторая покачает, и третья – обязательно покачает и скажет: «Как грустно».

Также манера по телевизору говорить о покойных была окована устойчивой традицией. Обязательно нужно было сказать в камеру: «Он всем помогал». Убивал муж жену и неважно, покончил он с собой или остался в живых, о жене говорили, что она любила всем помогать. И знавшие мужа сотрудники, рассказывали: «Хоть и убил жену, но любил помогать. На работе никогда кофе или чай не готовил только для себя одного, всегда спрашивал, кому еще принести. И не из вежливости только спрашивал, а на самом деле приносил, кому чай, кому кофе в бумажных стаканах. Справлялся у каждого, сколько сахара класть». Про кофе и сахар сотрудники могли бы еще и не упомянуть, но обязательно сказали бы: «Жену убил, но всем помогал».

В этих условиях только от приезжего человека можно было ждать разнообразия, способности под неожиданным углом взглянуть на привычную повседневность. Прилетал такой человек, например, 8-го марта в разгар хамсина и говорил: «Господи, если 8-го марта такая жара стоит, что же будет в июле или в августе?»

И вот именно на границе июля и августа случилось: все неожиданным образом вдруг переменялось, все вдруг стало не так. Большое полотенце, висевшее рядом с душевой кабинкой, осталось белым, но стало мраморным. Его теперь можно было разве что снять с крюка (как только он выдержал такую тяжесть?) и, напрягаясь и краснея от натуги, походить с ним по спальне. Прозрачный пластмассовый цилиндр, в котором хранился градусник, больше не открывался. Даже видимого глазу шва там, где раньше была граница между колпачком и корпусом, теперь не было. Корпус был совершенно цельным, и 37.2 градуса на самом градуснике, конечно, отражали не нынешнюю температуру внутри прозрачного корпуса, а были памятью о февральской простуде.

Не стоило в таких условиях рисковать, опрыснув себя с приближением темноты жидкостью против комаров из баллончика, который выглядел неизменившимся, так что крышка его снималась как обычно, и под ней была все та же кнопка, ступенчатостью напоминающая Вавилонскую башню. Но ведь жидкость в баллоне теперь-то (кто его знает?) может меня и убить, и тогда моя жена в этом изменившемся мире останется одна-одинешенька.

26.

В следующие посещения Эмма, приходя, сразу устраивалась на моей кровати, словно привыкая к ней. Я, как и в первый раз, усаживался перед ней на пол, брал ее за руку и пытался смешить. Так, я выяснил, что она тоже знает (видела в новостях) о мужском, не связанном с резиновыми изделиями методе предотвращения беременности, предложенном австралийскими исследователями, и слышала комментарии местного специалиста, недоумевавшего, как может прижиться контрацепция, основанная на предотвращении эякуляции, в то время как ощущение мужского оргазма вызывается именно продвижением семени по стволу. Эмма предположила, что исследование проведено злостными-злостными австралийскими женщинами. Мне понравилось явно прозвучавшее в ее голосе сочувствие, но я повернул в другую сторону. Что может помешать изобретательному мужчине, спросил я Эмму, получившему сведения о механике оргазма, подключиться теперь к водопроводу, отвернуть кран и пребывать в состоянии нескончаемого блаженства, не все ли равно «стволу», какая жидкость продвигается в нем – семя или обеззараженная вода? У меня нет знакомого доктора, сказал я, чтобы обсудить с ним технические детали данного предположения. Эмма засмеялась, ее глаза выразили сомнение в моей готовности променять ее на водопровод. Шутя, я предложил выяснить у Бурнизен, нет ли в Каббале каких-либо разъяснений на сей счет.

К моему удивлению, развеселившаяся Эмма тут же набрала номер равинессы. Я затаился, опасаясь каким-нибудь способом, чиханием или кашляньем, выдать свое присутствие. Настоящий же испуг, словно

изморозью зеленую травку на секунду охладил мою кожу и подморозил все мои внутренности, потому что я не знал раньше за Эммой подобной отчаянной отваги. Я испугался за нее. Да, я замер и съежился из-за опасения, что произошедшее между нами произвело какие-то неизвестные мне сдвиги в ее в психологических настройках, в общем строении ее личности. Ведь я ничего, абсолютно ничего не хотел в ней менять.

Назначив равинессе дату и время следующей встречи, нахмурившись, отвечая, видимо, на вопрос о Шарле («хорошо»), уточнив еще в подробностях явно мало интересовавший ее рецепт приготовления круглого с хрустящими ломкими краями лимонного пирога, принесенного Бурнизьен в ее последний визит, и размягчившись в течение разговора о муке, яйцах, соде, соли и т.д. после напряжения, вызванного упоминанием о муже, Эмма задала, наконец, вопрос, ради которого был затеян этот звонок. Когда разговор закончился, Эмма приснула: «Она очень заинтересовалась. Кажется, ее мужу теперь не избежать по крайней мере иголки в пенисе». Мы смеялись вместе и по очереди, но я настороженно наблюдал за ней, опасаясь, как бы дело не закончилось слезами. Но пока – мы искренне веселились. «Инфузия в член? – повторил я. – Это не водопроводный кран, это стерильно!» «Это так не эгоистично со стороны Бурнизьен!» – покатывалась на моей кровати Эмма, а я смеялся и одновременно смотрел как замороженный и пытался запомнить, как собираются и расправляются складки платья на ее бедре, которое в тот момент никак не ассоциировалось для меня ни с функцией деторождения, ни даже с угаром сладострастия, а только восхищало своим совершенством. В поле моего зрения попадали то ее коленные чашечки, то удлиненные гладкие икры, то босые ее ступни, и я поражался и не верил своим глазам, что арендуемым временно залом этой заезжей экспозиции человеческого совершенства служит мое холостяцкое ложе в убогой съемной квартире в убогом еще более доме на столбах.

В дверь постучали. Это был сосед по лестничной площадке. Славный, добродетельный, непритязательный, обходительный. Только хорошее могу сказать о нем после нескольких лет соседства. Он говорит мне:

– Доктор, нешама! Капара алека! (выражения, характерные для выходцев из стран Магриба, придающие речи оттенок сердечности – ивр.) никогда не пробовал этого... но если и сам доктор, и его подруга... то и мне захотелось той лечебной травки, о которой столько разговоров и которую показывают в фильмах по телевизору.

– Но я вовсе не доктор, – ответил я, – с чего ты взял?

– Ты похож на доктора, мотек! (выглядит калькой с английского «Noney!»), – сказал сосед, и против этого мне возражать не захотелось.

– Нет, нет, мы просто смотрим очень смешной русский фильм, там про... ну, неважно. Не дублирован, и титров нет. А этих дел мы не употребляем, мы привычны к винам и коньякам.

– Понимаю, все русские – немножко снобы. – Именно так он охарактеризовал последнее мое заявление.

«Сноб» в устах моего соседа – термин, не относящийся к фальшивой элитарности, скорее – этнический, как можно судить по этой его фразе. Я еще попросил его не обсуждать с моей матерью нашу сегодняшнюю встречу и беседу.

– Фильм не вполне приличный, хотя откровенных сцен в нем нет, – добавил я, и сосед понимающе подмигнул мне. На том и расстались.

– Ты знакома с мужем Бурнизьен? – спросил я, вернувшись к затаившейся во время моих переговоров с соседом Эмме.

– Видела пару раз у нее дома.

– Какой он? Она его любит? – я внутренне поежился от собственного не слишком обдуманного вопроса, как будто вербовавшего Эмму и предлагавшего ей совершить акт шпионажа в доме, куда меня ни разу не приглашали.

– Знаешь, кто ее любимый литературный герой? – вместо ответа спросила Эмма после паузы.

Я пожал плечами.

– Она как-то очень тепло рассуждала о Мите Карамазове.

– ???!!!☹☹☹

– Только муж ее, он такой... интеллектуальный шалопай, очень добрый, мне показалось.

– То есть его можно любить в христианском смысле слова, – обрадовался я своей внезапной догадке, – и по-иудейски немножко

тиранить? Любящая еврейская мама и ответственная патронесса-монахиня католического приюта для сирот?

Эмма смеялась, а я гордился своей проницательностью.

– А как с любовью, ну такой... с желанием... до влажных трусиков?

Я перешел границу дозволенного – обращенная ко мне улыбка оставалась мягкой и нетребовательной, но Эмма будто силилась присыпать ее тонко натертым швейцарским нейтралитетом.

– А как его зовут? – я избавил Эмму от ситуации, понуждавшей ее принимать какое-то решение относительно ответа мне или отказа в нем.

– Не знаю, – после заминки удивленно ответила Эмма, и приступ смеха, совершенно сумасшедшего, напал на нас обоих.

– Ну, и что тут смешного? – мне удалось, внезапно перестав смеяться, очень похоже воспроизвести интонацию Бурнизьен, с которой она уже пару раз и с этим в точности вопросом серьезно обращалась ко мне.

Эмма от неожиданности виновато затихла, а когда я повторил теперь уже ее собственное по-детски испуганное выражение лица, снова залилась икающим безудержным смехом.

Я был полон снисхождения к равинессе – откуда ей знать, сколько лет уже все, что делаю, я подстраиваю под вкусы и настроения Эммы, насколько мне удастся их понять и почувствовать.

«Я, увы, – стандартная человеческая особь, – добавил я, – и это, возможно, приземляет мои рассказы, но я испытываю инстинктивный ужас перед семьей, в которой главенствует женщина». Ах, Эмма, Эмма! Ну почему ты так весело ухватила за мою нечаянную фразу и стала охотно обращаться ко мне, используя это нелестное определение? «Стандартная личность! – восклицала ты. – Не вспомню, где я бросила часы». «Наверно, на кухне, когда мыла свой дежурный помидор», – отвечал я, стараясь не показывать смущения.

Однажды выяснилось, что Бурнизьен обожает Бунина. Я же всякий раз, перечитывая его рассказы, почти сразу начинал ощущать беспокойство, быстро перераставшее в протест. Интуитивно я догадывался и о причинах, и о поводах своих тревоги и неприятия, но долго не мог сформулировать их с достаточной четкостью. Бунинская скорость перехода к «главному» в любви отвращала меня от его рассказов. На подходы к Эмме у меня ушли многие годы, в этих моих записках – к подвалу стоянки ведет едва ли не половина текста. Длинный-длинный, петляющий, скользкий след оставлен в литературе Гумбертом Гумбертом, подбирающимся к Лолите. И вот только недавно отчеканилась в моей голове мысль, что напористость прозы Бунина кажется мне родственной предсказуемой решительности легендарного поручика Ржевского, его новаторскому духу в вопросах светского этикета. Если доверить этому великому русскому военному формулировку моих ощущений, вызываемых бунинской прозой, он, наверно, как всегда, быстро справился бы с задачей, заявив твердо, без обиняков и без колебаний: «Едва перевалишь через название рассказа, и сразу находишь, что он (этот самый Бунин) без всякой артподготовки уж подскакал, куда нужно было, уже вынул из ножен, что полагается, и трах – засандалил кому следует. По самые помидоры!» Я поделился своей литературоведческой находкой с Эммой и Бурнизьен, конечно, извинившись перед дамами за дикое и безобразное высказывание поручика. Эмма смеялась, Бурнизьен – нет. Она сдержала возмущение и промолчала, я уверен, – только потому, что не хотела ставить в неловкое положение засмеявшуюся Эмму, иначе досталось бы мне за писателя Бунина.

Успокоившись, мы еще посплетничали по поводу Бурнизьен. В связи с разговором о ней Эмма вдруг вспомнила и рассказала мне историю про такое давнее осуждение на школьном собрании нашей одноклассницы кармен за тогда непристойным считавшееся ношение ею капроновых чулок, и я зажегся тут же идеей отыскать в ближайшие выходные где-нибудь на блошином рынке и подарить Эмме те самые пристойные плотные чулочки с рубчиками, которые носились нашими одноклассницами в те времена. Конечно, я их отлично помню на тебе, сказал я, и Эмма, неожиданно порозовела, ужасно очаровательно. Насчет «порозовела» мне могло и показаться, а на очаровании ее я помешан уже столько лет.

Я спросил ее, каково быть женщиной, которая знает, что ее все любят. «Но ведь почти всем удается это скрывать», – ответила она. Я искал оттенок сожаления в ее ответе. И не нашел. Или неохотно искал? Ободренная духом нашей сиюминутной близости, склонная в этот момент к откровенности самого интимного свойства, Эмма рассказала о новых

высказываниях равинессы относительно моей персоны. «Зачем это? А это зачем?» – вроде бы спрашивала она Эмму о тех или иных моих рассказах или о некоторых фантастических кусках в них. Иногда, да простят меня милые дамы, мне кажется, что мужское сознание натренировано гораздо лучше на поиск и наслаждение бесполезной красотой, женское же восприятие мира чаще бывает утилитарно и небескорыстно, женская жажда высокого и духовного как-то странно связана со стремлением его немедленного практического применения. Женщины, мне кажется, с большим энтузиазмом знакомятся с перепиской своих литературных кумиров, нежели с их произведениями, а отыскав в произведениях или письмах духовные ценности, пытаются тут же прижечь ими нашу чувствительную совесть, наше болезненное самолюбие. Но, конечно же, сказанное ни в малейшей мере не относится к Эмме. Нет, нет и нет.

Запомнилось еще вот это из переданных мне Эммой критических высказываний Бурнизыен: «Джойс для него, что для кота – пузырек с валерьянкой, вот только не знает, как открутить крышечку. Ходит вокруг, м-я-а-у, м-я-а-а-у...» Запомнилось, потому что показалось мне справедливым, а также потому, что когда женщины мяукают, это у них всегда замечательно хорошо получается, и у Эммы – тоже вышло очень соблазнительно, хотя она в данном случае изобразила равинессу, пародирующую меня самого. Почему Бурнизыен меня не терпит? Из-за религии? Напоминаю ей что-то неприятное? Что-то похожее на историю с капроновыми чулками Кармен из ее собственной юности? Я не стал расспрашивать Эмму, какие мои рассказы она прочла равинессе. Дружат женщины – и ладно.

27.

В следующий раз, когда я ждал Эмму, и мне уже казалось, что она запаздывает, и я начал беспокоиться, не произошло ли с ней что-нибудь в дороге, я вдруг понял, что один из голосов, какое-то время доносящихся с лестничной площадки, как раз Эмме и принадлежит. Я открыл дверь и увидел ее беседующим с моим соседом. Он вежливо извинился передо мной, за то, что задержал мою знакомую, и ушел к себе, а при следующей встрече сказал мне:

– Какая красивая женщина. Повезет тому, чьей женой она будет. И по-моему, у нее золотое сердце.

Я согласно кивнул. Значит, он успел поинтересоваться ее семейным положением, и Эмма ему соврала. Никакой дополнительной информации я не предоставил моему соседу, но через день закончил рассказ, который так и назвал: «Сердце». Ничего в этом рассказе не соответствует характеру моего милого соседа и не является изложением истории его жизни или наших с ним отношений. Просто написал, как высказался, что называется – в сердцах.

Иногда имя и фамилия твоего соседа бывают настолько симметричны, например Анри Андре, что живешь с человеком бок о бок годами, а встретив его утром, впадаешь в панику, что же ему сказать: «Привет, Анри!» или «Привет, Андре!» Но в случае с моим соседом я никогда не путался, потому что в его имени-фамилии нет симметрии. Я познакомился с ним, когда он возник на пороге съемной квартиры, в которой я проживал в то время, и сказал, что шум, производимый моим кондиционером, мешает ему спать. Я ответил, что если выключу кондиционер, то спать не смогу я, и оставил его включенным. На следующий день я вызвал мастера, тот передвинул кондиционер на другое место, сосед за это был мне чрезвычайно благодарен, и мы стали с ним почти друзьями.

Оказалось, что и мой приятель знаком с ним. Они работают в одной фирме и даже вместе ездили в командировку в Америку.

Там, в Америке, сосед мой, чтобы сэкономить на парикмахере, попросил приятеля постричь его. Приятель ответил, что не умеет стричь людей. Подровнять конскую челку он, может быть, и согласился бы, а человека постричь он не сумеет. Сосед сказал, что дело это пустяшное, и он объяснит, как это делается. Приятель ответил, что отрезанные волосы застрянут в ковровом покрытии гостиничного номера.

– Тогда – в ванной комнате, – сказал сосед.

– Там не развернуться, – ответил приятель.

– Мы поставим стул в самой ванне, и я сяду на него.

На это предложение у приятеля нашлось сразу два возражения – стул будет скользить в ванне, а волосы забьют сливное отверстие. Он с тоской подумал, как же он отобьется от предложения стричься, сидя на унитазах, но тут сосед заподозрил, что мой приятель просто не хочет его стричь. Он не обиделся. Это не в его правилах. И они вместе пошли ужинать в Макдональдс. В кошельке соседа не нашлось достаточно денег, чтобы расплатиться. Приятель хотел рассчитаться за двоих, но сосед мой не согласился. Он расстегнул поясной ремень, самую малость приспустил брюки на глазах удивленных посетителей и служащих и достал из потайной холщовой сумочки на ремешке купюру в двадцать долларов. Заведение, конечно, было некошерным, но сосед мой спохватился только когда насытился, и вытряхнул из картонного стаканчика на поднос последние несколько чипсов. Он посокрушался немного, ведь не будучи религиозным ортодоксом, он все же строго соблюдает еврейские традиции.

В принципе, – очень удобный в общении, хороший и добрый человек, согласился приятель с моим мнением о соседе.

Когда мне пришлось менять квартиру, сосед пришел на помощь. Его родственники как раз сдают свое бывшее жилье, оно стало тесно для них после рождения четвертого ребенка, – таковы были его сопутствующие пояснения. Люди они с широким сердцем, – так отрекомендовал он их самих. Я осмотрел квартиру. Она была на нижнем этаже, унитаз в туалете был с трещиной, а стена одной из комнат, видимо, бывшей веранды, представляла собой просто жалюзи во всю стену. В квартире еще жили новые репатрианты из России.

– Вы нашли вторые ключи от входной двери? – спросила между делом хозяйка молодого человека.

– Я нашел, нашел и не нашел, – на вновь изученном языке, иврите, ответил молодой квартирант.

– Так, где же ключи? – переспросила она.

– Я нашел, нашел и не нашел, – снова огорченно повторил безответственный квартиросъемщик.

– Он искал, искал и не нашел, – объяснил я хозяйке. Мой иврит к тому времени был гораздо лучше.

– Какова сумма месячной квартплаты? – поинтересовался я.

Женщина назвала сумму. Раздражение волной поднялось во мне откуда-то из желудка и, видимо, отразилось на лице, хотя я не успел произнести ни слова, и потому она спросила, внимательно глядя мне в глаза, за сколько я готов снять квартиру.

– Разве что бесплатно, – буркнул я. («Широкое сердце»... ну нет его у меня).

По выражению лица моего соседа я не сумел понять, пожаловалась ли родственница на мою грубость. Он, во всяком случае, своего доброго отношения ко мне не изменил. Сказал, что на случай, если, не дай бог, погибнет в автомобильной катастрофе, он завещает мне свое сердце.

28.

Однажды равинесса с большим возмущением отозвалась об одном современном русском писателе, которого болезненная любовь к российскому империализму и фанатичное желание вредить заокеанским конкурентам (как теперь называют в России американцев? ага, «пиндосами») и их местным ближневосточным «клеветам», то есть нам, довело до панегириков «Хизбалле» и Ахмединежаду. Мне показалось, что называя этого господина русским писателем, Бурнизыен может задеть Эмму, и я выступил в защиту даже тех антисемитов, которых называют «клиническими» и которых я встречал в России, если честно, в таких микроскопических количествах, что пренебрегал их существованием, и это позволяет мне, особенно сейчас, издалека, очистить свое отношение к стране, где прошло мое детство, от неприятных флуктуаций ее коллективного характера, если о таковом вообще может быть упомянуто без впадения в ересь нелюбимого мною «су-су-су». Так вот, возразил я Бурнизыен, я никогда не мог понять «зоологических антисемитов», нападающих на сионизм и пишущих на стенах: «Жида, вон из Палестины!» Неужели они хотят, чтобы мы вернулись, думал я, пока один наивный израильтянин на Интернет-форуме не задал этот вопрос что называется «в лоб». О нет, гласил

вежливый и даже вкрадчивый ответ, мы хотим, чтобы вы сначала все отсюда уехали, а потом чтобы некому было возвращаться. Меня это ужасно умилило, сказал я, целясь в округлившееся глаза Эммы, представляешь, как смягчились нравы в России, как европеизировались даже представители ее интеллектуальной обочины, если они сами (о, чудные!) уже ни за что не готовы делать своими руками, даже в рукавицах, грязную работу избавления от евреев. Москву строить они привозят таджиков и предпочитают, чтобы евреи отбыли добровольно, а там, на Ближнем Востоке, чтобы уж эти дикие арабы сами как-нибудь постарались.

Но удивляет меня обратная тенденция здесь (я повернул беседу в противоположную сторону) – иные граждане евреи, наши, «русские», будто с цепи сорвались. Агрессивность их комментариев к статьям умеренных авторов в Интернете иногда просто поражает меня. Особенную неприязнь вызывал у меня один из Интернет-сайтов, последовательно взращивавший в своих читателях чувство неприязни к «миротворцам», натравливавший и науськивавший их на «прекраснодушных», представлявший наших правителей слабыми, развращенными богатством и коррумпированными людьми, а страну – движущейся к пропасти и хаосу. Они продвигали идею сильной личности у власти и внушали своим adeptам чувство уверенности в том, что именно они, славные патриоты-читатели, мудры просто и без затей, и отныне вместе со своим вождем и его Интернет-рупором вооружены «единственно верным учением» и располагают надежными средствами для решения болезненных вопросов. Меня это пугало. Однажды я не выдержал, встрял тоже. Сначала я и сам написал нечто жесткое, подписавшись Кинологом.

«Способами борьбы с бешенством являются:

- своевременная вакцинация;
- ограничение перемещений;
- регуляция численности;
- карантинизация.

(Из учебного пособия по собаководству)»

К счастью, намек моего читателя сайта не поняли и на него неотреагировали. Я тем временем спохватился, взял мирный тон и наказал себе впредь писать доходчиво.

«Мы – «русские», и «правый» бунт наш выглядит «бессмысленным и беспощадным» тоже в кавычках. Больше – смешным. Абсолютной истины не существует, но «правые» и «левые» приближаются к ней зигзагами, вместе. А мы – дуrolомы генетические, можем сломать стране позвоночник, поставив ее раком, да загнув в порыве энтузиазма не в ту сторону».

Еще я цитировал Чехова.

"...пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти."

Уже отправив сообщение, я стал опасаться, понятно ли, что я хотел сказать этой цитатой. Я написал:

"Русские" мы, с Чеховым не поспоришь»,

– и хотел было отправить эту короткую фразу отдельным посланием, но стало жалко оставшейся незаполненной площади текстового окошка и я, как любят ныне шутить, добавил «букаф»:

«Разве отважитесь вы на поединок с боксером-тяжеловесом? Оспорите уравнения Максвелла? Нет, ведь. Почему же в таком сложнейшем вопросе как устройство человеческого общества, где на кону судьбы народов, вы так уверены в исключительной правоте своей позиции? Откуда такая самонадеянность?»

– я, конечно, сначала написал «наглость», а не «самонадеянность», но сдержал себя и поправился, прежде чем отослать. Я пытался и оппонентов своих склонить к умеренности, я писал им:

«Левые радикалы и фашисты – как дерьмо и черви. Дерьмо без червей – просто дерьмо, а не среда обитания, черви же без дерьма – подохнут с голоду».

Не заметно было, чтобы я чего-то добился своим вмешательством. Все так же продолжали комментаторы в любом явлении находить хотя бы одну сторону, которая питала бы их возмущение и отрицание. Случался ли социальный протест, они говорили, что участники демонстраций (даже если их триста тысяч) – куплены, или как теперь говорят – проплачены. Не смущало их и то, что демонстрации были направлены против тех, у кого теоретически только и могли быть деньги для подкупа. Или обменивали просидевшего несколько лет в плену нашего солдата на множество террористов, они объявляли это слабостью, позором и выражали уверенность в том, что если бы этот солдат был из «наших», «русских», о нем забыли бы на другой день. Даже если бы это так и было, такое утверждение оставляло ощущение подброшенной мне на порог дохлой собаки. Осужденного судом за убийство могли они объявить однозначно невиновным, потому что он из «наших». Они вообще не слишком затрудняли себя доказательствами своих утверждений, часто удовлетворяясь подысканием подходящего, по их мнению, мотива и верой в свою особую проницательность. Бросалось в глаза обилие среди них амазонок на пенсионном обеспечении.

Описанному выше типу характера (особенно женского) мне захотелось подыскать специальный научный термин, однозначно его обозначающий и называющий. Первое, что пришло в голову, было воспользоваться чеховскими эпитетами и, соединив два слова в одно, получить, например, «злотупие», или помягче – «злоглупие». Но это было бы и слишком общо, и уж очень прямолинейно. Любой же язык, в том числе, конечно, и русский, не склонен к прямолинейности, он ищет и находит извилистое, но наиболее отвечающее своей текучей природе ложе. Я должен тут отметить, что, конечно же, не считаю себя вправе изобретать новые русские слова. Поэтому, если и будет мною изыскан новый термин, следует считать его чем-то вроде местного приложения к русскому языку, тем более что он описывает местное явление и местные характеры.

Всякий, кто подобно мне, немного знаком с языком рассеяния европейских евреев, знает, что в нем практически нет грубой брани, поскольку ругательные слова в тушеном виде включены в жаркое нормативной речи (простите мне пошловато-умильную связку еврейского блюда и речи, уж вырвалось, так вырвалось). Это свойство языка идиш в известной степени унаследовано и современным ивритом. Но я привычен, и меня приятно щекочет в русской речи содержащаяся в нем искусственная языковая разность потенциалов. (Поясняющий пример понятия «разность потенциалов» для не инженеров – разность высот в водопаде). В вершинах русского языка – церемонная чопорность бала в грандиозном зале при ярких свечах с черными фраками и белыми пышными платьями, а внизу – кипящий ад бесстыдной наготы, актов совокупления, не исключая содомии; от парадного подъезда гонят прочь всякую похабщину, а на заднем дворе аристократического языка во множестве резвятся прижитые им от дворовых девок бедовые словечки, едва прикрытые приставками, суффиксами и окончаниями, сквозь которые «светится» срамной корень. Разность потенциалов, напоминаю (не инженерам), – источник энергии.

По аналогии с классическим библейским определением нашего народного характера как жестоковыйного, приверженцев, а особенно «привержениц» описанной выше разновидности политической философии, используя мой предыдущий эксперимент с заменой непристойных слов, мне хочется обозначить словом, корнем и основой которого стал бы «нос». Смущает меня несколько, что включение носа в состав еще неродившегося слова уже придает ему антисемитский оттенок. Нужно еще подумать. Но в любом случае – если термин мой окажется нехорош, то и бог с ним, пусть умрет никем незамеченный, и пепел его пусть не хранят, а развеют по ветру, здесь ведь не Россия, где одними только пастернаковедами можно укомплектовать пехотную роту и отправить ее на подавление чеченских повстанцев, – на малом клочке нашей земли

нет места и для кубка с пеплом неприжившегося слова. Но нос носом, а вот Джойсова ирландская прямота жжет мне душу примером лингвистического бесстрашия, а потому мучительно преодолевая робость и стеснение, я отваживаюсь наших воителей называть прямо и недвусмысленно этим ужасным словом: жестокохуйные вы, говорю я им, и щеки и даже уши мои горят от стыда. Запоздалые Рейснер-Коллонтай, добавляю, успокаиваясь. Вялые гвоздики большевизма. Не красные – бело-голубые.

Были и еще причины, по которым я перестал участвовать в Интернет-дискуссиях и слать комментарии. Во-первых, я обнаружил, что боюсь оскорблений, пусть даже и весьма условных из-за обоюдной анонимности. Некая Зина из Хайфы, будто угадывая меня за различными именами, которыми я подписывался, неоднократно называла меня «недоумком», оппоненты, живущие в других местах или вообще не указывавшие своего местожительства, усвоившие более изысканный стиль и наслаждавшиеся красотой заемного оборота, объявляли мне, что у меня «проблемы с пониманием прочитанного», очень любили они, используя еще один штамп, ставить меня на место, снисходительно спрашивая: «Ты сам-то понял, чего написал?» Только раз я по-настоящему обиделся, – когда меня обозвали «троллем», ведь я был искренен и даже старался примирить пишущих с их политическими противниками. Меня огорчал их, как правило, неважный язык и бесиле те самоуверенная наглость и наглая самоуверенность, с которыми они разбрасывали вокруг себя обвинения в предательстве и коррупции, поражало, что на широчайшей русской культурной шкале взгляды этих людей («ничего не отдавать, все – наше, пусть убираются! сколько вам заплатили саудовские шейхи?») так точно укладываются в том самом секторе, который в России я привык презирать со всей силой отстраненного еврейского высокомерия. Так что же произошло с нами здесь за прошедшие годы, думал я, как мог родиться мерзкий Интернет-сайт, с его авторами и комментаторами, – этот ужасающий автопортрет нашей «советской», «русской» волны? Ведь приехали мы, едва ли не целиком и полностью находясь в поле притяжения и из-под прикрывавшего нас крыла российской демократической интеллигенции, с взглядами широкими, с готовностью к терпимости, компромиссам, демонтажу образа врага. И вот оказалось, что, может быть, именно в тепле этого пушистого теплого подкрылья и лишились мы иммунитета к интеллектуальным напастям, от которых защищаемы были образованной русской публикой. И оглядевшись, подумали: «Так это что же, мы – здесь, вроде как русские – там?» И расправили грудь... И проделали путь от Сахарова к Шафаревичу, причем в отношении к происходящему в России остались сахаровцами, а местные события толкуем по Шафаревичу.

С целью убедиться, не подгоняю ли воспоминания «под ответ», я перелистал, прочитывая по несколько страниц из разных мест, пару книг советских прозаиков еврейского происхождения, из тех (книг и писателей), что помогали готовить моральный переворот в России и пользовались нашим (да и всеобщим) безоговорочным уважением. Это были грандиозные полотна, «Войны и миры» своего времени. Увы, было ли это приступом ревнивой придирчивости или попалась мне под руки в это время именно самодельная заточка, а не доильный аппарат, но первым делом бросились мне в глаза стилистические странности обоих произведений. В одном романе идеи и мысли были так спутаны, что в памяти у меня возникли образы Эммы и Берты, и между ними – расческа, две пары одинаково нахмуренных бровей и слово «пакля». Книга вызвала во мне желание обрить ее наголо, оставив для обозрения (и любования) только идеальных форм и пропорций лысый череп ее лирики. В другом романе, как показалось мне в начале чтения (и порядком раздражало), – каждая отдельная идея была проиллюстрирована отдельным же, соответствующим ей эпизодом, словно на деревянном, из посеревших от времени досок сбитом прилавке базара провинциального городка размещены были горки – фасоль отдельно, гречка отдельно, горка перловой крупы рядом. Публицистика в картинках, мысли в картинках, история в картинках. Иногда неплохих. Прочитанные куски, собранные вместе на рабочем столе моего восприятия, напомнили мне сооруженный нами в детстве вместе с Шарлем самокат: две доски с пропилами под колесики-шарикоподшипники; одна поддерживающая их соединение грубая планка; горсть гвоздей, частично новых, частично выданных откуда-то и выровненных молотком на бетонной ступеньке;

два деревянных шпена для осей подшипников; чуть поаккуратней оструганный стержень руля. Это транспортное средство, будь оно сделано руками Эммы, не сомневаюсь, выглядело бы элегантнее. В начале моего «перелистывания» мне захотелось даже переименовать роман, назвав его «Подвиг и преступление», что отражало бы не только его содержание, но как бы и саму книгу, которая с одной стороны, несомненно, – гражданский подвиг, с другой – воспринята была мною с порога как преступление против худ. лит. Но вот вскоре попалась мне прекрасно выписанная сцена из эпического центра Второй Мировой, из самого ее пупа с точностью до одного здания, и все было хорошо и богато деталями, и казалось точным и достоверным в этой пыльной, тесной и многолюдной композиции, но поражало, что героям ее, самым свободным в романе людям (а может быть, и самому автору), не приходило в голову сделать первое, главное, самое необходимое в той ситуации, в которой они находились, – отослать немедленно в безопасное место, назад, в тыл, к чертовой матери, за Волгу эту девочку-радистку, которую к ним забросили в ад. (Совсем уже выбиваясь из колеи повествования, отмечу, что я, в конце концов, бросил перелистывание, перечел этот второй роман от начала до конца и, даже не дойдя еще до середины, уже смирился с его устройством и признал (почти) закономерность показавшейся мне вначале совершенно невыносимой его деревянности, родственной заборам на окрестных улицах города в наших с Эммой и Шарлем прошлом, и вот – получил в награду страницу, на которой автор отправляет радистку в тыл с драматизмом, способным тронуть и меня. Ближе к концу романа мне и вовсе уже стало совестно за свои придирки. Но не заставил ли я себя изменить изначальное мнение, пересилить первичное интуитивное неприятие книги (книги как таковой) из уважения к гражданскому подвигу писателя? Не сбила ли меня с толку благодарность за спасение им радистки, в которой я как будто увидел Эмму в ситуации, из которой рвался ее спасти и не мог, не вступив в сговор с автором?)

Я думаю, опытный западный читатель никогда не заблуждался относительно этих книг. Вспышки увлечения ими, доставляемые ими острые ощущения были сродни для него таинственной игре в «Скрэбл», о которой рассказали когда-то нам с Шарлем старшеклассники, описав ее следующим образом: несколько мужчин садятся вокруг стола; расстегнув ширинки, охватывают они основания своих «бантов» петлями, свободные концы которых, пройдя под столом до его геометрического центра, выводятся наружу через специально для этой цели проделанное отверстие и раскладываются на поверхности столешницы. Затем по жребью кто-нибудь дергает одну из веревок. Тот, кто вскрикнул – герой романа, остальные (крикнувшему посочувствовавшие) – западные его читатели. Если кричащий и потянувший веревку – одно лицо, то это – одновременно герой и автор советского еврейского романа.

Они не виноваты, подумал я об авторах, они писали в ужасное время, после еще гораздо более ужасного времени, которое не могло не налипнуть на их одежду, душу, на перья их авторучек. Они писали, находясь относительно западного читателя (в смысле своей свободы и личной безопасности) как бы ниже уровня сортирного очка. Они страстно желали крикнуть оттуда, из глубины, в дыру над их головами сытой и благополучной западной задницы о своих открытиях морального и сущностного порядка. Они нередко забывали, должно быть, об эстетических установках воспитанного на Флобере западного любителя высокой прозы. Вот ведь и я во время перестройки не дочитал «Лолиту», и последние номера журнала, в котором публиковался «Улисс», до меня не дошли. Не до того было. Это сейчас, когда погружаюсь (не то аквалангист, не то – алкоголик) в два этих текста, будто становлюсь снова тем пятилетним ребенком (и ведь еще не имеющим представления о том, кто такая Эмма), которого подсаживает в кабину грузовика, не нового, но крепкого, похожего на сорокалетнего шофера, нашего соседа, который и поднимает меня, подняв с земли в кабину, так, что я с сожалением упускаю возможность ступить ногой на мелко железно-дрожащую пупырчатую ступеньку. А внутри – выпуклые сидения с пружинами для жесткой шоферской задницы, пол и педали, не признающие другой обуви, кроме кирзовых сапог, прибор со стрелкой на круглящейся панели, предвещающей дрожание и рев мотора, когда колеса тщетно пытаются поднять подложенные под них доски и ветки, чтобы вырваться из черной проваленной колеи. А сзади, за окошком, – кузов с деревянными бортами. И запах, запах кабины!

Возвращаясь к еврейским авторам – порыв их, тамошних наших неоспоримых лидеров, совершенно очевидно, – был искренен и чист. И кроме того, возможно, я неправ, может быть само понятие – «российское еврейство» – меня теперешнего чем-то раздражает. Чем? Я подумаю об этом.

Но вот, оказалось, что тут – и враг иной, на того, не до конца «демонтированного», непохожий, и пришло затем постепенно ощущение (гипертрофированное с непривычки) маленькой, но титульной нации с ее несомненными правами и суровыми обязанностями. И следом – утрясся в головах репатриантов не сразу, со временем, политический расклад, ужасно похожий на нынешний общероссийский, по крайней мере, каким он отсюда видится. И они, мои дважды соотечественники, готовы оставить в плену нашего солдата ради общей безопасности и ради общего дела. Они, эти старые (и не очень) жестокие носы ни за что не признают, что свобода солдата, как и спасение той радистки, – возможно, и есть одно из главных наших общих дел. Те понятия, из тех книг, налили на их мысли, на их души, на клавиши их «компов» и потянули их вниз, ниже того уровня, чем тот, с которого докричались до нас еврейские авторы, на которых намекаю здесь, не раскрывая их имен, чтобы не снизить тем самым обобщающий характер своих рассуждений.

Техника опросов позволяет обогатить старый афоризм: «Поднимите раба с колен – получите хама», – оснастив его статистическими данными. В нашем случае это могло бы выглядеть следующим образом: $j\%$ (читать – джей процентов) жителей известной давними авторитарными традициями страны R^* (читать – России), условно назовем их J^* (кто бы это мог быть?), где они считались к тому же гражданами второго сорта, перебравшись в страну I^* (на Ближнем Востоке), где теперь полагают себя солью земли, со временем не только генерируют в себе неприятные черты некоторых (в количестве $r\%$, точными данными, сколько это – ар процентов – не располагаю) граждан страны исхода R^* – более того, $jj\%$ (намеренное удвоение) бывших фактически двойными рабами превращаются в удвоенных хамов. Особенно потешно выглядит сладострастный энтузиазм, с которым упомянутые $jj\%$, случается, критикуют в резкой и неполиткорректной форме взгляды и жизненные устои означенных $r\%$. Не слишком сложно с процентами? Не инженеры – пропустите данный абзац! Относительно же упомянутой критики $jj\%$ в адрес $r\%$ мне хотелось поделиться с ними давнишним своим опытом: плевков издали – незстетичен и контрпродуктивен, мы с Шарлем убедились в этом еще в раннем детстве, он не ведет к обладанию самопалом. Разве что, можно обратиться, как это сделал когда-то Шарль, к своей маме (кто-то может увидеть в этом намек на заокеанскую страну A^*) с целью вернуть марки (оставшиеся внимательные инженеры, не ищите в «марках» аллегории, гарантирую – ее здесь нет, просто отмоталась лишняя нить из клубка дорогих для меня воспоминаний). Я предупрежден word-ом о сомнительной законности употребленных мною выше слов «незстетичен и контрпродуктивен» в русском языке, что ж – занесем и их в справочник местных, ближневосточных данного языка расширений.

В иные минуты, случалось, я закипал едва ли не яростью, швырялся заносчивыми, оскорбительными фразами, о которых сразу же начинал жалеть. «Скудоумие, – писал я, – не порок, стесняться его незачем, оно такое же свойство как большой нос или оттопыренные уши. Уродством оно становится только в сочетании с наглостью». Или последними словами честил наши «русские» партии и их лидеров, полагая, что именно они, их жестоконосная риторика – источник, из которого черпают мои бывшие там и нынешние здесь соотечественники не столько даже сами взгляды, сколько уверенность в своей правоте. Там, в этих партиях, говорил я себе, – центр, где верстаются пятилетние планы разработки именно тех культурно-исторических и психологических залежей, «черное золото» которых, будучи выдано на-гора и «разнесено по умам», и Россию оставляет за пределами того идеала (культурного и психологического), который мы привыкли условно именовать Западным с большой буквы. Иногда мне хотелось дразнить этих очевидно пожилых по большей части и, честно говоря, казавшихся мне довольно жалкими людей, не ограничивая себя в количестве выпускаемого яда: «Дети! – печатал я. – Не поленитесь ознакомиться с изложенными на этом сайте мыслями, и знайте, что если сейчас вы будете увлекаться исключительно Джастином Бибером, то к старости будете писать такие же комменты, как эти дяди и тети». Я знаю, детям взгляды их

родителей и бабушек уже «по барабану». И я выстукиваю: «У меня для вас две не новости – плохая и хорошая: не новость плохая – «русские» политики и журналисты растлевают ваши души, не новость хорошая – жертвами растления становятся не малолетние, а как раз – наоборот, и значит, этих политиков и журналистов правильно называть – геронтофилами». Вот и сложился попутно еще один термин, обозначающий наших, «русских» идеологических вождей, подаю его без купюр и замен – растлители пенсионеров и пенсионерок, жестокохуйные геронтоебы.

И вот еще что – я ничего не мог с собой поделать, я перечитывал свои «посты», проверяя, может быть, я и в самом деле выставил себя «недоумком» или изложил мысль слишком туманно, пробежал глазами повторно и саму статью – а вдруг я в ней действительно чего-то недопонял. Все же поначалу это было увлекательно, я возмущался чужими утверждениями, ждал ответов на собственные выпады и входил в азарт в предчувствии ответных шквалов, расстраивался, когда обнаруживал, что допустил ошибку в тексте. Но потом статья выходила из фокуса, и в конце концов оставался неприятный осадок. Я люблю беседы с людьми, они не оставляют во мне ощущения потерянного времени, а тут именно такое ощущение и возникало, и даже довольно острое. Что-то общее было с тем скрытым недовольством и даже протестом, которые вызывают у меня песочные или ледяные скульптуры. Беседа живую оставляет за собой еще один этаж, или пол-этажа или комнатку во все строящейся и достраивающейся башне личных отношений. То есть имеется какое-то накопление. А тут, в Интернете – стопроцентная обезличенность, что-то от легковесных, несдержанных, безнаказанных оскорблений, которые с легкостью отпускают друг другу водители автомобилей внутри своих звуконепроницаемых металлопластиковых футляров. Плюс еще это ощущение неопределенности от того, что случится в будущем с этим спором. Сотрут, не сотрут когда-нибудь? И ты не можешь, как в случае с газетой, пойти в хранилище и затребовать подшивку за год такой-то, например, 2004-й и в ней отыскать номер, например, за 16 июня. И кто там, на другой стороне? Пенсионер в трусах, с всклопоченной головой и спящим внуком за спиной, склонившийся над клавиатурой, или аккуратная женщина за экраном в чисто вылизанной комнатке хостеля?

И еще – помните, я сравнивал написание романа с разработкой объемного технического проекта? Публицистический текст я сравню теперь с цифровой системой, построенной на одной только логике, текст художественный напоминает мне аналоговые цепи с их неизбежными ограничениями в точностях, физикой, помехами. Мне это ближе. Даже приближение в собственных моих текстах к публицистике оставляет у меня в душе неприятное чувство, похожее на металлический привкус во рту. «Ассоциации инженера, – скажете вы, – инженерам только и могущие показаться забавными». Наверно, вы правы. Но Эмму мое сравнение развеселило, разве этого мало?

Окончательно от привычки дискутировать в Интернете я избавился, когда решил «погуглить» понятие «тролль», чтобы лучше разобраться в его смысле. (Понятны ли будут оба эти слова, если кто-то возьмется читать меня лет через сто?) Покопавшись совсем немного, я обнаружил, что и оппоненты мои описаны уже, авторы статей в электронной энциклопедии называли этих людей «хомячками». Упоминания «хомячков» попадались мне и раньше, но я не думал, что это понятие превратилось уже в устоявшееся словесное клеймо. Хомячок с маленькими лапками на мгновение представился мне в виде приставленных друг к другу двух уцелевших от бывшей неоновой лампы цоколей с парой коротких рожек у каждого. Это подействовало на меня успокаивающе. Значит, я зря злился, значит, речь идет лишь о частном случае явления, психологического феномена хоть и нового, родившегося от сетевой анонимности, но уже хорошо известного и описанного.

От Интернет-перепалок все же осталось наследство – у меня в голове сложился еще один рассказ. Я назвал его «Фашики и либерасты»:

Уверен, пока я не успел отойти от наркоза после аварии, эти левые твари в тель-авивской больнице «Ихилон» меня клонировали и клона моего воспитали либерастом. Разве нормальный человек, который появился на свет хотя бы даже через кесарево сечение, может стать

леваком? Черт дернул меня въехать в столб именно в либерастическом Тель-Авиве, будто мало столбов в других местах. Что «не может быть»? Какая, еханий бабай, «клятва Гиппократ»? Вы им верите? Они сами давно продались и Гиппократ толкнули за тридцать шекелей. Я его сам уже четыре раза видел в новостях – арабесы камни швыряют, а он вместе с ними, орет что-то нашим солдатам, надрывается. Да не Гиппократ, клон мой!

Я по улице иду – на меня, ешкин кот, уже пальцем показывают! Однокашников своих из Таганрога по Иерусалиму водил (приехали глянуть после отмены виз), так эти клоуны на кикар Царфат сгрудились, полиция их теснит на островок, а они из-за плаката «Free Gaza!» мне машут. Мол, иди сюда. У меня даже во рту пересохло. Ей-богу, плюнуть нечем было! Но так может и лучше, что не сплюнул, экскурсанты мои таганрогские в содержание плакатов вчитываться не стали. Мы в классе, вообще, немецкий учили. По-немецки свобода – Freiheit, фрайхайт. Ну и я тоже в объяснения по поводу лозунгов вдаваться не стал, сказал – этот длинный, который больше всех машет, со мной вместе в шестой палате лежал после операции, а те, что рядом с ним – врачи и медсестры, выхаживали его и меня. Мне то что? Только ноги переломало, меня свозить в сральник, и ладно, а у него – серьезная черепно-мозговая травма. Его увозили в специальный кабинет, подолгу с ним разговаривали, проводили «восстановительные» беседы. До сих пор так до конца и не восстановился. Заговаривается. Например, может крикнуть: «Дай!» – и покажет на кого-то другого, мол, ему дай, не мне. Тяжелый случай!

Я своего клона по вечерам часто в Интернете искал. Как увижу, кто пишет, вроде: «Либерманоиды – фашики», – уже знаю, это он. Или: «Как же вы агрессивны и непримиримы под прикрытием анонимности! Интернет освобождает? Internet macht frei. Так, что ли?» Я ему отвечал: «Готовь вазелин, либераст. Когда поймут тебя муслимы – не так больно будет». Жалко мне его. Все-таки – родной ген.

Бывало, найду острую статейку, тут же опускаюсь в комменты – и вот он, вот он, голубчик мой! Сейчас прямо пост прислал: «Девяносто лет назад Джеймс Джойс продемонстрировал с блеском, как содержание передается через форму. Лидер «русской улицы» опасно приближается к фашизму не тем, что говорит, а тем, КАК это делает. Говорит-то он – то же, что мы все думаем, но посредством напористого, избегающего оттенков стиля своих речей он обращается к пещерным инстинктам каждого из нас и их высвобождает. Результат – налицо, смотри, например, ниже». И подписался: «Патриот». «Результат – налицо, смотри, например, ниже» – это он про нижерасположенные мои посты, которые я послал под ником «Оригинальный» и в них крыл левотину последними цензурными словами. У меня таких слов много, я, между прочим, тоже Джойса читал, так что не надо мне про пещерные инстинкты, Патриот. Когда такие патриоты есть, то и космополитов не нужно. «Опасно приближается» (еще не там, значит), «мы все так думаем» (ну да, как же!) – это он примазывается, мол, я тоже, в общем-то, из вашенских. Мол, «давайте жить дружно». Клон ты! Хоть и мой. Фантом либерастический, зомбированный тель-авивскими докторами из «Ихилова»! Сейчас я тебе так это и напишу, теми же словами, недолго думая. Только слова «хоть и мой» (про клона), конечно, опущу, а то еще станет разыскивать родственника, нелюдь левацкая. И «нелюдь левацкую» – тоже в пост, с пылу, с жару. Будет тебе доставлен, Джойс Леопольдович Блумклон, мой ответ с множеством эпитетов в одной коммуникационной транзакции.

А через пару часов, уже ответ его всплыл поверх других комментариев. Мне отвечает. Персонально. Понял, что с развитым человеком дело имеет, в стихах пишет. Заодно решил уколоть наших решительных женщин, которые в его адрес еще и не такие ядреные замечания отпускают, например, называют его политическим импотентом и нравственным уродом. Хотите его стишки почитать? Пожалуйста, я не скрываю. Я думаю, чувство юмора и литературные способности у него – от меня, это только направление неверное задали им тель-авивские шуты гороховые.

*Гвозди бы делать из наших людей,
Гвоздь негибемый – фашик-еврей.
Есть у него и колючая пипка,*

Шляпка с другой стороны, то есть кипка.

Баба ж его – знай, левацкая тля,

Всем либерастам поганым – петля.

А потом еще дописал, но уже прозой: «Устал я от вас. Всякий, кто не столб и не стенка, вам уже мразь и предатель». Видно, и правда, – устал, раньше он тверже держался – бывало, перст указующий в гнев направлял в ту сторону виртуального пространства, где виделись ему идеологические противники.

Но вот что-то уже много времени, несколько месяцев подряд, ни под какими никами не удастся мне его опознать в интернете. И среди демонстрантов-леваков его не видно. Чую сердцем – умер, умер клон мой! Может, моторчик у него получился слабенький. Хотя – с чего бы, у меня, вроде, нормальный, без всяких там пороков. Эх вы – вивисекторы хреновы, халтурщики, леваки-дрочилки! За что ни возьметесь – хоть за «мирный» процесс с палесами, хоть за учебный для детей наших в школе – все у вас через жопу. Недаром говорят: «две руки левые и обе из нее, из жопы, растут». Ухайдакали вы геношу моего, клон-братика.

Вот так-то, читатель, ты, наверно, подумал сначала, что тут смешно будет. А тут – личная моя трагедия.

30.

– Да мы задницы должны целовать западным либералам, как бы они не раздражали нас иногда, – до крайности огорченный всем вышеизложенным наполовину выкладывал, наполовину выкрикивал я Эмме в запальчивости.

– Завтра к нам обещал заглянуть Оме, у тебя будет такая возможность, – сказала Эмма, и я немного остыл.

– Нет, ну правда, – не сдавался я окончательно, – ведь и у них там народишко – пень на пне, пнем погоняет, вспомни одну только немецкую историю последнего времени. Но они за эти полвека так умудрились обтесать народное сознание, что хочешь – сиди на этом пне, хочешь – хоть пляши на нем, он все занозы внутрь спрятал, демпфирует любые нравственные огорчения и не проявляет агрессивности».

Эмма – технический человек, мне не нужно объяснять ей значения слова «демпфер». Это такая штука, которая смягчает резкости. Например, сидите вы в лодке с опущенными в воду веслами и захотели дернуть их: черта с два – не получится, вода не даст – это и есть демпфер.

До сих пор шутками и болтовней все у нас с Эммой и заканчивалось, я не притрагивался к ней, и когда она уходила, извиняющимся взглядом скользнув по моему лицу, она уже ждала, что я в очередной раз церемонно-почтительно поцелую ей руку. Когда это происходило, в сумерках лестничной площадки глаза ее были похожи на тающий голубой лед. Но сегодня, на седьмой или восьмой ее приход, когда я снова опустился рядышком с ней на пол, она, словно охапку свежескошенной травы, бросила мне в лицо волну своих волос, обняла за шею и уткнулась лбом в подушку у моего виска. Я освободил голову от ее руки, помог ей повернуться на бок, лицом и грудью к себе. Ах, это правильно, что одежда женщины не скроена так, чтобы спадать лавиной, как сходит снег с горы. Под платьем ее была удивившая меня своей скользкой шелковистостью ткань, я не удержался от шутливого восхищения длиной пути, вдоль которого мне пришлось ее пробуксировать (по-моему, она в ответ еще и нарочно вытянула носки) и поскольку всерьез опасался насчет своей скорострельности после столь продолжительных подступов, я поощрил ее проявить себя амазонкой и овладеть поверженным на спину инженером, который в этом положении продержится, может быть, хотя бы на минуту дольше. Она так и поступила, и овладела, сдержанно, но все-таки охнув вначале от ожидаемой, а все-таки неожиданности. Я ответил поглаживанием по плечу с сосчитанными мною веснушками и был счастлив, когда она рухнула на меня до того как я сигнальной ракетой оповестил бы ее об окончании боеприпасов и вынужденном отступлении. Я осторожно перевернул ее на спину, секунду испытывая, способен ли прерваться ради умножения блаженства, но не осилив свою животную основу, довершил начатое. Я имел все основания полагать, что ею приняты

необходимые меры, но, думаю, успел просчитать, что, испачкав ей одежду, я сумею задержать ее на то время, пока она смоет пятно, и потом будет ждать, пока порхающее на сквозняке сохнувшее платье будет цепляться за предоставленную мною к его услугам вешалку.

Я знаю, женская память цепко хранит любую ерунду, положенную на бумагу, любое наскоро сочиненное стихотворение ко дню рождения, если это «произведение» посвящено лично ей и никому более. Мини-рассказ «Эмма и пять веснушек» не приводится в этих записках, он нигде и никогда не был записан, он существует, я верю, и по сей день, но только в памяти Эммы, моей, только моей Эммы. «Настоящий читатель – перечитыватель». Это из тех обобщений, которые – не «су-су-су». Вот и я – чем подробнее узнавал Эмму, тем больше ее любил. Я разыскал и приобрел для нее домашний халат – синий, в крупных цветах, похожий на тот, который давно когда-то видел на ней.

Рассказ «Сестры» я прочел ей во время одной из наших следующих встреч. Перечтя сейчас, я нашел его несколько слащавым, но все мои попытки отжать из него лишнюю романтическую приторность, не увенчались успехом. Это лишний раз послужило мне доказательством, что даже небольшой, но уже рожденный рассказ, произведен на свет с собственным духом и плотью, и переделать его, не рискуя разрушить полностью, крайне трудно, если вообще возможно. Несколько раз Эмма, читая, хмурилась, сомневаясь и старясь вспомнить, вымышлены ли те или иные детали и мелочи и какие из событий имели место в действительности. Никаких трех сестер, конечно же, не было в нашем классе, и ни одна из героинь моего рассказа не была похожа на Эмму, но она отлично поняла смысл этого утробения, зыбкого, искаженного, фантастического, но все же – утробения ее самой, и моей любви к ней. Вспомнила она и утонувшего в реке слабоумного мальчика, жившего недалеко от нашей школы, вспомнила, как я попал ей в лицо снежком. Я несколько опасался ее реакции на образ матери и учителя. Я видел ее вмиг остывшие глаза, видел, как она напряглась, когда добралась до этого места. Видел ее недоумение, зачем мне понадобилось ломать себе ногу (чего никогда не было), а потом и вспышку, догадку – мое желание удалиться, не быть свидетелем и летописцем краха семьи ее родителей. Обычно, когда в моих рассказах Эмма не находила деталей собственной биографии, она и читала их иначе, улыбаясь тому, что представлялось ей удачным, и сводя брови и делая вид, что не совсем понимает написанное, когда что-то было не так по ее мнению. Я засекал примерно (ориентируясь на суммарное время чтения) эти точки, отмеченные ее мимикой, а потом старался отыскать соответствующие места в тексте, чтобы порадоваться победам и решить, что делать с теми фразами, которые вызывали у нее сомнение.

Она дочитала, отложила листки с отпечатанным текстом, подумала, не глядя на меня, снова взяла их, прочла еще раз, закончив, бросила на тумбу, и раньше, чем я поймал ее взгляд, толкнула меня, опрокинув спиной на кровать. Я понял: неважно как – я должен сейчас превзойти самого себя, добиться тройного эффекта. Не знаю, удалось ли мне это, но я напряг все свои возможности, все воображение, привлек все знания, добытые мною в разное время и из разных источников. Видит бог – я очень старался. Эмма сказала потом: «У пустыни, як у джунглях».

31.

Из-за этих сестер, таких утробено красивых, вся школа завидовала нам, их одноклассникам, ведь только мы сидели с ними за соседними партами, а три счастливчика (в том числе и я) – даже за одной, обсуждали сочинения, вместе решали задачи.

После школы мы провожали их до самого дома. Не потому, что им нужна была защита (наш городишко был довольно спокойным), а потому что им самим это было удобно, так они хоть немного растворялись в стайке сверстников. Когда же они шли только втроем, то порой вгоняли в столбняк случайных прохожих. Слабоумный мальчик, увидев их и даже рта не успев раскрыть, остановился как вкопанный, глядя на них. Они прошли мимо, опустив глаза в землю, а он не оборачиваясь, все стоял, обмочился и плакал. Поэтому только ему я однажды, возвращаясь из школы, рассказал о своей любви, полагаясь на то, что он не сумеет

никому передать мое признание. Он выслушал меня с восторгом, но трудно было понять, как отразились в его сознании мои слова.

Сестры были близнецы, одного роста, ужасно похожие, высокие, но различать их было несложно из-за разницы в характерах, отражавшейся в осанке и выражении глаз.

Старшая казалась чуть суховатой. Мы знали, что она появилась на свет раньше средней на двадцать минут. Однажды я нечаянно залепил ей в лицо мокрым снежком (слава богу – очень издалека, влажный шар был уже на излете). Она плакала в сторонке, а я мучился на расстоянии, но к ней тогда так и не подошел, чтобы извиниться и утешить ее.

Младшая была самой общительной. Однажды, когда я сказал ей, стоящей рядом со мной в проходе между школьными партами, что-то особенно милое (я сидел), она улыбнулась, положила ладонь мне ребром на плечо, почти коснувшись шеи, и большим пальцем ласково потрепала мочку уха, а я с другой ее светлой руки, которой она опиралась на парту, смахнул грушевидную каплю прозрачной воды (обстрел из водяного пистолета на перемене). Ее это не смутило, наоборот, она улыбнулась еще приветливее, и я знал, что мог бы ее дружеское расположение к себе укрепить и сблизиться с ней еще больше, если бы спросил, например, как мне и хотелось в тот момент, каким образом они втроем выбирают себе прически, и получил бы ответ, что ведь прически у них одинаковые, и выбраны по вкусу и желанию матери. Но я остановился и спрашивать не стал, потому что почувствовал в этом опасность, аркан, могущий оттащить меня от сидевшей со мной за одной партой средней сестры, в которую я был влюблен.

Вот она была неправдоподобно особенной и ужасно замкнутой, хотя во внешности ее и манерах не было ничего такого, что ощущалось бы как препятствие или преграда. Но, тем не менее, будто поток свежего ветра, но сильного ветра удерживал меня и других на расстоянии от нее, и узнать, о чем она думает, казалось мне труднее, чем фантом от липкой ириски прилепить солнечный блик к парте. И все же что-то такое, трудное, мне хотелось непременно сделать у нее на глазах. Дождавшись, когда яркое пятно на долю секунды замерло, лишь легонько подрагивая, я быстрым очерком обвел его карандашом и поставил время и дату. Я был счастлив, потому что она заметила это и, показалось мне, улыбнулась самым краешком губ. Окрыленный успехом, тем же карандашом я отметил и границу света и тени от окна на парте. Неровности замазки между стеклом и деревянной рамой окна были повторены мною вслед за тенью, хоть и искажались напылами темно-зеленой краски, которой были выкрашены все парты в классе.

Мне очень хотелось узнать или догадаться о ее мечтах, но я не решался и откладывал попытки осуществить эти намерения, потому что она пока еще была выше меня ростом. Предстоящим летом я собирался много играть в баскетбол. Мои приятели, надеялся я, помогут мне, приподнимут, обхватив за колени, чтобы я мог дотянуться до кольца и повисеть на нем несколько минут, растягивая кости. Я твердо верил, что неизбежно вытянусь за каникулы, и когда в сентябре снова сяду с ней рядом за парту, буду гораздо храбрее: я что-нибудь такое скажу ей, или напишу смешное стихотворение только для нее одной, и створки ее мучительной для меня отчужденности хоть немного раскроются. А может быть – все и вовсе пойдет по-другому.

Вообще же, оглядываясь на те времена, я вижу, что меня слишком часто одолевали трудно осуществимые или невозможные вовсе стремления. Так, например, я мечтал жениться на всех трех сестрах: на средней – по любви, на младшей – из приятельских чувств, на старшей – из жалости. И надо же, именно их мать, пришедшую в школу на родительское собрание, я однажды чуть не сбил с ног, вылетев из-за коридорного поворота. День и особенно час, когда в школу начинали тянуться родители, был окрашен нервным возбуждением, ожиданием увидеть себя, свое отражение в оценках учителей, которые нам перескажут родители вечером за домашним ужином. А тогда в коридоре, едва успев увернуться и, врезавшись плечом в стену, в ответ на досадливый взгляд матери трех моих будущих жен я бросился извиняться, и она очень быстро смягчилась. «Молодежь торопится жить», – сказала она, уже улыбаясь, шедшему навстречу по коридору нашему поджарому историку. Он в ответ развел руками, и в этом жесте, показалось мне, было выражено не столько его отношение к сказанному, сколько что-то вроде: «Да бог с ними. Очень рад видеть вас здесь, в нашей школе».

На уроке я играл с солнцем. Утром оно оказывалось в верхнем углу окна, и в определенный час можно было, подперев ладонью правой руки подбородок, скосив к носу один глаз и закрыв другой (тот еще, должно быть, вид со стороны!), добиться искристой картинки, когда две средние фаланги пальцев казались хоботами громадных мамонтов, касающимися прилегшего на землю мамонтенка-носа. Картинка получалась такой сверкающей блесками и ослепительно яркой, что казалась даже ярче и ослепительнее, чем средняя сестра, которую она заслоняла.

В кошмарный день, когда утонул в реке слабоумный мальчик, я видел его дважды – оба раза на пляже бродящим всего по колено в воде вдоль берега в закатанных брюках, пытающимся завязанной в узел майкой ловить серебристо-зеленых мальков.

Я сидел на пляжном песке, вместе с тремя сестрами в одинаковых купальных костюмах. Развлекая их, я разровнял круглую песочную арену и, отломив две рогатки от наполовину засохшего прибрежного куста, изображал с их помощью, как рассказываю слабоумному мальчику о своей любви. Рогатка-я, переступая по песку, подошел и прошептал рогатке-слабоумному-мальчику имя той, в кого был влюблен, но самое интересное слово шептал так тихо, что сестры не могли разобрать. Старшая сестра смотрела на «актеров», младшая следила за моими губами, в глаза средней сестры я успел заглянуть, но ничего в них прочесть не сумел. Тогда я сменил декорации и нарисовал на песке нашу реку, гранитную скалу на одной стороне, песчаный пляж на другой, перебросил арочный мост через реку.

– Огромная змея, – рассказывал я, – сползает с гранитной скалы, ползет по мосту, зарываясь в песок, на котором мы сидим.

Я приподнялся, как будто что-то подперло меня снизу, но все три сестры лишь улыбнулись, по-своему каждая. «Какие отважные!» – удивился я.

– Но наш учитель истории, – я продолжал рассказ с нарастающим воодушевлением в голосе, – схватил пустую бутылку из-под лимонада и швырнул ее в змею! Бутылка попала в железные перила моста и разбилась вдребезги. Змея извивалась, задевая осколки, и в кольцах ее, свернувшихся буквами... – я взбил песок над «мостом», – ...мелькнуло имя, открытое мною мальчику.

Старшая и младшая сестры смотрели на знаки, возникшие и исчезнувшие в песке, а средняя, улыбнувшись, отвела взгляд и обвела им настоящую реку и гранитную скалу на другом берегу, будто запоминая их на неопределенной длины будущее.

Они поправляли на плечах тонкие тесемки. Младшая сестра выболтала мне о придуманной ими игре с солнцем: они старались не смазать границы загара тесемок, а наоборот сделать след от них как можно белее и четче. Она упомянула только тесемки, но мне показалось по тому, как они старались поменьше елозить и ерзать, что речь идет об отпечатке всей верхней части их купальных костюмов.

Я пытался, бросал и снова пытался представить себе, как дома, становясь перед зеркалом втроем и поодиночке, они соревнуются, сличая свои достижения. Неужели и средняя сестра? И старшая? Воображению мешал стук в висках, и я переключался, старался представить сброшенные (на трюмо? на стул? на диван?) три одинаковые тряпицы, похожие на слепые матерчатые очки для великанов. Если бы я был великан, думалось мне, и примерял на себя эти очки, отрезав ненужные тесемки, то, как циклоп, хохотал бы, ничего не видя сквозь пустые холмы «с косточками» (кажется, так назывались вложенные в них ребристые пластмассовые каркасы).

Неподалеку на пляже с учителем истории, заменявшим также часто отсутствующую географичку, беседовала мать сестер. Взглянув в их сторону, я задал вопрос: отличают ли сестры Австрию от Австралии, Швецию от Швейцарии и Исландию от Гренландии. Пока две сестры (старшая и младшая) согласились держать экзамен, и каждая по очереди рассказала что-нибудь об этих странах, я успел проделать мысленный эксперимент: я представил себе носящего школьную кличку Имперский Пес историка и географа еще и акушером, принимающим роды трех сестер: три щелчка челюстей у пупков, и сестры свободны. Судьбой пуповин я интересоваться не стал, пусть ими займется Пес. Взглядом оценив результаты его акушерства, я не нашел никакого изъяна ни у одной из сестер. Поскольку две новорожденные не сбились в ответах, а третья промолчала, я рассудил, что двух отличниц достаточно и предложил им пройтись вдоль берега между рекой и лесом.

«Вы должны будете без ошибки отвести меня обратно, для этого проверялась твердость ваших географических знаний, если по дороге я сойду с ума». Как ни скромны были сестры, ни одна из них не спросила, отчего бы мне вдруг потерять разум во время короткой прогулки с ними. «Но мы не пойдем туда, где нет людей», – выдвинули они условие. «Мама, мы немного пройдемся вдоль берега», – сказали они. «Недалеко», – ответила мать, и они обменялись кодированными взглядами. «Там, где достаточно много людей», – телеграфировала мать. «Где люди ходят табунами, как стада бизонов», – отстукивали в ответ послушные сестры.

Мы прошли только три сотни метров, когда за скалами у самой кромки воды увидели столпившихся в круг людей, смотревших вниз, на песок. Будто кто-то толкнул меня в спину, я догадался сразу – утонул слабоумный мальчик, кто же еще? Раньше, чем получил подтверждение, я увидел голые пятки и ноги утопленника в подкатанных штанах, на нем не было майки. Лица я не увидел, потому что младшая сестра потянула меня за руку. Сестры плакали (совершенно одинаково) всю обратную дорогу к пляжу, и мать увела их домой. Ногой, уже обутой в сандалию, я пнул изображавшие меня и слабоумного мальчика ветки, потом передумал, поискал их в кустах, одну нашел.

Я попрощался с сидевшим под совершенно прямым углом учителем, смотревшим на свои голые ноги. По дороге домой я думал об образе сестер, потерянном в погибшем воображении слабоумного мальчика. Несколько раз я просто так сходил с тротуара на проезжую часть дороги и шел по ней, пока мне не начинали гудеть водители. Когда я сделал это в четвертый раз, наступив на решетку водостока, она провалилась подо мной, я сломал ногу и потерял изображавший меня или утопленника обломок ветки. Родители, беспокоясь, как бы в местной больнице не упустили чего-нибудь, из-за чего кость срастет неправильно, отвезли меня в соседний большой город, в больницу которого работала наша близкая родственница.

Лежа в этой больнице и затем ковыляя на костылях и в гипсовой муфте по квартире нашей родственницы-врача (пришлось носить трусы ее мужа, в мои не проходил гипс), я действительно здорово вырос, но когда мы все пришли в школу, то узнали, что наш учитель истории умер, а отца сестер, офицера, перевели служить не то за сотни, не то за тысячи километров от нашего города.

В моих воспоминаниях о том времени поселились твердое убеждение, что учитель покончил с собой, потому что был болен, и уверенность, что офицеров вечно переводят с места на место вместе с их семьями и загадка, как мог утонуть бродивший вдоль берега мальчик. Но в оставшийся нам последний год учебы в школе нашему классу, кажется, больше никто не завидовал.

Сегодня, много лет спустя, сидя на кровати в больнице, другой, но очень похожей на ту, где мне когда-то наложили на ногу гипс, опустив голые ноги в домашние шлепанцы (как больно будет ступить на правую ногу!), вдруг вспоминаю школьную игру со светом. Это случилось, возможно, потому, что окно расположено так же впереди и справа, как тогда в нашем классе. То же примерно время суток – утро, и солнце вписалось в верхний левый угол окна. И я загораюсь идеей – воспроизвести тот самый памятный мне эффект. Я нахожу правильный угол к солнцу и вот – снова вижу два сверкающих хобота, прислонившихся к тому же, в тысячах блесков, боку мамонтенка. И кажется, за этой картинкой здесь и сейчас средняя сестра листает тетрадь, добираясь до чистой страницы. Мгновенная вспышка восторга грозит взорвать мне грудь, хотя и не всю, как тогда, а только верхнюю треть, и я колеблюсь: продолжить ли, сосредоточившись, игру с солнцем, или отвлекшись, услышать, как снова гудит весь замерший мир, завидуя мне.

Если вдуматься, были три образа, три относящихся к одному времени восприятия сестер: слабоумного мальчика, Имперского Пса и мое собственное. Два безвозвратно утеряны, а вот третье, мое, пусть останется.

Как легко мне было с Эммой! Какой роскошью было наше длительное знакомство, общее детство. Мне кажется, я помню даже, как она в

первый раз поставила локоть на парту и выпрямила ладошку, чтобы ее вызвали отвечать «к доске» или «с места», что впоследствии делала редко и неохотно, как правило, лишь в ответ на прямой учительский вопрос: «Кто выучил урок?» Как с лету понимала она каждый всплеск моей иронии, с какой безошибочностью воспринимала мои литературные опыты, вычитывая в них именно то, что было заложено мною самим. Я не решился расспросить Эмму, что затронуло ее в «Сне» – тема матери или невозможность для нас утром проснуться рядом, так чтобы в моем пробуждающемся сознании первым делом возникал контур ее тела, и чтобы можно было коснуться его кончиками пальцев. Я увлек ее флюбером. Большая литература, говорил я, не покатит нас как в санях, усталых, расслабленных. Это другое, ее нужно грызть самому, по кусочку, как грильяж, осторожно откалывать зубами, перекачивать во рту, наслаждаться, ждать, пока растает.

Я (кстати, об идеальном восприятии Эммой моих рассказов) в дополнение к только что высказанной мною мысли о том, как трудно изменить характер уже рожденного рассказа или повести, не признаю подхода, в соответствии с которым автор, родив произведение и отдав его на суд читателя, сам будто умирает, дитя же его отныне живет собственной, независимой от него жизнью в среде читательских вкусов и толкований. Это юридический фокус, отговорка червей, позволяющая им на законных основаниях навалиться на падаль. Даже просветы для домысливания и читательских фантазий тоже заботливо рассчитаны автором. Текст жив, пока не тронут скальпелями патологоанатомов, пока жмурится и выгибает спину и только для того существует, чтобы выгибать спину и жмуриться. Когда же печень и кишки его разложены по банкам с формалином, это уже не он, не живой текст. Чтобы анатомизировать живое, сначала требуется его убить. Не нужно расчленения, весь фокус – в красотах словесных калейдоскопов, в волшебстве и неповторимости их, в неожиданных кульбитах мысли. Об «Улиссе», например, Набоков сказал, что это «божественное произведение искусства» и «будет жить вечно, вопреки всем ученым ничтожествам, пытающимся его превратить в коллекцию символов и мифов». Я, в принципе, с ним согласен, хотя, если бы сам составлял подобную фразу, постарался бы обойтись без оскорблений.

Вот глубина понимания Эммой моей натуры в ее «нерасчлененной» целостности и заставила меня напрячься и насторожиться в совершенно безобидной, казалось бы, ситуации. Она перебрала через меня ногу, не освободившись от трусиков, и в ответ на мой озадаченный взгляд взяла правую руку и притянула ее к бедру. Ткань не подавалась, и непонятно было, почему Эмма смеется надо мной («надо мной» и в том еще смысле, что она глядит на меня сверху). Наконец, я нащупал на ее бедре очень короткую молнию, скрытую за накладкой, а Эмма наслаждалась моим недоумением, смеясь (волна пробежала по ее собравшемуся тонкой складочкой животу) и следя за ходом моей мысли, когда я сначала удивился странной конструкции, но через секунду другой рукой подтвердил догадку о ее симметрии, и наконец, действуя обеими руками, удалил забавный эммохольчик. Беспокойство же мое и ощущение неловкости были вызваны подозрением, что наши отношения, возможно, становятся для нее объектом шутки, а это было бы для меня катастрофой, ведь я мечтал о долгой-долгой жизни вместе. «Они жили долго-долго и умерли в один день», – к этой сказке-мечте я никогда не относился с иронией. «Зачем это?» – спросил я. «Догадайся, инженер», – был ответ. «А... это чтобы поменять их, не стягивая джинсы и не расшнуровывая и не снимая кроссовки?» Она смеялась. «Но разве не проще только сменить прокладку?» – не успокаивался я. Плечи ее дрожали от смеха: «Иногда хочется поменять не только прокладку». Я не определил тогда источника возникшей во мне легкой досады от ее ответа, но сейчас я готов облечь в слова возникшие во мне чувства опасности и тревоги: как и в случае с немецкой философией, плоскогубцами, с выбором Шарля в мужа, я почувствовал, что она и сейчас способна, вывернувшись непредсказуемым образом, выйти за пределы кропотливо, любовно взращиваемого и украшаемого мною райского сада нашего будущего семейного счастья.

В то время я пытался иногда вообразить нашу будущую совместную жизнь не на начальном ее этапе, а гораздо позже, когда каждому из нас уже будет хорошо знаком весь широкий спектр излучения личности другого, дальняя периферия этого спектра (обратите внимание на намеренное использование инженерного лексикона). Я знаю Эмму давно,

с самого детства, но барометр моей мысли всякий раз показывает на бурю, на приближающийся шквал чувств, когда я предчувствую наслаждение предстоящим мне исследованием шумовой области ее každодневногo существования. Энтузиазм захлестывает меня, когда предвкушаю что-то вроде терпеливой охоты из засады будней за выражениями ее лица, когда она озабочена, например, мыслью, что и как наскоро приготовить на завтрак, как отдаляется немного от газовой плиты и наклоняется, чтобы видеть и регулировать пламя под шипящей сковородой. Или за тем, как именно она будет отталкиваться от спинки дивана перед телевизором, решив приготовить и разлить по чашкам чай или кофе: будет ли больше бодрости и энергии в перегруппировке тела и толчке, составляющих процедуру ее вставания с дивана, в присутствии гостей и тогда, когда никто, кроме меня не видит ее. Будет ли иметь место дополнительное отличие в динамике этого действия, когда она считает, что и я где-то в другой комнате и не смотрю на нее. И можно ли по этим нюансам прийти к каким-либо заключениям о месте, занимаемом мною в ее жизни.

Или куда, вернувшись с работы, сунет она поспешно стянутые с ног колготки, быстро прокладывая при этом в уме маршрут своих дальнейших перемещений и действий в знакомых мини джунглях нашей общей с ней квартиры (после того, как закутается в халат и привычно свяжет восьмерку пояса).

Сколько пасты кладет она на зубную щетку и фанатично ли елозит ею во рту, и насколько глупо-сосредоточенно выглядит она за этим занятием. Заметив мой взгляд в зеркале над раковиной умывальника, вытащит ли щетку изо рта и спросит ли, мешая слова с белой пеной: «Ты почему за мной следишь?» О, сколько пищи для размышлений даст мне этот вопрос! Как наброшусь я на коктейль его интонаций, исследуя, радуясь, пугаясь.

Будут, возможно, и забавные сценки, такие тяжелые для описания из-за своей замкнутости в колбе, помеченной «только для нас». Например, пребывая в особенно хорошем настроении, на одном из локальных будничных пиков расположения ко мне, она в задумчивости, почти механически, окликнет меня по имени («Родольфо...»), прибавит какое-нибудь насмешливо-сладенькое определение с намеренно-шутливо смещенным ударением («Родольфо-Комильфо», например) и начнет рассказывать о чем-то, а я прерву ее: «Извини, я не расслышал». Она вернется к началу, но я опять остановлю ее: «Этого я не пропустил. Что ты перед тем сказала»? Она посмотрит на меня в недоумении, потом догадается, рассмеется, а я не стану портить мизансцену каким-нибудь сдержанным выражением своей любви к ней, а наоборот, дразня, отдалюсь.

Или вот – о чем буду я думать в постели перед сном, вслушиваясь в ее рассказы о происшествиях прошедшего дня? Расскажет ли? На каком уровне женской доверительности в отношениях со мной она решится через год, два, пять лет?

«Знала бы ты, как я люблю тебя!» – скажу я когда-нибудь перед самым сном в ее затылок над краем одеяла. Но такое признание не годится для *Vanellus spinosus*. Я за секунду перестроюсь на притворно-ворчливый тон и добавлю: «Веревки бы из меня вила!»

Ах, она никогда не будет «вить из меня веревки»! Это не в ее характере. Но так я скажу через год. А через пять лет: «Знала бы ты степень моей любви к тебе...», но теперь продолжу тоном домашнего тирана: «Совсем обнаглела бы». И это тоже, разумеется, будет игрой и неправдой. Да, это – через пять, когда и тени сомнения не будет у нее в бесконечности моей любви к ней. Но не помешает ли ей заснуть моя шутка?

То есть я тогда планировал и рассчитывал настройку и даже пытался продумать приемы точной калибровки нашей взаимной зависимости, того баланса, который так важен в отношениях двух людей, живущих в супружеской близости.

Или еще – будут ли между нами ссоры? Подлинное разнообразие женщин проявляется в характере постановки и особенностях оформления ссор со своими мужчинами, логике и мотивировке обид. Например, соберемся мы к морю, а я потеряюсь, отстану в дороге, потому что полицейский будет предлагать мне усыновить двух непохожих, разного калибра и расцветки котят, одного побольше, рыжего, и другого, поменьше, бело-черно-желтого, и я буду разрываться между симпатией к котяткам и опасением, что Эмме не понравится, если я самостоятельно, без нее,

приму решение. Наконец, я пообещаю полицейскому подумать, поискать знакомых, которым нужны котята, и брошусь догонять Эмму. Найду ее уже на берегу и уже обиженную моим отсутствием. Я разденусь, сниму туфли, носки, рубашку, брюки, но от отчаяния снова надену туфли, которые теперь покажутся великоватыми на мне, и прямо так, в туфлях, войду в воду по щиколотки и стану бродить вдоль песчаного берега, среди слабеющих в накате, а затем отступающих волн. И все, кто находятся поблизости, будут, сужая глаза, поглядывать на мои ноги, и только побледневшая из-за моих публичных чудачеств Эмма каменно упрет взгляд в горизонт. И все поймут: мы – пара, мы вместе.

Кажется, патока получилась. Оставить в тексте? Убрать? Потом когда-нибудь вернусь к этому месту еще раз, подумаю.

Однажды я предложил Эмме не уходить, наплевать на все возможные последствия, остаться здесь, со мной. Я обрисовал ей ужасную альтернативу. Эмма, сказал я, дурачась, вот ты уйдешь сейчас, а я позвоню в протестный дом, попрошу привезти мне на мотоцикле курносую в шлеме с застежкой на подбородке, введу ее в дом, позволю надеть твой халат с цветами, усядусь с ней рядышком в обнимку вот здесь, на этом диване, мы станем вместе смотреть фильм «Красотка», и если она мне очень понравится, я сделаю ей массаж головы и даже поскребу легонько ногтями у корней волос.

Ах, какой божественной наградой служит мне смех Эммы! Нет, она не осталась, она в халате с цветами села у моих ног на пол перед диваном, позволила мне сделать ей массаж головы и поскрести легонько ногтями у корней волос, смеясь, сказала, что это даже приятнее секса, но не осталась.

Лишь однажды, после занятий любовью, она заснула на четверть часа, забавно засунув мизинец между спинкой моей кровати и плотно прижатым к ней матрасом. Как недолго был ее сон! Как слаб и непрочен был брошенный ею в моей спальне якорь – всего один лишь мизинец!

Свой следующий рассказ, концовка которого прямо адресовалась Эмме, я назвал: «Неловкость». Перечел сейчас и снова вижу, до какой степени все-таки я действительно был создан для счастливой семейной жизни и верил в преимущества моногамии.

Представляю себе сейчас читателя, прищурившего один глаз, тот, что над чашкой крепкого кофе, совмещающего с чтением короткий глоток, вдыхание кофейного аромата и снисходительно-понимающую улыбку – мол, всякому свойственно идеализировать то, чем он не обладает и к чему воделеет. Что ж, может быть, и так.

«Неловкость»:

33.

Когда я проснулся в гостиничном номере, кроме меня в нем были еще две женщины. Комната была небольшой и квадратной. К одному углу примыкала дверь, а в трех других стояли кровати, одна из которых была моя.

Одна женщина – та, что напротив – была молодая (лет двадцать семь), она читала цветной проспект, лежа на боку в легкой пижаме и прикрыв одеялом ноги. Другая – кажется, еще спала, но лицо ее было видно мне. Ей, видимо, было чуть за сорок.

Довольно глупая ситуация. Наверное, и вторая женщина не спит, а притворяется спящей, и обе ждут, чтобы я собрался первым и вышел из комнаты, дав им возможность привести себя в порядок.

Почти не разлепляя глаз и не надевая очков, я пошел к умывальнику между их кроватями и сполоснул лицо. Когда я вытирал его полотенцем, я услышал слева (там была молодая женщина) свое имя. Я удивился, откуда оно могло быть ей известно, но тут же это стало неважно, потому что, назвав меня по имени, она добавила, что предпочла бы, чтобы я воспользовался своим полотенцем, а не ее.

– Как же? – удивился я. – Здесь рядом с умывальником всегда висело мое полотенце.

Я оглянулся на свою кровать и увидел, что рядом с ней на гвоздике в стене висит полотенце, а рядом с ее кроватью никакого другого полотенца нет, и, значит, это – действительно ее.

Я стал извиняться, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно проникновеннее, но не глядя в ее сторону.

– Это потому, – сказал я, оправдываясь, – что я живу здесь один уже неделю, и все это время вешал свое полотенце на это место.

– Как же один? – отозвалась женщина справа (значит, она действительно не спала). – Я живу здесь уже две недели.

Я почувствовал, что краснею. Она, наверное, приходила, когда я уже спал, и уходила очень рано, оставляя тщательно застеленную кровать. Но все равно получалось неудобно: будто я игнорирую ее. Ведь вторая женщина намного моложе ее и очень миловидна. Правда, и у этой женщины очень правильные черты лица, как я успел заметить, пока она «спала». Но я был без очков и вполне возможно, хоть и не часто это случается, – когда разглядишь такое лицо, оказывается, что при общей правильности, все детали его вылеплены не очень удачно. Теперь уж я точно нацеплю очки только перед самым выходом.

Но до этого мне еще обязательно нужно побриться. Я взял в руку кисточку для бритья, но вместо того, чтобы как обычно выдавить пасту на ее щетинистый пучок, я макнул его в низкую белую чашечку с белой пеной. Я услышал безнадежный вздох молодой женщины и понял, что это была ее косметическая смесь. И снова я бросился извиняться. Обе женщины молчали.

Пока я брился, я думал, как бы мне загладить свою вину. С косметикой уже ничего не поправишь. Сбежать хотя бы за свежим полотенцем? Но если я принесу его в руках, то в этом тоже будет какое-то покушение на принадлежащий только ей предмет. Значит, нужно позвонить, чтобы полотенце принесла горничная. А еще я выйду и куплю им по какому-нибудь маленькому, но приятному подарку. Конечно, не цветы. Придумал – молоденькой женщине я куплю очень большой, очень свежий, очень оранжевый апельсин и, улыбаясь, протяну ей его на тарелочке, держа ее за край. Она поймет, что я специально держу за самый край, хоть и рискую, что апельсин скатится с тарелки, а кроме того у лежащего на тарелке апельсина есть кожура, которую она отделит сама. И все это значит, что улыбаясь и ценя ее, я уважаю абсолютную суверенность ее личности и ее физическую неприкосновенность. Но что же я подарю второй женщине? Тоже апельсин? Нет, нельзя. Получится, будто я нивелирую двух таких разных женщин. Но что же тогда?

С этой мыслью я покинул комнату, внизу попросил доставить в наш номер свежее полотенце, а затем, пройдя через холл и открытую стеклянную парадную дверь, вышел из гостиницы. Я шел наугад через парк с цветами, расположенный вместе с гостиницей на холме. Дойдя до конца парка, я уперся в ограду над обрывом. Внизу была шумная улица, на проезжей части было на удивление мало автомобилей, зато очень много цветных автобусов, троллейбусов и трамваев. Было много солнца, но главное – на другой стороне улицы на скамейке сидела моя жена. Она уже заметила меня и махала рукой. Я подумал, что в гостиницу я не вернусь, молоденькой женщине я pošлю апельсин на тарелочке, что послать другой женщине, я еще придумаю, чемодан пусть привезут на такси.

Благо, холм над дорогой высокий – я перелез через ограду, растянул полы пиджака и над автобусами, троллейбусами и трамваями планировал в раскрытые объятия вставшей со скамейки и улыбающейся мне жены.

34.

Леона к Шарлю с Эммой привела Бурнизыен. Он с первых предложений представил себя таким еврейским тори, даже назвал себя однажды неомаккартистом, сообщил, что во снах чаще всего видит, как распадается Европейский Союз, на вопрос о роде деятельности ответил, что он государственный служащий, не уточняя, чем конкретно занимается и каковы плоды трудов его на благо родной страны, какие именно горы сворачивает он ради ее процветания, какие препятствия устраняет со светлого ее пути. С самого начала я заподозрил, что с последним родом деятельности он как раз то и связан. Мог бы и не секретничать с нами, сказал я Эмме, у меня ШАБАК разве что ногти не выдирал во время своих проверок, в результате – с допуском своим я, наверное, могу войти даже в женскую баню. Привела ли Бурнизыен Леона, чтобы уравновесить левацкий радикализм Оме, или догадалась о наших с Эммой отношениях и приготовила мне изощренную месть, подсунав ей этого ультимативного самца (однажды, когда он

расхваливал новую модель бритвенного станка, мне представилась бреющая перед зеркалом лошадь), – не знаю. Может быть, и второе. Сказано ведь: «негоже глазеть, когда у дамы выглядывает астральное». А я глазел. И даже немного насмехался. Я сказал как-то в ее присутствии, что ничего не имею против религии, что очень многие люди, «верящие в одухотворенность космоса», в реальной жизни действуют исключительно из рациональных соображений, а если и совершают нерациональные и даже предосудительные поступки, то к религии их это не имеет никакого отношения. Но за вновь обращенных, добавил я, мне бывает страшно. Перегородка, отделяющая божественное от людского у них еще очень тонка, как кожа на родничке новорожденного, и если она дает течь или, не дай бог, совсем прорывается, тогда по закону сообщающихся сосудов выше расположенная духовность затопляет материалистические подвалы их сознания. Да, я насмехался. Тогда – поделом мне.

Сейчас вспомнил еще – Бурнизын к еврейскому новому году «Рош а-Шана» подарила нам всем по настенному календарю, в верхней половине каждого разворота которого вместо чего-то художественного, как обычно, были портреты выдающихся кабалистов и приводились их высказывания, видимо, наиболее удачные с точки зрения редактора и составителей. Я был искренне благодарен ей – сейчас настенных календарей не найти в магазине, наверно потому, что их дарят почти всегда по месту работы с отмеченными красным цветом нерабочими днями фирмы. Страховщики тоже часто вручают свои – с телефонами агентств (надо же! – «нтств» – пять согласных подряд, а все приятнее к небу, чем эти высказывания под портретами). Но черт дернул меня пошутить: «Очень любопытно, – сказал я, придав лицу наивно-простецкое выражение, разглядывая портреты и читая фразы под ними, – а календарь наступающего года или прошедшего?» Бурнизын вспыхнула и явно обиделась. Я не стал извиняться. Бесполезно. Моя ошибка. Нельзя шутить с женщинами, отношения с которыми у вас не ладятся. Вот Эмме я на недавний ее день рождения подарил работающий с компьютером минимикроскоп величиной с яйцо, если не считать подставки с гибкой металлической шеей. Я приобрел его по дешевке в закрывшемся стартапе, где с его помощью фотографировали в увеличенном виде участки электронных печатных плат в сборе. Я объяснил удивленной Эмме, что прибор предназначен для совершенствования обработки ее ногтей, и тем, как и рассчитывал, развеселил ее. Я несправедлив к Бурнизын, она ведь искренна в своих убеждениях, вообще-то, вполне миловидна, и думаю, многие мужчины (убежден почему-то, что, уж точно, все те, кого увлекает немецкая философия) – обожают такие, как у нее, широкие бедра. Просто любые мои словесные провокации, адресованные Эмме, неизбежно окрашены нескрываемой нежностью и потому воспринимаются ею всегда благосклонно. В этом все дело.

Возвращаясь к протезе равнинности. Каковы были самые первые высказывания Леоны, по которым я начал составлять свое представление о нем? Пожалуйста.

О людях доброй воли: миротворцы и пацифисты – первейшие возбудители войны. Ничего удивительного – куда податься педофилу, если не в школу или в детский сад?

О взглядах Оме: гуманистическая традиция, доведшая себя до анорексии.

О статьях в Интернет-сайтах и токбэкистах: журналист выблевывает, читатель вылизывает.

О религии: метода Всевышнего передавать указания через представителей по связи с общественностью себя не оправдала, так как не привела к единообразию представлений о происхождении и целях мироздания в умах всего человечества даже в случаях, когда на ответственную должность глашатаев истины в последней инстанции назначались такие выдающиеся, наделенные чрезвычайными полномочиями посланники как Моисей, Иисус и Мохаммед. Если Создатель хочет донести до нас что-то с не вызывающей кривотолков определенностью, выбора нет – ему необходимо явиться самолично и отметить свое появление впечатляющими, масштабными, но исключительно позитивного характера действиями. Демонстрация грандиозных катаклизмов, вплоть до конца света, не разрешит наших сомнений. Это не чудо, это мы и сами умеем.

Однажды мы вместе гуляли по Иерусалиму, подошли и к Стене Плача. Пока мы с Леоном и Шарлем дожидались возвращения Эммы из женской

половины, я заметил, что по небольшим различиям в темпе качания молящихся мужчин допустимо сделать предположение о различиях частот их постельных колебаний.

– Бога е... – глядя на черные гнущиеся спины, грубо, не улыбаясь, ответил Леон.

Между прочим, мы сошлись с ним в отрицательном отношении к набирающим силу в Европе нападкам на Коран. Инстинктивно ощущая необходимость формулирования столь серьезных и позитивных взглядов сразу на английском языке – этой современной латыни человечества, я, краснея за свое слабое владение ею, изрек: “It is ridiculous, counterproductive and unfair to attack ancient manuscripts written fifteen, twenty and twenty five centuries ago. Hit modern interpretations”. Леон снисходительно улыбнулся.

О нашем государстве: я предрекаю ему скромное, но несомненное величие. Частная инициатива в сочетании с объединяющей национальной идеей – это правильный комплект, а евреи делятся в моем понимании на две категории – на этой страны нынешних и будущих граждан и отходы еврейской истории. Сионизм – это стремление евреев не быть приживалками. Поэтому я – сионист, хуже Герцля!

О нашей религии: ортодоксальный иудаизм ведет к Освенциму, религиозный сионизм – к новой Иудейской войне.

О манипуляциях наших властей, перенаправивших в свое время поток российской еврейской эмиграции из Америки сюда: тот самый случай, когда неблагоприятные действия порождают благородный результат.

О христианских сионистах – союз евреев-агностиков с евангелистами неизбежен, стиль жизни и тех и других практически одинаков, а спор о происхождении Вселенной можно отложить до встречи на том свете. Умершие точно знают, кто прав.

О наших писателях: рыцари заржавевшего первопроходчества, плюс – протухшего социализма, плюс – истерии под соусом Холокоста. Но прежде всего они – конформисты. Их конформизм сегодня, пояснил он, не ищет милостей исполнительной власти. Она в наше время и в наших условиях ни дать им, ни отнять у них ничего не в состоянии, то есть – бесполезна и безопасна одновременно. Верноподданность современного конформиста, чей этикет – бонтон богемного бомонда, должна выдерживать экзамен на преданность этой самой богеме, которая теперь меньше пьет, курит и балуется наркотиками, но по-прежнему пропагандирует несбыточные проекты, которые порядочному человеку оспаривать неудобно. А кроме того, заведует всемирным центром раздачи лавровых венков и компьютеризированным складским комплексом мирской славы.

Тут, поскольку Леон коснулся проблем в области, которую я склонен считать до определенной степени своей, я выскажу и некоторые собственные соображения. В идеале автору, который подобно мне видит в литературе прежде всего лишь или даже исключительно – предмет интеллектуальной роскоши, конечно же, лучше держаться подальше от политических страстей, в трясушке которых бьется современное ему общество. Но что делать такому автору со своей безвестностью? Ведь он подобен пешеходу, идущему вдоль рельс железной дороги и высокомерно глядящему на проносящийся мимо грохочущий локомотив, влекущий за собой наполненные читающей публикой вагоны. Пример: вот писатель, склонный к ипохондрии и психопатии. Книги его естественным образом ипохондрией и психопатией тоже пронизаны, именно они выгодно отличает его произведения от творчества других авторов. Но этого мало, чтобы привлечь и удерживать внимание публики, но если он, например, откажется подать руку политическому лидеру, объявит громкий бойкот кому-нибудь, то есть будет вести себя как классический пророк и психопат, у него несравненно больше шансов в борьбе за внимание общества. Особенно если характер его выступлений согласован с расписанием поезда, чей маршрут проходит через всю Европу, от пункта «О» в столице какой-нибудь скандинавской страны до пункта «М», расположенного где-нибудь в близости Гибралтарского пролива. Признаю, не стоит читать произведений писателя, который настолько глуп, что не способен к художественным талантам присовокупить элементарные навыки агента по сбыту собственной литературной продукции. Если я задумаюсь об известности, то над инструментарием ее достижения мне придется основательно поразмыслить. Но способен ли я к действиям такого рода? Не достаточно ли мне оставаться писателем одного внимательного,

понимающего и сочувствующего мне читателя? Моей Эммы, конечно же, трусливо отгородившись от всех других людей фразой поэта, с всегдашней кажущейся легкостью стекшей с его пера на бумагу: «Люди верят только славе...». А здорово было бы, подумал я, если бы запретили вдруг кино, театры, телевизор, интернет и всех авторов, кроме меня, и тогда моя повесть об Эмме стала бы для человечества чем-то вроде Библии.

А вот высказывание Леона об израильских арабах: они как комары на задницах парочки, занимающейся любовью в лесу, – катаются верхом, едят и пьют вволю, смотрят трехмерное порно, но своим жужжанием и укусами портят удовольствие любящим. Впрочем, арабоненавистником он не был и в шутку с удовольствием повторял ответ Сергея Витте на вопрос Александра Третьего («Правда ли, что вы стоите за евреев?»): «Если вы не можете утопить их в море, дайте им жить».

Я, признаться, чуть не замер с открытым ртом, когда Шарль, наш скромняга Шарль, спросил, принципиально ли отличаются «наши арабы» от евреев в Европе? Я возмутился этим сравнением, но Леон только усмехнулся.

В свое время, еще до знакомства с Оме, мы все втроем, по очереди, прочли «Историю евреев» Джонсона, и Эмма как-то вспомнила, что родственник Оме, Курт Тухольски, там упоминался. Мы разыскали это место. «...исходившее слева печатное насилие играло на руку антисемитам. – Значилось в главе о Холокосте. – Многие из его (Тухольски) заявлений были сознательно рассчитаны на то, чтобы вызвать ярость у людей. «Нет в германской армии такого секрета, – писал он, – который я с готовностью не передал бы иностранной державе». Однако разъяренные люди, особенно если они не наделены красноречием и не способны ответить тем же, вполне могут дать ответ физически или проголосовать за тех, кто может; а Тухольски и его собраты сатирики злили не только профессиональных армейских офицеров, но и семьи бесчисленных резервистов, погибших на войне. А уж антисемитская и националистическая печать постарались, чтобы самые ядовитые насмешки Тухольски приобрели самую широкую известность». Мы поискали еще информацию о Тухольски в Интернете, и оттуда узнали, что он никогда не скрывал своего еврейского происхождения, но считал себя скорее немцем, чем евреем. Он был убежден, что фашизм победил в Германии надолго, его книги нацисты сожгли, потом его самого лишили гражданства и выслали за антигерманскую деятельность (1933). Он жил в Швеции и вскоре после того, как в шведском гражданстве ему было отказано, покончил с собой (1935). «Жалко все-таки немецкого холуя», – прокомментировал добрый Шарль, с легкостью позаимствовав терминологию из советских фильмов нашего детства.

Вообще, изменения, происходившие на моих глазах с мягким, от природы добрым Шарлем, не переставали меня удивлять – он в последнее время «сионизировался» и правил на глазах. Он заявил, что игнорирует арабское чувство чести, потому что единственной объединяющей их (арабов) идеей (двухсот с лишним миллионов человек) является вытеснить с мизерной части занимаемого ими немалого пространства горстку евреев, считающих себя этих самых арабов ближайшими семитами-родственниками. Он проникся недоверием и ревностью к евреям рассеяния, когда узнал, что решительно ничего не мешало им вернуться на родину в первые годы Британского мандата в Палестине, что англичане отвернулись впоследствии от сионистской идеи не только из-за необходимости для них дружбы с арабами по экономическим соображениям, но и потому что сама сионистская идея, которую поддержал практическими шагами переселения лишь один процент евреев, обернулась смехотворным скоморошеством. «Народ плебеев, – сказал сомнительный еврей Шарль и желваки заиграли на его скулах, – а еще повторяют за русским писателем, что это русским нужно по капле выдавливать из себя раба». Даже всегда такой нейтральный при общении с мужем взгляд Эммы выразил живое внимание. Шарль, новейший символ возрождения еврейского духа, выглядел поистине грандиозно. Я улыбался, глядя на его запал, а он только разогревался, как оказалось, и заявил еще, что ничего не имеет против христиан, в которых видит последователей разросшейся ветви иудаизма, но не симпатизирует крещеным жидом. Конь леченый, вор прощенный и т. д. Когда он сказал это слово – «жидам» – я понял, что в свои еврейские корни он действительно верит, иначе не посмел бы так говорить, а

значит и мне вполне позволено и даже не остается ничего другого, как только причислить его к «избранному народу». Пусть. Он заявил еще, что соглашающийся на вторичность – есть чернь. «Это ведь на уровне определения, – сказал он, – я тут от себя ничего не добавляю». Черт! Эммин роман с философией и для него, оказывается, не прошел даром!

Изменения, произошедшие с Шарлем, я объяснил себе тем, что для естественного универсализма российского еврея переезд сюда, приводящий к погружению в сугубо еврейский океан жизни, является таким же контрастом как прыжок из парной бани в снег или наоборот, и потому часто откликается в его душе либо чрезмерными экзальтацией и воодушевлением, либо наоборот – полным отторжением. Для Шарля же, которого я так хорошо знал в детстве и которого (как и он сам, я уверен) никогда не причислял к евреям, этот переход был лишь сменой одной национальной формы мышления на другую. Так же легко, должно быть, давался немецким принцессам переход в православие, когда они выходили замуж за российских наследников престола. Но вдохновленный нашим с Эммой удивлением Шарль не успокаивался и продолжал вещать все в том же приподнятом тоне: «Мы один из самых знаменитых и древних народов планеты. Изобретенному нами богу вот уже две тысячи лет поклоняется «золотой миллиард» народов Запада. Несмотря на наше многовековое унижение, многие по сию пору продолжают подозревать нас в тайной власти над миром. А мы стучимся униженно в двери какой-нибудь Канады: «Извините, ви ни примете нас к себе на работу и постоянное место жительства в ваших чудных, причудных городах Торонто и Монтриоль?» «Ти-фу на нас!» – брезгливо закончил Шарль.

А он, оказывается, умеет неплохо изображать еврейский акцент, подумал я, он ведь приехал к нам откуда-то из украинской глубинки, там, наверное, исторически жили во множестве евреи. Там были эти самые «местечки». Холодок, вдруг, пробежал у меня по спине – а вдруг он в детстве за моей спиной вот так же кривлялся... А вдруг его победа в нашем соперничестве за Эмму обусловлена... Что, и Эмма? Господи, какие глупости!

Но коль скоро уж коснулся я ксенофобии и связанных с ней обид и подозрительности, выскажу здесь одно соображение, которое недавно пришло мне в голову. Есть любопытное противоречие в той легкости, с которой позволяем мы в своей собственной однородной, безопасной среде шуточный негатив в отношении другого племени и неприязню, которую испытываем мы же, когда на наших глазах оскорбляют на этой почве конкретного человека. И тут свисает в темноте с потолка петля, а при ярком бальном освещении разложены под столами, покрытыми опускающимися до самого пола скатертями, капканы, в которые очень даже легко угодить. Дважды на моей памяти «там» хорошо знакомые мне, вполне образованные люди, как правило, перепив и не осознавая своей причастности и присутствия, делились наблюдениями, выставлявшими евреев в сомнительном свете. Оба на следующий день извинялись, я знал, что искренне, знал, что на трезвую голову не принимают всерьез того, о чем говорили вчера, но сделать ничего уже было нельзя. Охлаждение в отношениях с ними оставалось, и не видно было возможностей возврата к прежнему состоянию.

Глядя на вышеприведенный абзац с литературно-художественной точки зрения, я понимаю, что для восприятия высказанной мысли с максимальным сочувствием текст этот должен быть как бы перевернут и оживлен. То есть я должен выставить именно себя в нем виновным, а не жертвой, изобразить себя перепившим, угощающим участвующих в беседе ксенофобскими (русофобскими, например) сентенциями в присутствии Шарля (что-нибудь, например, о неготовности русских к демократии западного типа), затем извиняющимся перед ним. А через какое-то время, когда я опять увлекусь, «приму», как говорится, «лишнего на грудь», Шарль пожмет плечами и скажет окружающим: «Ну, вот. Родольф опять надрался, через десять минут начнет русофобствовать, а через час – обрыгает стену». Да, нужно переделать, так и опишу. Но не сейчас, неприятно все-таки, потом, – когда закончу этот роман, отшлифую его, буду уже вполне им доволен. Эти строки как раз и послужат мне напоминанием.

Явно нарушившееся теперь политическое равновесие в нашем небольшом обществе смущало меня, и теперь вам, должно быть, станет яснее, что толкнуло меня в «леваки-либералы», так что в какой-то момент мне представилось даже, что я вполне мог бы стать полноправным членом какого-нибудь очень исторического, очень заслуженного кибуца, похожего на приют для свергнутых монархов и разорившихся герцогинь (монархов идей, герцогинь духа). Настроиваясь же на волну собственной интуиции и отвлекаясь от посторонних соображений, я (как и многие другие) пребывал в убеждении, что я – человек умеренный, объективный. Я не знаю, что думают историки и психологи о причинах рано возникшего у людей стремления прикрывать зад и гениталии, но испытываю смущение и неловкость, когда слышу басистый словесный пердеж ура-патриотов или становлюсь свидетелем церемонии, на которой выпускает в небо человеколюбивый демагог полудохлого голубя мира.

Ох, черт бы подрал этого Леона, а вместе с ним – еще и Бурнлизен, и Оме. Как я вообще не люблю новых знакомств. Как много времени нужно мне обычно, чтобы проявить себя так, чтобы у постороннего человека сложилось верное обо мне представление. Какой адской кислотой наполняются мои внутренности, когда мне хочется донести до не знающего меня достаточно человека свою мысль, а он вдруг отстраняется, начинает, словно прикрывая ставни, стирать с лица бывшее у него до сих пор на лице приветливое выражение или даже явно хмуриться. Почему? Испуган ли он тем, что, как показалось ему, длинный, узкий, раздвоенный язык мой близко мелькнул у его глаз, счел ли, что – черт его (меня то есть) знает – не глуповат ли я, не страдаю ли от наплыва навязчивых идей, не зашорен ли, не из тех ли неприятных извращенных то ли снобов, то ли экспериментаторов, что страницу в отложенной книге способны заложить дугой срезанного ногтя.

Тяжело мне с незнакомцами. Иногда в такой ситуации я напоминаю самому себе человека, в молодости бывшего активным донором банка спермы, так и не женившегося и не создавшего семьи, а теперь сидящего на набережной, никем не узнаваемого. И вот сидит этот воображаемый я и грустит, разглядывая проходящую мимо него и, может быть, очень близкородственную ему молодежь. Я потому так люблю бывать у Эммы с Шарлем, что они-то принимают меня всего таким, какой я есть, безоговорочно, всегда. Настоящие «старые друзья». Кавычки в данном случае означают не иронию, а подчеркивают близкое в нашем случае соответствие эталону этого понятия.

Еще что-нибудь из высказываний Леона? Вот:

«Я не удивлюсь, если демократы в Америке на следующих выборах выставят кандидатуру болотной жабы на пост президента, лишь бы доказать себе самим и продемонстрировать всему миру, какие они прогрессивные люди и до какой степени преданы делу защиты флоры и фауны».

Еще? Пожалуйста:

«Курт Воннегут – один из пророков современных мерзавцев. Если бы меня звали Курт, я может быть, тоже оплакивал бы бомбардировку Дрездена и всем рассказывал, как меня, военнопленного, немцы спасали в бомбоубежище от союзников. Но меня зовут Леон, я помню об Освенциме, куда меня наверняка укатали бы».

Еще что-нибудь на американскую тему? Вот: «Нью-Йорк Таймс» – это не газета и не направление мысли, это кроличьи уши еврейской опасливости.

Как и желание показать всему миру, что такое настоящий хороший еврей, подумалось мне, когда я услышал от Леона эту сентенцию.

В качестве самых выдающихся американских евреев он назвал Генри Киссинджера и Моника Левински. Я прислал ему по электронной почте статью о Хаиме Саломоне, оказавшем неоценимую финансовую помощь армии Джорджа Вашингтона в войне за независимость, но не почувствовал, что этот материал произвел на Леона должное впечатление, хотя в статье упоминалось как о явных знаках признательности по отношению к евреям Америки – о шестиконечной звезде на обратной стороне однодолларовой купюры и там же – о еврейском семисвечнике – меноре. Это правда, что купюра всего лишь однодолларовая, что знаки признательности находятся на обратной ее стороне, что углы звезды Давида стыдливо скруглены, что менора – вниз головой, а если перевернуть купюру, то и вообще может показаться, что это вовсе не семисвечник, а вскрытая коробка

«Беломорканала», но Хаим Саломон – это факт американской истории, в его честь выпущена почтовая марка. «На лицевой стороне ее изображен портрет Саломона, – значит в статье, – а на обороте, на клейкой стороне, напечатано светло-зеленым шрифтом: «финансовый герой, бизнесмен-брокер был ответственным за сбор как можно большего количества денег для американской революции и спасения нации от уничтожения». Вот чем меня иногда раздражают американцы, так это склонностью к преувеличениям – ну, так уж и ставили британцы своей целью «уничтожение» американской нации!

Еще? На здоровье:

«Дряхлеющие, слабые в военном отношении, теряющие волю к жизни культурные страны свое существование устраивают по системе «крыш» и «откатов». Европейские страны нужно спасать. Франция, например, должна стать резервацией французов. Они не менее самобытная народность, нежели американские индейцы. Французы, безусловно, заслуживают собственной резервации. Так должен быть поставлен вопрос».

Не скрою, парадоксальность и смелость его мысли иногда вызвали во мне симпатию, даже когда утверждения его казались мне спорными и даже вовсе сомнительными. Так он утверждал, что со всеми оговорками, у нас все же нет других друзей и союзников, кроме Запада, и нужно изо всех сил стараться не мешать ему выкачивать дешевую ближневосточную нефть и возвращать себе нефтедоллары, продавая оружие. Не нужно слишком опасаться этого: сила не у тех, кто оружие покупает, а у тех, кто его продает и тут же изобретает новое.

И есть у него идея, которая близка моей нелюбви к «су-су-су». Не любовь и голод правят миром, утверждал он, а избыток усердия. Немцы довели до абсурда национальную идею, русские и евреи – социальную, евреи и азиаты – религиозную, современная Европа – идею терпимости. И ни география, ни степень культурной «продвинутой» не имеют тут никакого значения, беды мира – от избытка усердия.

Кстати, о евреях и социальных проблемах в их собственном государстве, – отличный повод для меня сейчас отвлечься от всего, связанного с национальной идеей, и главное – от мыслей о Лео, излишне, по моему мнению, на ней концентрирующегося. Так вот – совсем недавно с Шарлем (при моем деятельном участии) приключилась история, которая, как мне кажется, вызвала бы резонанс в обществе, будучи изложенной в речи с главной трибуны страны – трибуны кнессета, если бы позволено было мне произнести ее там.

36.

Родольфо-Додольфо. Речь в Кнессете.
(С комментариями секретаря заседания и
двумя посткомментариями самого оратора).

Уважаемые дамы и господа! На прошлой неделе с другом моего детства Шарлем произошел малоприятный инцидент на одном из почтенных предприятий оборонного характера, чья многолетняя деятельность и производимая им продукция являются предметами законной гордости граждан нашей страны.

А! А! А! А! А! А! А! А! А! Убедительно прошу вас не дремать, господа парламентарии!

В годы поразившего мировую финансовую систему кризиса, к счастью лишь незначительно задевшему нашу небольшую но, как оказалось, устойчивую экономику, работники фирмы дали согласие на временное ухудшение условий найма.

Ю-у-у-у! Ю-у-у-у! Ю-у-у-у! ... дали согласие на временное ухудшение условий найма.

Когда же положение исправилось, администрация часть образовавшихся доходов потратила на премии руководству, а улучшить условия трудящихся отказалась.

Др-др-др-др! ...улучшить условия трудящихся отказалась.

Рабочий совет объявил о санкциях: он отказался впускать на территорию субподрядчиков, к числу которых относится и мой друг, тем самым на время забастовки лишив его и многих других честных тружеников их законного заработка.

Ш-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Поясняющее вступление закончилось, теперь разворачиваются настоящие действия и вы, господа, слушая мой отчет о них, теперь уже и сами не захотите больше отвлекаться, листая брошюры или посылая эсэмэски.

Шарля на входе в фирму остановил рабочий пикет. Шарль был опешен. Шарль никем не был предупрежден. Шарль был возмущен и обижен. Стоя за входными воротами, он позвонил мне, своему давнему другу, о котором ему хорошо известно, что у меня тоже есть пропуск в эту контору, и о том, что я всегда, с самого нашего детства, прихожу ему на помощь в подобных ситуациях.

И я, уважаемые дамы и господа, действительно тут же поспешил на выручку. Я подъехал к опущенному шлагбауму и предъявил пропуск, но на моем пути встали три человека, каждый из которых выглядел крепче меня и мощнее Шарля.

– Вору! – закричал я, открыв стекло.

(Члены Кнессета встревожились – прим. секр. зас.).

– Вы сами продолжаете работать! Столовая не закрыта, потому что вам хочется жрать! Уборщицы выворачивают ваши мусорные корзины! Администрация вертится в кожаных креслах! А Шарль как последняя собака оставлен за воротами и лишен заработка!

Если бы я сделал паузу, возможно, продолжение было бы иным, но, дамы и господа, я уже вошел в резонанс со своим обостренным чувством справедливости и прокричал:

– Во-ры! Та-ти! Во-рю-ги!

Да, это – правда, – я кричал, подражая сирене, то есть меняя тональность и громкость! И тогда средний из этих троих, ростом поменьше, но самый коренастый, впал в патетику, он встал перед моей машиной и заявил:

– Ну, давай, дави меня! Дави!

Я, господа члены Кнессета, человек не богатый, но с замашками эстета и потому езжу на не очень дорогом, но славном автомобиле, и мне не показалось тогда, что этот пролетарий заслуживает быть раздавленным такой машиной. (Гул на скамьях социал-демократии, неодобрительные возгласы – прим. секр. зас.). (Нужно мне было опустить это место в своей речи, Кнессет, конечно, – не трибуна для эстетствующих инженеров – прим. оратора).

Но я, господа, нажал на акселератор. (Выдох ужаса, крики возмущения в зале – прим. секр. зас.).

Дай бог вам, господа члены Кнессета, всем выглядеть так, как этот раздавленный мною пролетарий!.. (Внезапная тишина в зале, многие делают знаки охране Кнессета, которые можно истолковать как побуждение работников безопасности задержать и арестовать оратора – прим. секр. зас.).

...я, господа, затормозил, не доезжая до его коленей, а он подбежал ко мне, открыл дверь машины и, занеся надо мной кулак, остановил его на таком же расстоянии от моей головы, на которое я приблизил бампер моего автомобиля к его ногам. (Вздых облегчения, покачивания головами в зале – прим. секр. зас.).

Теперь ко мне подошел самый интеллигентный из всех троих. Он знал меня по работе, он говорил со мною вежливо, хотя поначалу я продолжал оскорблять и его теми же словами, с которыми появился на сцене описываемой мною производственной драмы. Немного успокоившись, я напомнил ему, как однажды мы встретились с ним на тель-авивской набережной. Давай построим рабочую модель, сказал ему я: встретив меня на набережной напротив фонтана, ты встряхиваешь из моих карманов недельный (двухнедельный, кто знает, сколько еще продлятся ваши санкции?) заработок, нет, ты не присваиваешь эти деньги, ты рвешь купюры у меня на глазах и обрывки швыряешь по ветру в сторону моря. «А теперь разворачивайся, – говоришь ты мне, – дорога к дельфинарию тебе запрещена, иди в сторону порта». Трудно представить такое? А? – вопрошал я с торжеством в голосе. – Невозможно? Не мог ты вот так... Правда? А ведь именно так вы поступаете сейчас с Шарлем! Именно таким образом! Не стыдно?

Ему не стало стыдно, господа. Говорю об этом с сожалением и с грустью. Он ответил мне, что придя работать на такое предприятие, где имеется профсоюз сознательных рабочих, его сильная организованная ячейка, и Шарль, и я должны быть готовы к подобному повороту событий.

– Но ведь это спор – ваш с администрацией! И вы, и администрация продолжаете работать! Ведь страдает только Шарль! Знаешь ли, как называется философия, которая оправдывает неблагоприятные средства ради высоких целей, которая позволяет превращать в заложников и жертв непричастных? Знаешь? Она называется – большевизм! Хуже! Она называется – фашизм! Фашизм! – и я опять перешел на крик.

Мой знакомый махнул рукой и отошел. Тогда ко мне приблизился третий. Он был из наших, из «русских».

– Ну, ты, блядь, – начал он издали, – хочешь, я позову сейчас пятьдесят пролетариев, и они порвут тебя, как Тузик грелку? Хочешь?

Я был еще разгорячен и сказал: «Зови», – но уже без восклицательного знака.

– Хочешь, я устрою так, что ни ты, ни твой ебанный рогатенький друг никогда не переступите больше порога этой конторы? Хочешь?

– Валяй, – ответил я скорее по инерции и глянул на стоящего рядом с моей машиной Шарля, у него на голове, как в детстве, торчал на макушке сдвоенный ежик. «Русский» тем временем уже набирал номер на своем сотовом телефоне. Я сделал знак рукой Шарлю, и он подсел ко мне в автомобиль. Мы старые друзья с ним, понимаем друг друга с полуслова, можно бросить его дешевую машину на здешней стоянке, ничего с ней не случится.

– У футбольного поля – двое ворот. Мы вернемся с электрошокерами и баллончиками со слезоточивым газом, – сказал я из еще не закрытого левого окошка, сидя за рулем и разворачивая машину. Не знаю, хорошо ли было меня слышно нашим гонителям.

– Мы вернемся с ножами и кастетами, – добавил Шарль, сидя рядом со мной на переднем правом сидении. (Как изменился мой друг за несколько лет жизни в нашей замечательной, свободной стране! – прим. оратора). Пятьдесят рабочих, может быть, чуть меньше, показались на пороге главного подъезда, я нажал на газ и уже не тормозил до ближайшего светофора, расположенного на расстоянии около полукилометра от ворот фирмы. Я наблюдал в стекло заднего вида – нас не преследовали. А когда меня не преследуют, господа, я думаю, я пытаюсь осознать увиденное и прочувствованное мною. И вот, к каким выводам я пришел: я, господа, не адвокат свинского капитализма, и мне неприятны его манеры плечистой прачки, отжимающей белье над корытом! Но должен признать, что в недрах свинского капитализма иногда (иногда, господа!) рождается стыд и раскаяние, и это отличает его от социалистического свинства, бьющего с размаху и после гордящегося своими деяниями.

Уважаемые парламентарии! Дамы и господа! Мы с Шарлем на самом деле не хулиганы, не экстремисты, не нарушители законов. Мы поборники социальной справедливости, свободы, равенства и братства, равно как и сторонники принципов свободного рынка, и ныне обращаемся к вам! Защитите интересы Шарля! Его простой должен быть оплачен, он должен получить справедливую компенсацию! Иначе как я смогу и дальше считать себя его лучшим другом, как смогу видеть в вас нашу с Шарлем и общую для всех граждан страны справедливую мать?!

(В зале заседаний к концу выступления господина Родольфо-Додольфо среди дослушавших его до конца дюжины депутатов преобладали представители арабских партий. Они хранили молчание. – Прим. секр. зас.).

37.

Несколько позже, уже наслушавшись сентенций Леона, я написал рассказ, целивший в его взгляды. С этого рассказа под названием «Радикал» пусть и начинается третья и завершающая часть моих записок. Конечно, в этой миниатюре, написанной от первого лица, меня не стоит ассоциировать с рассказчиком, а Леона – с его собеседником. Возможно, таким образом расщепляется мое собственное сознание.

Потому, наверно, я спросил однажды самого себя: сколько этнических англосаксов встретил я за свою жизнь в России? Ни одного. А здесь? Тоже не припоминаю. Не означает ли это, что они селятся только там, где играют первую скрипку?

Продолжаю ли я сегодняшний, был второй мой вопрос к самому себе, сочувствовать Льву Разгону в его возмущении речами того русского эмигранта-националиста? Не уверен, был мой ответ.

И в третий раз задался я вопросом: тот ли я теперь человек, которого в юности возмутил пушкинский «Выстрел»? Пушкин, обладатель незаурядного интеллекта (кстати, вовсе необязательного для поэтов), и сам с веселой иронией относился к вопросам чести. Тем более мне, родившемуся в середине 20-м века, естественно было считать нелепостью допущение, что человеческая жизнь может быть подвергнута смертельному риску ради инфантильных представлений о достоинстве. В продолжение недлинного рассказа в девяти эпизодах (которые для удобства выстроены мною в строгом хронологическом порядке, а не в той затейливой последовательности, в которой изложена история) автор, сам павший на дуэли «невольником чести», предлагает нам, словно в оправдание своей будущей нелепой гибели, под разными углами полюбоваться гранями кубка, в котором пенятся замешанные на чести и достоинстве агрессия и насилие:

Эпизод 1. Из-за зависти к блистательному молодому графу офицер гусарского полка Сильвио нарывается на пощечину.

Эпизод 2. За оскорблением следует хватание за сабли, обмороки дам и, наконец, вызов на дуэль.

Эпизод 3. Сильвио отказывается от права первого выстрела, и жребий дает возможность графу с двенадцати шагов прострелить его ФУРАЖКУ.

Эпизод 4. Перед ответным выстрелом граф ест черешни, которые принес в своей, опять же, – ФУРАЖКЕ (мне, начинающему литературному стервятнику, невозможно было не отметить эту очаровательную, на мой взгляд, переключку головных уборов графа и Сильвио, не взять ее на заметку, не попытаться развить на свой лад достигнутый почти два столетия назад эффект).

Эпизод 5. Не желая убивать графа в момент, когда тот демонстрирует столь восхитительное пренебрежение жизнью, Сильвио откладывает выстрел («вы завтракаете, вам сейчас не до смерти», говорит он графу), уходит в отставку и удаляется в жалкое местечко, в котором перечень доступных развлечений включает такие аттракции, как обед в «жидовском трактире» и игра в карты с офицерами расквартированного в местечке полка.

Эпизод 6. Сильвио не вызывает на дуэль пьяного поручика, швырнувшего ему в голову во время игры в карты тяжелым шандалом (медным подсвечником), из-за чего рассказчик, бывший до того ближайшим другом Сильвио, отворачивается от него, считая честь его замаранной.

Эпизод 7. Сильвио получает письмо, из которого узнает о том, что граф вступает в брак с прекрасной девушкой, то есть, наконец, по-видимому, имеет веские основания начать дорожить жизнью. Сильвио только теперь объясняет рассказчику, что не застрелил недотепу-поручика лишь потому, что не хотел подвергаться даже малейшему риску, не получив прежде удовлетворения по первому давнему счету.

Эпизод 8. Сильвио настигает графа и его молодую жену в деревне, где они проводят медовый месяц. Сильвио снова удается унижить графа, навязав ему жеребьевку и повторный первый выстрел, результатом которого был еще один промах и дырка в картине, изображавшей пейзаж в Швейцарии.

Эпизод 9. Вошедшая юная жена бросилась в ноги Сильвио. На вопрос взбешенного унижительной ситуацией графа, будет ли Сильвио, наконец, стрелять, последний ответил (и тут уж я чувствую себя обязанным цитировать точно по источнику): «Не буду, я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Передаю тебя твоей совести», – после чего всадил еще одну пулю в швейцарский пейзаж, аккуратно – в только что проделанное в ней пулевое отверстие.

Вот так, все. Нет, не совсем все – очень сильное впечатление произвела на меня в юности деталь, упомянутая в эпизоде 4: граф в ожидании ответного выстрела продолжал выбирать из фуражки спелые черешни и выплевывать косточки, которые долетали до Сильвио. То есть этот граф повел себя почти так же, как я сам, когда плюнул в старшекласника, обманом выманившего марки у Шарля.

Я нынешний, перечитывая эту историю уже иными глазами в связи с родившимся во мне чувством национального достоинства, племенной и основанной на ней личной чести, все же обнаружил, что в душе моей шевелится некий червь, активность которого интеллектуальная традиция связывает с появлением сомнений. Определив их причину, я отправился немедленно в супермаркет за черешнями. Продукт этот нехарактерен для

наших, отличающихся жарким климатом мест, но сейчас был еще и не сезон. Я нашел на полках только банку с консервированными вишнями в собственном соку. Дома меня ждало разочарование – из казавшихся сквозь стекло банки совершенно целыми вишен были удалены косточки. Я доставал вишни ложкой с длинной, тонкой ручкой, отправлял их уныло в рот, как вдруг почувствовал с радостью, что одной косточке удалось все же ускользнуть от тотальной кастрации вишен. С драгоценной косточкой во рту я отошел к входной двери своей квартиры и, целясь через прихожую в дальний угол гостиной, немного отклонил назад верхнюю часть корпуса, набрал как можно больше воздуха в легкие, напружинил язык и мощно плюнул. От двери до замеченного места падения косточки (сама она исчезла под диваном) я насчитал девять шагов. Увы, сомнения во всем, что связано с честью и достоинством, как вишневая косточка под диваном, проживают в моих душе и мыслях.

Но пора приступить к третьей части и открывающему ее рассказу «Радикал».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

Голова его не напоминает ни утюг, ни пепельницу, даже обыкновенной черной кипы на ней нет. Но мой знакомый, бывший российский еврей, а ныне израильтянин со стажем, будучи обычным во всех прочих делах человеком, – радикал в национальном вопросе.

Нагнав меня на тель-авивской набережной, обычном маршруте моих прогулок, когда я посещаю страну своих предков, после приветствий, после вопросов о личном благоденствии, в ответ на естественно следующий за ними вполне формальный вопрос: «Ну, что новенького в стране и в мире?» – он провозглашает напыщенно:

– Двадцатый век был столетием выбора между свободой и тоталитаризмом.

И с этой стартовой площадки он устремляется к чему-то действительно «новенькому»:

– Век двадцать первый пройдет под знаком борьбы между универсализмом и суверенностью самобытных культур.

Эта мысль кажется мне интересной, я даже готов поучаствовать в ее разработке и углублении, но он уже спрыгивает вниз, к частностям:

– Если есть что-то общее у меня с графом Толстым, – он, словно оставив высказанное им обобщение моей голове, теперь обращается к моему же локтю, которого касается деликатно и бережно, – это, что и для меня тоже еврейский вопрос в России – на девяносто девятом месте.

Я не был бы вполне уверен в отношении того, куда он клонит, если бы данное утверждение не было высказано с оттенком высокомерия и, как показалось мне, – пренебрежения. Поэтому я не стал уточнять, что именно он имел в виду, а сразу горячо возразил:

– О чем ты вообще говоришь! – воскликнул я. – Посмотри, как много желанных и почетных мест занято в нынешней России евреями. Даже в правительстве! Просто букет шафировых! А приближенные олигархи!

Он поморщился, словно увидел празднование Хануки в Кремлевском дворце.

– Это временно, – сказал он убежденно, – все держится на нынешнем хозяине в России. Следует признать: те, кто наставлял его в юности, если и пытались, не преуспели в деле воспитания его в рамках старой европейской традиции – юдофобом и джентльменом. По крайней мере, в отношении юдофобии – не получилось. А значит, нынешняя ситуация уникальна, и когда он отойдет от власти, одному богу известно, что будет, – не вернется ли к жизни старая традиция, в соответствии с которой для общения с евреем достаточно всего двух чувств: зрения, чтобы видеть насквозь, но не замечать, и осязания, чтобы чувствовать даже шерстку длинного хвоста, который навораживают на руку, чтобы то, что к этому хвосту пристегнуто, не забегало вперед по своей извечной привычке. Вспомни историю с «добрым» Александром Первым, затем «злым» Николаем Первым, потом опять «добрым» Александром

Вторым и затем снова «злыми» Александром Третьим и Николаем Вторым. Во все эпохи временно устойчивое «статус-кво» порождало иллюзию неизбылемости.

– Конечно, российский еврей волен и окончательно решить вопрос, провозгласив: «Я больше не еврей, я чувствовал это и раньше, но теперь заявляю со всей ответственностью, я – русский», – но заметь, – с увлечением обратился ко мне мой собеседник, – переход из русских в евреи и из евреев в русские в России несимметричен. Русские субботники, например, прибывшие в наши палестины в начале прошлого века, приняты здесь с симпатией. Потому что их поступок – от религиозного чудачества, от подвига самоотречения, то есть имеется в нем что-то по-человечески крупное, вызывающее расположение. Чувства в отношении проделавших обратный путь – как правило, смешанные, помнишь ведь – «крещеный... леченый... прощенный». Оно сродни двойственности нашего отношения к «лучшему другу человека»: перед вами тут с одной стороны – добровольно привязавшееся к вам существо, с другой стороны – ведь...

Он запнулся, вспомнив, с кем говорит, и поспешил больше тоном, чем не запомнившимся мне словесным горохом, который должен был свидетельствовать о широте его взглядов, загладить неловкость. Впрочем, убедившись, что его отвратительный выпад сошел ему с рук (не понимаю почему, но я сделал вид, что на это откровенное хамство не обратил внимания), он быстро забылся и продолжил почти в том же духе, разве что, чуть-чуть осторожнее:

– Впрочем, уж меньше всех в России стоит беспокоиться о евреях, для них теперь (не то что в прошлые времена) – все дороги открыты: есть Израиль, это вообще без проблем и в любой момент, а потому может и подождать. Есть еще Германия, и если немецкое покаяние так же основательно сколочено, как их автомобили, можно рассчитывать, что оно просуществует довольно долго. Подсуетиться нужно, чтобы попасть в Америку. Но это – оптимальный вариант: как говорится, more the same, та же вторичность, что в России, только в несравненно более благоприятной обстановке.

– Ну, уж тут ты точно загнул, – сказал я уверенно.

– А перечти-ка американских евреев-писателей – Филлипа Рота, Сола Беллоу, посмотри еще разок Вуди Аллена. Что ты найдешь в них такого, что не было бы знакомо тебе по евреям России в те периоды, когда им позволяли самовыражаться вволю? Но ведь я же и говорю: Америка для российского еврея – значительный и несомненный прогресс.

Он проговорил все это так решительно, будто докурил сигарету и потушил ее о дно свеженькой, чистой пепельницы.

– Я читал о паре молодых людей (он и она), оба были евреи в России начала двадцатого века, увлеклись революционной деятельностью, но когда над ними нависла угроза ареста, бежали в Америку и там изобрели бюстгальтер, – добавил он.

– Погоди, погоди с бюстгальтером. Ты сказал – Вуди Аллен? – обрадовался я, во-первых, потому что знаю его фильмы, а во-вторых, считая, что поймал демагога на явном противоречии, уж Вуди Аллен то – признанный любимец публики и в своей стране, и во всем мире.

– О! Вуди Аллен – это высшая ступень развития еврея в Америке и на планете всей! Раскрепощение до последней клетки! Суетливый невротик, символ эпохи, современная реинкарнация Л. Блума, заблумбергший В. А., Эверест еврейского триумфа в большом мире! Выше возвыситься, извини за тавтологию, уже некуда! – он словно отгладил вторую манжету последней, седьмой рубашки после недельной стирки, и теперь оставалось лишь дожидаться, чтобы остыл утюг, и можно было свернуть электрический шнур, обернув его вокруг ручки.

Я молчал, полагая, что диалог наш, становившийся для меня все менее приятным, закончен. Но он опять заговорил. Как в процессе развития мысли ортодоксального еврея продуцируемое в данный момент толкование Писания неизбежно рождает вереницу следующих религиозных открытий, так, видимо, перескок из России в Новый Свет то ли вызвал у него воспоминание о других выпестованных им ранее мыслях, то ли породил ворох новых.

– У евреев с англичанами общее то, – продолжал он вещать, – что и те и другие отличились и далеко ушли от других наций в искусстве объезжать, словно лошадей, менее расторопные народы, мирясь по необходимости со связанными с этим определенными неудобствами (как-то: тряска, конский пот и натертая задница). Я кто угодно, но только

не надутый индюк-националист, – счел нужным прибавить он, – и верю, что расторопность – дело наживное. Но пока она не нажита лошадью, англичанин устраивается наездником, а еврей – конюхом при нем. При этом и англичанин, и лошадь видят в еврее прислугу. Но англичанину кажется, что он переплачивает еврею жалованья, а лошади – что конюх высокомерен с ней, в то время, как скребок его царапает бок, а сам он не докладывает овса в кормушку. Англичанин свое наездничество провозглашает мудрым устройством мира, раньше это называлось «бременем белого человека», теперь – «мировой деревней». Существующий порядок вещей англичанин поддерживает, хотя и поглаживая лошадь и похваливая конюха. Стоит признать, что обычно, пока лошадь не вырвется на свободу, она хоть и трудится, но ухожена, а еврей-конюх может дорасти до берейтора вроде Киссинджера, и тогда выглядит даже весьма сановно.

Мой знакомый, с которым меня так и подмывало уже раззнакомиться с небольшим скандалом, кажется, не чувствовал моего настроения. Я сам виноват в этом, вернее, мои прирожденные скромность и вежливость. А он тем временем продолжал:

– Используемый англичанином в интересах эффективного управления либерализм, – он опять поморщился, – является для него средством поддержания высокой самооценки в собственном сознании, а кроме того – клеем на случай трещин в его духовной цельности. Для еврея же либерализм – условие существования. Это устав профсоюзной организации, защищающей его цеховые права. Еврейство в большом мире – это Всемирный либерально-прогрессивный Профсоюз Конюхов, сокращенно – ВЛППК, – добавил он, метнув в меня испытующий взгляд, будто не вполне полагаясь на мое умение следовать за прыжками мыслей в его напыщенной речи. Это меня задело.

– Пока, – сказал я, – тороплюсь, меня ждут.

Никто меня на самом деле не ждал, и торопиться мне было некуда, но зато он, видимо, почувствовал наконец мое отношение к своим речам и добавил, гордо подняв голову:

– Хочу, чтобы всякому было предельно ясно (ну, скажите, зачем это словечко – «всякому?»): я всецело за свободу лошади, даже ценою безлошадности англичанина и безработицы еврея. В то же время я не наивный идеалист и догадываюсь, что рано или поздно ставшая расторопной лошадь сообразит, что и она ведь могла бы передвигаться верхом на слоне и приложит немало сил для воплощения этой глупой мечты.

Согласитесь со мною, знакомый мой бывает не слишком приятен, когда прикрываясь своими новомодными и заносчивыми еврейскими воззрениями (новомодными во временных масштабах нашей национальной истории), издевается над давно уже ставшими привычными и родными для всех нас понятиями. «Все здесь», – постучав себя по лбу, лично мне напоминающему и уют, и пепельницу, говорит он.

Он, видите ли, за самостоятельное и ответственное развитие народов, за суверенную самобытность их национальных культур. «Без цепляния за других и призывов к их совести и милосердию», – походя, бросил он еще один камешек в мой огород, будто до этого набросал недостаточно. А он-то сам кто же? Собственной гордыне памятник? Герцля мечтает переплюнуть? Мне кажется все же – какая-никакая кипа, черная или вязаная, связала бы его с испытанной временем традицией, с тем или иным ее течением.

У меня есть свой собственный испытанный способ справляться со вспышками гнева – я осторожно и незаметно для окружающих нажимаю себе на пупок, и он тонет в животе, слегка сопротивляясь, как поплавок, насильно погружаемый под воду. Меня это почему-то успокаивает. Но все-таки, ей-богу, хочется пусть и не во всю силу, а все же двинуть этого наглеца коленом под зад, прямо здесь, на набережной имени сэра Герберта Сэмюэла, в присутствии моря, занятого своим нервным плесканьем.

Я спрашиваю себя: чем вызвана нервозность здешнего моря? Мне кажется, с дальней стороны давит на него дуга горизонта, здесь же, на берегу, его теснят песчаный пляж, низкая, по колено, бетонная стена, прогулочная набережная, выложенная цветным кирпичом, потом – дорога с автомобилями, потом – строй гостиниц, потом – каре городских кварталов, дальше – лоскутные поля, еще дальше – другие города и дороги и, наконец, – полоса невысоких Иудейских гор,

издалека показывающих морю, что они уже построились в боевой порядок параллельно береговому контуру.

2.

Пора возвращаться домой. Эмма пляжная. Она уже одета. В легком комплекте из коротких шорт и над ними – в неприлегающей легкой, будто парашютной ткани того же, кофе с молочно-пенным оттенком, цвета. Худые лопатки перечеркнуты заглавным, большим, прописным иксом (X-ом) бретелек, в правой руке – сандалии, левую – оттянула Берта в попытке пнуть совсем недавно кем-то объединенный, сочный еще огрызок яблока в панировочном мелком песке. (Бросивший его, не знаком с церемонией проводов бывшего яблока в последний путь на лезвии ножа).

Эмма и Берта – южной осенью явление северной очень весны. Ветка с почкой. Ветка где? В воде. Вода в чем? В высокой узкой вазе с гранями. В бутылке из-под темно-красного сока гранатового. В гильзе от снаряда калибра какого-то. А какой видят Эмму волнорезы и море? Ну, представьте себе Nicole Kidman. Только Эмма на нее совсем не похожа. Море и волнорезы, может быть, скажут: «Ну, куда Эмме до Nicole Kidman?». А я? Я промолчу.

– Мама, мы в Азии или в Африке? – Берта перестает тянуть руку Эммы, и правый профиль ребенка прочерчивается на фоне моря. Выпуклый детский лоб небезопасно бодает каменнограненый волнорез. Серый издали, темно-зеленый под водой вблизи.

– В Африке, – рассеянно отвечает Эмма.

Пошутила? Тогда ей следовало бы сразу и поправиться, ведь так ребенок может запомнить ерунду. Или это я не заметил в школе, что у Эммы нелады с географией (у женщин это запросто, даже у очень способных и одаренных, как у мужчин – ошибки в правописании). Или это идет от неконтрастности и размытости ее характера, в какой-то мере свойственных всем нам троим (мне, Эмме, Шарлю) и абсолютно чуждых Леону. Действительно, ведь если смотреть на карту, то все это место, горячее местечко, вместе с Аравийским полуостровом, кажется куском, вырванным из сердца Африки. Наверно, пошутила. Решила, что Берта не запомнит ответа. Ей виднее. Мать. Знает своего ребенка. Обязана знать. Тем более – девочка, свежий росток женщины.

Вот и с моими литературными потугами та же аморфность: когда в моем распоряжении пару часов, которые я почти ежедневно выделяю для писанины по утрам перед тем, как отправиться на работу, мне кажется, что я ничего не успею, а там, на работе, меня уже ждут, и я комкаю, тороплюсь, когда же наступают выходные или праздники, меня пугает ответственность, я боюсь, что время пройдет, а я так ничего и не сделаю. Лучше всего, когда увлекаюсь выплывшей ниоткуда мыслью или образом и будто в ароматном пару выпекаю фразы. Планирование противопоказано мне. Сушит, сужает, судействует, «су-су-су»-ет.

– Берта! – мой голос по шуму прибоя гребет к ушным раковинкам девочки.

Замок Эминой руки легко размыкается. Берта на коротком маршруте от матери ко мне, сидящему на песке, оставляет две сдвинутые по фазе грядки песчаных раковин. Разность фаз равна длине одного ее шага. Я спокойно сижу на песке. Приподняв колени. Перед ними она останавливается. Глаза Эммы. До немецкой философии. Глядящие на Родольфа, сидящего на африканском песке.

– Этот берег, действительно, можно считать африканским, потому что он намыт нильским песком.

– Нил в Африке, – подтверждает Берта. Мягко. Как мать ее. Без тени авторитетности.

– Но географы полагают, что наш район исторгнут из африканского сердца.

Берта хмурится. Из-за слова «исторгнут». Серьезное слово.

– Исторгнут, – подтверждаю твердо, – и брошен в клетку Азии.

– На съедение? – бесстрашно констатирует Берта.

Я смотрю ей в глаза.

– На растерзание? – бог знает, из какой сказки она достает это слово.

«Ни-фи-га-сия», – кажется мне, сейчас скажет Берта, подражая знакомым мальчишкам. Но она не говорит ничего.

Лицо ее на фоне моря и Эммы. Я же для Берты – между нею и городом. Не пугается. Славная девочка. На нас вполне полагается. На маму Эмму, на папу Шарля, на дядю Родольфа.

– В Африку! В Африку! Возвращайся в Африку! – она энергично футболит африканский песок, поднимая в воздух облачка с рыхлыми зарядами и широкими веерными хвостами. Ветер дует с моря.

На траектории взгляда Эммы, наверное, лежит Сицилия – центр приложения сил трех континентов, рассеявшихся у старой, опутанной полуистлевшими историями лохани Средиземного моря. О чем она думает? Эмма, конечно, – не Сицилия.

Я завидую тем, кто видит ее сейчас в профиль. Широкий рукав блузы, я знаю, висит свободно и поверяет прямизну ее спины.

Почему с самого начала появление Леона меня насторожило? Потому что меня беспокоит все, что хоть как-то может повлиять на наше с Эммой предполагаемое будущее.

Ждем Шарля, он еще переодевается в кабинках, которые вот-вот закроют. Я дал плавкам высохнуть на себе, пожертвовав последним купанием. Чуть вдалеке – компания, глубокий тыл Леона, мужчины, всем под восемьдесят. Ветеранский голос:

– ...обнажает опасную суть для нашего государства саудовской «мирной инициативы», предусматривающей отступление к границам 67-го года, и естественное смыкание леворадикальной идеологии «мира» в регионе (идеологии антисиионизма) с идеологией ультрарелигиозных фанатиков-хасидов «Нетурей Карта» и Сатмара...

Как он обозначает кавычки? Я не услышал никаких модуляций в голосе, а кавычки все-таки услышал. Говорящему не меньше восьмидесяти, но очень бодр. Тренировка. Скобки ясно отмечены паузами.

Власти над Эммой у меня никогда и не было, но теперь мне кажется, что я будто уменьшаюсь в размерах. Даже лоно ее, уязвимое место любой женщины, вдруг кощунственно сравниваю с пассатижами (мягкое слово), изолированные удобные ручки их надежно лежат в ее благословенной ладони. «Пассатижи» – словесная вендетта любящего Родольфа, подозрительного, ревнивого имущества Эммы. Мне стало казаться порой, что интимные отношения для нее лишены сакрального смысла.

– Давай играть в прятки! Последняя курица жмурится! – африканским песком подлелевавшая Берта застыла передо мной, опустила Эммины веки. На Эммины глаза.

Я смотрю в лицо Берты. Через слабенький бинокль 1:2, глядя в него с неправильной стороны, вижу Эмму. Закрывает глаза без предварительной увертюры-считалки. Я побуждаю ее взглянуть на меня, коснувшись двумя пальцами детского лба.

– Разве ты – последняя курица?

– Я не последняя, я после мамы.

– Где же здесь можно спрятаться?

Берта, загадочно улыбаясь, смотрит в сторону. Что это там, на песке, куда она смотрит? Это же передвижной холодильник мороженщика, что в нем? Сухой лед – двуокись углерода при обычных условиях (атмосферное давление на уровне моря и пляжная температура конца лета, исхода дня на широте примерно тридцать два градуса севернее экватора) переходящая в парообразное состояние, минуя жидкую фазу. Рядом высокие темно-красные ботинки. Распродал мороженое и побегал искупаться? Ботинки как минимум на двадцать лет моложе хозяина, а может быть, и на все сорок (выданы во время прохождения резервной службы?), стараются подражать владельцу. У него спина утрачивает уже прямизну, и у них подошва изогнулась. У мороженщика мускулы не юные, жилистые, кожа загрубевшая (на ветру), ороговевшая (на солнце), темная, дряблостью тронутая. У ботинок его тяжелый перегиб, глубокая морщина между носками и подъемами, по которым шнурков иксы-солдатики взбираются, пока не разверзнется языкатый провал с выброшенными в обе стороны канатами, по которым спуститься могли бы муравьи по-быстрому назад на песок. Серо-желтый, сыпучий.

Я понимаю, догадываюсь – Берта уже умеет рассчитывать на ход вперед. Никто из нас, взрослых, не сумеет укрыться за холодильником. Я мог бы разве что потихоньку подсесть к ветеранам. Но когда придет ее очередь прятаться, а моя – искать, она будет, как луна вокруг Африки, описывать дугу, осторожно выглядывая и перебираясь на корточках, оставаясь на линии, проходящей от нее через центр

передвижного склада с мороженым к моим коленям. Когда я уйду далеко, она сорвется с места, добежит до Эммы, ткнется обеими ладонями в ее бедро:

– Дядя Родольф – последняя курица!

Тот в компании, к которой я не подсяду, помоложе, что-то долго говорит «ветерану». Отсюда не слышно. В ответ – мягкая, пожалуй, но настойчивая отповедь:

– ...ваше видение обстановки и проблем представляет собой яркий образец попыток многих общественно-политических деятелей демократизировать и реформировать наше общество без знания основ еврейской истории и иудаизма! Вы дали свои определения целому ряду понятий, связанных с репатриацией, в том числе и что такое «нация» и «еврейство». Но запутались... (ветер отнес слова в сторону гостиниц) ...представляет смесь познаний из старых советских определений и современных знаний, почерпнутых из арабских сайтов в Интернете, согласно которым евреи это вообще не нация! А это – да, иврит изучать надо!

К концу речи – смягчение. Ветеранская дисциплина. Подошел Шарль, и мы зашаркали, зашарлили, заэммили, забертили, зародольфили по сухому песку. Трах! короткое замыкание: подлетевшая Берта – между нами с Эммой, и руки ее в наших ладонях. Грузеный рюкзаком Шарль – сзади. Перед самыми камнями набережной Берта: «А-а-а-а!» Четыре такта, пока думает, что мы, не глядя под ноги, тянем ее на островерхую запекшуюся собачью кучку. Раз-два! Берта взлетает. Весело парит в воздухе. Громко хлопает вместе двумя сандалиями, долетев до мостовой. Счастливо смеясь, заглядывает по очереди нам в глаза – сначала Эмме, потом мне. Дорогу уступаем стайке велосипедисток в черном, пахнущих вкусными духами, дальше – к дорожному асфальту, к полосам «зебры», перед которой по Кр! сигналу светофора остановилась коляска-дурашка по-набережной-прогулочная на тугих шинах, на ней сефардские дети с добрым родителем. А нам Зел! свет, мы – мимо морды переставшей цокать лошадки с синей лентой в гриве, вожжи не натянуты, отпущены, провисли, тянутся к рукам возничего. Вот те, раз! А кто возник? Не иначе, родной брат мороженщика! Вот подошва темно-красного ботинка смотрит на нас, ноги тоже темные, почти кофейно-коричневые, с выгоревшими волосками до самых шорт, шляпа с широкими полями, очки солнечные. Под ногами зачем-то молоток, выпачканный конским навозом. Господи! А оглобли-то, оглобли, между которыми лошадка, – это же две обыкновенные железные трубы! Два ржавых дула, снаружи окрашенных под орех, под дерево, под песок. Подкрашенных. И даже торцы не заварены. Синяя лента в гриве, а торцы не заварены. Т. е. отсутствие логическ напрашивающееся окончание тру. Дождь пойдет, вода попадет – заржавеют оглобли. А! И с другой стороны, наверное, в основании труба не аварена тоже, значит, вода внутрь попадет, вниз по трубе соскользнет, через торец езаваренный йй-йй-йй – выльется, дождь закончится, оглобли высохнут. А мы – дальше, поперек «зебры», к стоянке, к машинам, к езде, к радиостанции «Армейские волны».

Все запомнить и воспроизвести. Так –

32°4'8"N, 34°45'48"E. Лошадка к светофору подъезжала, звонкими копытцами подъезжала, цок-цок-цок. Stop! Звонкими копытцами – будто шампанского открывала маленькие бутылочки, абсолютно совершенно безалкогольные специально для детишек, пока не stop! на Крас. Све. После stop! жилистая темная, перезагорелая рука с выгоревшими солнцеперекисью выравненными волосками жала повторно сжимала клаксон грушеобразный, клизмоподобный. Clacks! Clacks! – обратите внимание на тугие шины и синюю ленточку в гриве! На незаваренные оглобли с ржавчиной не обращайтесь! Закажите поездку от круглого фонтана, да, от круглого фонтана до самой турецким султаном подаренной башни с часами, большими часами, до самой башни в Яффо! Там развернемся на круге. Отматываем назад. Велосипедистки свежие, бодрые, мелькают спицами, между черных бедер их – вершины равнобедренно-треугольных сидений. Треугольники сидел лоснятся потертыми вмятыми сторонами. Это если смотреть спереди, если вслед – основания треугольников впущены под черными девичьими грушами. Сладко пахнущий духами кортеж пропускает солнцем размягченная Эмма, пахнущая морем, с сандалиями в правой руке и Бертой (не размягченной вовсе) в левой, чуть наклоняясь вперед из-за песка, из-за сыпучего песка, идет вязко, бретельки параллельные,

разнесенные, вертикальные перечеркнули ключицы Эммины тонкие. Берта. Топ! Двумя ногами уже на камни тротуара, после полета над темным собачьим кренделем, вслед за «А-а-а-а!» За коротким замыканием между мной и Эммой через Берту. Кое-чего, оглянувшись, прищурившись, напрягшись, не различишь все же, видно плохо, детали плывут, солнце в глаза, море слепит, блеском широким панорамным. Шарль, сутулясь тоже, с небольшим рюкзаком на спине волочится. Тоже. Там, позади ветераны сидят на песке, сплошь песчаную Саудовскую Аравию песочат, из моря вышел мороженщик, над холодильником тележекколесным на четверть горбато склонился, оставил себе одно мороженое для услаждения после купанья. Из холодильника – парок легкий двуокиси углерода мутит часть панорамного блеска. Ветер с моря песок африканский истертый мелко в муку почти, Нилом подаренный, бесплатный или задешево данный, ветер влечет на восток. На растерзание. В песке – огрызок яблока, никогда не возлежавший на лезвии. Дальше, за морем – Сицилия-невидимка за кипром спряталась, тоже отсюда невидимым. Туда смотрит не Nicole Kidman, Эмма смотрит, стоя на клочке земли из африканского сердца исторгнутом. Стоя к волнорезам и морю лицом. Стояла Эмма в легком чем-то, на парашютную ткань похожем, бретельками за плечи ее уцепившимся, игрушкой ветру служащим – пузырь-складка-к-Эмме-прижаться-прилипнуть, в шортах коротких песочного цвета. Эй, кто там разглядывает ее в профиль и когда утихает ветер, сравнивает вертикаль рукава с прямизной ее спины? Эмма, вся целиком, тело ее, мысли ее, пассатижи лона ее. Благословение.

Так –

3.

Они поедут втроем, Эмма поведет их машину. А я – один, в своей. Они – к себе: налево, по улице Яркон, по узкому мосту над проспектом Намир, выедут на бульвар Роках и дальше мимо каньона Аялон вывернут на Жаботинского, потом на Гею. Я – направо, аллея Иерушалаим, через Яффо – выскочу на иерусалимскую трассу.

«До свидания», – сказала на прощание Эмма. Ее губы (из-за жары, конечно) в трещинках, но мне привиделось, померещилось, будто она долго щелкала черные с белым ободком семечки, и бледная мука их крошащейся шелухи осела на ее тонких губах. Мне от воспоминания этого захотелось пить, всплыла в памяти как-то давно уже испробованная «Балтика», я подъехал к ближайшему знакомому мне «русскому» магазину на Алленби, тому, что недалеко от «русских» книжных магазинов «Дон Кихот» и «Исрадон» (странная испанисто-казачья доно-симметрия на улице, названной в честь британского генерала в еврейском городе, пожить бы здесь, рядом с суматохой, с движением), оставил машину с включенной аварийной сигнализацией на дороге, быстро отоварился одной бутылкой охлажденного пива (если бы автомобиль не ждал меня в неполюбованном месте, я выбрал бы, пожалуй, еще сырокопченой колбаски и поискал бы в открытом рве холодильника молочных товаров плавильный сыр «Viola»). Я выпил пиво, сидя за рулем. Оно цельной узнаваемой композицией, а не подлежащей подсчету суммой вкусовых подробностей, было воспринято и оценено сначала губами, потом языком и небом, но дальше путь глотков ощущался только как продвижение вниз от горла к желудку легких спазмов, и в них уже нельзя было бы отличить пиво от обыкновенной воды. Химическая машина моего пищеварительного тракта и вовсе не сообщала мне решительно ни о каких впечатлениях. Не бензин, и ладно. Одним глазом я следил, не выскочит ли из-за поворота неожиданно полицейская машина. Впрочем, несколько лет назад, после того, как мне дважды выписали штраф за неполную остановку на «Стопе» и отправили для освежения знаний в области правил дорожного движения на курсы при министерстве транспорта, на последних я с удивлением узнал, что кружка пива, бокал вина или одна рюмка водки не являются препятствием для вождения. Так что ничего незаконного я, в общем-то, и не совершил. Разве что следует признать, что на голодный желудок воздействие русского пива на мозг усиливается так же, как тель-авивская высокая влажность усугубляет тель-авивскую жару.

Мне предстояло минут сорок (если не больше) езды до дома, и выпитое пиво возбудило во мне желание начать размышлять на уже давно

намеченную мною тему – сравнение освещения еврейского вопроса в произведениях Набокова и Джойса. (Страсть, с которой первый не переносил Фрейда, напоминает мне по интенсивности мою нетерпимость к «су-су-су»). Я, наверно, набоковианец – люблю Эмму, красоту и свободу и соглашаюсь: жестокость – это нехорошо. Поэтому, может быть, так легко ему удалось привить мне и свое видение России, но он русский, у него – лицензия на формирование этого видения, я же оставляю за собой право за ним почтительно следовать. Чувствую теперь, после многих лет здесь, – где-то к середине 70-х обрывается влияние на местную жизнь русской мысли и русской тоски по идеалу. На черно-белых архивных съемках еще видишь грустные глаза, песни растекаются мечтой о посеве «разумного, доброго, вечного». Окунувшись в это (во что, в это? в особое наклонение души?), выходишь из него обновленным, укрепленным, отделенным от прочих своей необыкновенной чистотой, то есть довольно неприятной личностью. Может быть, и хорошо, что даже в кибуцы, говорят, проники теперь американский здоровый, по-кошачьи живучий дух. Причем здесь «Балтика»? Ее действие было так же приятно мне, как мысль о том, что имея в активе двух таких «сочувствующих» (я, если забыли, – о великих изгнанниках, о Набокове с Джойсом), глупо огорчаться даже из-за дивизий недоброжелателей. Джойс, между прочим, барахтается в еврейской теме, как беспечный ребенок в надувном замке с тысячами наваленных на пол разноцветных мячей. Он хватает их и швыряет куда попало: в лоб ирландцу, в пах еврею. Свободен предельно. Это подкупает. Свобода Набокова – иного рода, со многими приложенными внешними силами, как-то: жесткая антиюдофобская традиция, идущая от любимых им родителей, – раз; жена-еврейка – два; с другой стороны, еврейские симпатии к примитивным идейкам переустройства мира и тесно связанное с ними участие в разрушении его страны – три. И, тем не менее, он пишет этот крохотный рассказик – «Оповещение» – никому ни одной уступки не сделав, все просчитано точно, все колесики, все пружинки, все предложения, все сравнения, все тикает как атомные часы (девять миллиардов и еще сколько-то переходов между энергетическими уровнями атома цезия равняется одной секунде). От Набокова и узнал с облегчением – трехмиллионная русская эмиграция содержала еврейскую составляющую. Значит, не только большевики. Слава богу! Уж больно это липучее блядво отягчило мою коллективную еврейскую совесть и оскорбило мое национальное достоинство. И, тем не менее – нервы у Набокова не выдерживают: «Джойс переживает», – пишет он о художественном воплощении рассматриваемой мною темы. Нет, Джойс нисколько не переживал, таково мое, Родольфа, мнение. У Джойса тоже все на своих местах, но весело и отвязно. Мне нравится, «...Остолопский родил... Вирага, Вираг родил Блума». И про «запавшую пизду» – тоже нравится. Последнее – рождает приятное чувство реванша. Привет мэтру Джойсу из той самой, что ни на есть «пизды» со стальными оглоблями! Не моя, правда, заслуга в ее омоложении. Но все равно – весело! Нет, это не пони, мистер Джойс, запряжена между стальными оглоблями, это такая лошадь. А Оме, скотина, подталкивает меня к национальному адюльтеру, хочет отобрать у меня родословную. Почему ему хочется у меня ее отобрать? Разве не знает, что мне это тяжело? Знает, конечно, знает. Хочет, чтобы я страдал. Ты, незаверенная оглобля, должен страдать безродностью. Как Эмма, чья еврейская мать сбежала. Сбежала от? Сбежала к? Эмма, наверно, этого знать не хочет. Она свежая, она чистая. К ней не пристанет. Что не пристанет? Даже банный лист не пристанет. Она не как мать. Зря нервничаю. Вчера в ярком магазине – парфюмерия и аптека вместе. Я попросил бы Эмму смыть и ту малость косметики, что на ней, и определил бы ее в аптеку. Фармацевт Эмма, мне, пожалуйста, лекарственное средство на букву V(iagra), которое загоняет кровь в один небольшой тупик. Небольшой? Нормальный. Нет, все-таки великое дело – свобода! Мясищность Джойса – из-за того, что он – вниз головой с вышки религиозного аскетизма и прямо в чувственное море. И не только плыл – глотал воду. Жирную воду мясистой жизни. Единственное место во всей книге, где почувствовал тошноту, это когда Блум понюхал отщепленный ноготь ноги. А Набоков щепетилен. Но он в гармонию искусства – плавно, из гармонии детства. Не познай Джойс католического экстаза в детстве и юности, не довел бы книжного Блума до нюхания ногтя. Бунтарь, революционер. Но именно благодаря непростому обретенной свободе Джойс – объемней и гуще в описании

еврея. Нет, правда, это же смешно до коликов, когда у Блума спрашивают, какой он нации, а он говорит: «Ирландской. Здесь я родился». А Гражданин в ответ – сплюнул, и плевок его – величиной с устрицу! Ха-ха-ха! Хорошее пиво «Балтика», раз одна бутылка так составляет на голодный желудок. Блум, заблумшая душа, потомок Сомбатхея, приезжай к нам, в Агендат Нетаим, загляни в родную «пизду», прокатись в коляске с ржавыми оглоблями, не все же по музеям выяснять, имеются ли у мраморных гречанок отверстия в задницах! Лошадка, в коляску запряженная, – маленькая, но шоры у нее настоящие – из натуральной кожи. И правит ею ящик бравый, североафриканский, бывший парашютист, в красных ботинках. И вообще – в Агендат Нетаим, мистер Блум, знаете ли, не боятся нынче ни рогов быка, ни копыт лошади, ни улыбки сакса! Если честно, я обожаю англичан, особенно за Эль-Аламейну и за толстого журналиста, который сказал, что ничего им не обещает, кроме пота и т. д. а они его все равно предпочли разумным охотникам за лисами, а потом пнули в зад, когда он заявил, что нет коммунизма без гестапо, а он зад потер ушибленный и ответил: это свобода, за это воевали... Но когда англичане... Нет, ей богу, это смех, оказывается Ллойд Джордж одновременно: евреям – резолюцию Бальфура, арабам – независимость, туркам – сохранение империи. Опять пятно на месте... А наш Президент сказал, что у англичан есть анекдот: «антисемит – это тот, кто не любит евреев больше, чем они того заслуживают». А если НАШ Президент сказал – точка. Опровергнуть может только Всевышний, или сам НАШ Президент скажет, что его слова вырваны из контекста. Еще президент сказал: «Конечно, не все англичане таковы». А если НАШ Президент сказал – точка. Опровергнуть может только Всевышний, или сам НАШ Президент скажет, что его слова вырваны из контекста. А правда, интересно, в чем тут может быть дело? Англичане – прирожденные господа, как правило, мягкостелюющие, даже после brutального насилия стараются залечить нанесенные ими раны. Своих евреев им удалось встроить в систему, тот историк, что неодобрительно писал про Туровски, нет, не Туровски, как его? про Тухольски, симпатизировал английским Ротшильдам. За «встроенность». Ротшильды – на рожен? Никогда! А здесь, на Ближнем Востоке, столкнулись с диким упрямством, «нашла коса на камень». Выкорчевывать камень нельзя. Противоречит ранее принятым решениям. Расшатывать. Из упрямства, из оскорбленной исторической памяти. Их раздражение можно понять – евреям в английской цивилизации отведено (если воспользоваться оригинальной классификацией старательного Хаксли) достойное место бета-плюсовиков, а у них в Агендат Нетаим, там, в старушиной, седой и запавшей родилась претензия! Что за претензия? Переродиться в альфы. Come on! Возродиться альфами. Come on! Перевоплотиться в альфы. О-О-О-К?! В самом деле? В альфы? Из бета-сброда? Конечно, обиду англичан можно понять. Я понимаю. Ха-ха-ха. Я – гораздо снисходительней Джойса. Да, да, мистер Блум, сын Вирага, приезжайте! Привозите с собою и сбежавшего коммерсанта нашего Заинбульбуля в черной кипе, славных олигархов туманного Альбиона – господ Писинского, Залуповича, Херовского и примкнувшего к ним Елдакова-Муденко! Торжественная церемония приема высоких гостей будет организована нами на самом-самом уровне. Высокие гости будут встречены: потертой красной ковровой дорожкой, ворованным государственным гимном, портретом основателя государства благословенной памяти Давида Бен-Гуриона (Грина) и приветственными речами в торжественной обстановке. Кем будут произнесены приветственные речи в торжественной обстановке? Их произнесут: президент государства господин Семен-Шимон Перский-Перес (оптимистично), премьер-министр, господин Бенджамин (Биби) Натаниягу (убедительно) и министр иностранных дел, господин Авигдор (Эвет Львович) либерман (гордо, как на гей-параде). Среди прочих встречающихся о!жидаются – посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в «пизде», господин А'Брам с супругой, представители общечественности – ковенские гаоны, братья Маккавей в талитах и филактериях, делегаты российского астрально-демократического братства «Словом и духом как мечом и оралом» – Л. Моллюскова, Д. Волович, А. Трактирный и М. Калининская (гости книжной ярмарки), звено бойскаутов без талитов, филактерий и цицит, но со сбитыми коленками и в голубых галстуках, среди них – Берта, дочь Шарля и Эммы Бербери, да продлятся их дни. Ха-ха-ха! А Блум и

говорит ирландским националистам: «Дядя вашего Бога – еврей»! А ему вслед – банку из-под печенья! А он потом рассказывал, как он им про евреев, а о банке из-под печенья умолчал. А вот в общении с кошкой – ядро Блумовой натуры, центр тяжести его человеческого достоинства. «Молочка киске!» Их отношения, не свободные от меркантильных соображений с обеих сторон, – ярчайший символ реально достижимой гармонии в мире: Блум не станет откармливать кошку мясом, чтобы она не перестала ловить мышей, а она не заявит на Страшном Суде, будто он обжарил в масле и съел кошачью почку, купленную у сиониста Длугача, а ей самой предложил только облизать окровавленную обертку. Между прочим, мистер Джойс, когда кошка, особенно белая, сидя, начинает вылизывать грудь и отставляет в сторону лапку, она становится похожа на пингвина гораздо больше, чем ультраортодоксальный еврей в своем черно-белом облачении. Вот уже полвека мир полон симпатии и сочувствия к мертвым евреям. Европа в них влюблена повально. А американцы сгоняли индейцев с земель и одновременно зачитывались Фенимором Купером. И мы читали «Последнего из могикан», на краю Восточной Европы. Эмма, Шарль и я, «бледнолицые» – на стороне «краснокожих». Давно было. Так, наверно, и должно быть – делать одно, мечтать о другом. Природа мечты в этом, здоровое раздвоение личности. А без мечты нет человека. Леон говорит – намечается перелом в Европе, розовый оттенок мечты тускнеет в последнее время. Каким сменится? Светло-говнистым – цветом реализма. Ничего, они опытные, останутся в зоне полутон, красное и коричневое, думаю, им не грозит. Сто сорок километров в час. Многовато. Я всегда прибавляю скорость в такой ситуации, когда мне легко думается. Сбросим до ста двадцати. Можно только сто десять, но за сто двадцать, кажется, не штрафуют. Сто двадцать три. Ладно, закроем глаза на довесок. Плюс три, минус три, мы не арийцы с их точностью и коллективным Аспергером. Аспергер – это синдром, что-то такое неопасное для жизни в левой височной доле. Человека заклинивает на чем-нибудь одном, например, ни за что не ступит на пешеходный переход, если красный свет. А у нас своих синдромов – хоть отбавляй, зачем нам еще Аспергер? Но живые евреи по-прежнему раздражают. Греки, те терпеть не могли такого варварства – обрезания крайней плоти. Противоречило эстетическим установкам. У современного мира эстетическое чувство от греков, а те если и резали человеческую плоть, то только в героических целях. Исключительно. А не для того, чтобы подчеркивать свою мнимую исключительность. Недавно взялся опять за «Илиаду», но бросил еще быстрее, чем в прошлый раз, – надоел апофеоз гипертрофированного тщеславия. Правильнее говорить – эллины. Греки – это нынешние, которые сидят по тавернам и портят европейскую экономику. Вместе с испанцами. Раздражают немцев. Южный народ. Южные народы склонны к лентяйству, то есть к лени. И мы теперь снова южный народ. Как там? Да, «Маньяна», то есть завтра, потом, успеется. Нам и немцам по совершенно противоположным причинам нельзя ни в коем случае навязывать мультикультурный социум. Даже очень непорядочно это делать. Это как предложить по рюмочке завязавшим алкоголикам. Или как князя Мышкина после излечения отправить к нам на безбашенный Ближний Восток. Невероятно – это же только одна бутылка пива. Нужно было хоть чем-то заесть. Все из-за того, что опасался надолго оставить незаконно запаркованную машину. Законопослушность родила беззаконие. В самом понятии закона есть что-то сугубо фашистское. Опасаюсь и не люблю. Незамысловатая гуманность мне больше по вкусу. В ней есть нужная доза неопределенности и аморфности. Даже если ирландцы (без кавычек), к примеру, попросят Блума из ирландского государства переехать в собственную их «пизду». В новостях сказали, Ирландия опять нас лягнула. Что им до нас? какое их собачье дело? Ревнивое иезуитское отродье! Вам! Вам! Вашему зеленому острову! Сидеть на кончике бычьего рога! Вам! Вам! Печать раздвоенного копыта на лоб! Вам! Вам! Счастливая улыбка Соединенного королевства со сладким-сладким французским поцелуем от них же! Изыдите! Никого мы не насилуем! Будь наша воля – свою Северную Ирландию давно бы мы уже... Вас изнашивали, хотите передать по эстафете? *«Когда моя страна займет свое место среди...»* Не иначе как «Балтика». Никогда этого в машине не делаю. *«...наций нашей планеты...»* Из уважения к совершенной технике никогда этого в салоне автомобиля не делаю, потому что я инженер.

профессиональная выдержка. Этикет инженера. «...*вот тогда, но не прежде, чем тогда...*» Ради Ирландии. Совершенно точно это «Балтика». На голодный желудок. «*Пусть будет написан...*» Что? Наш новый государственный гимн пусть будет написан. «*Пуррррпупурррпфф...*» Без запаха. Философии Вайнингера. «*Я закон...*» Отто«...чил». Речь к ирландцам. Официальное обращение. Ответ.

Но если они Блума – в «пизду», хорошо бы им заплатить отступные, как англичане немцам в Палестине после войны, отправили их в Австралию и Германию. Плохо, но лучше, чем накапливать злобу в душе ирландского (без кавычек) Гражданина. Не люблю законнобоких. От сих, до сих. Или, или. За версту несет фашистским духом. Просто расчищайте дорогу для будущего. Без этого поганого театрального действа: «Встать, суд идет!» Не люблю этих черных мантий. Что под ними? Тщательно ли вымыты задницы и промежности? Они внушают мне страх перед определенностью. Мне хочется, чтобы из любой ужасной определенности имелась лазейка. Желание ускользнуть от определенности – личинка в моей подкорке. Вот я сейчас еду, и не вполне трезв из-за одной дурацкой бутылки русского пива. Спирта, что ли, они в него добавили? Но я ни за что не поеду в такой ситуации по незнакомой дороге. А здесь мне все знакомо. Все, все, все. Так, дистанция в метрах – половина скорости в километрах в час. Едем сто двадцать, дистанция – шестьдесят. У меня хороший глазомер. И не менять полос. Конечно же, доеду без приключений, если не остановит законник. Как часто мы вообще бываем трезвыми как стеклышко? Лучше бы тормозили этих трезвых виляющих психов. На предыдущей машине, год назад продал ее, на правом крыле была вмятина. Один такой слаломщик на пикапе срезал. Как раз на этой дороге. Три полосы в одном направлении, а он чиркнул справа, когда я ехал в средней полосе. Музыка тихо звучит. О! Это я люблю – The XX. Infinity. Звуки расставлены красиво. Очень подходит для езды по такой дороге. «I can't give it up...» А если ехать ночью и слушать Infinity, то можно съехать на обочину и открыть окно. Тогда будут сверчки и Infinity. А если окно опять закрыть, сверчки пропадут, а Infinity останется. А если выключить радио и окно не закрывать, останутся сверчки и воспоминание об Infinity и можно ехать дальше. И если в Блуме много от обывателя, замечает Набоков, то в Стивене есть что-то от безжалостного фанатика. Иллюстрирует высказыванием Блума, старающегося понравиться юному одаренному: родина – это место, где ты можешь хорошо жить, если трудишься. «Простой, практичный подход», – замечает Набоков политкорректный. Его склонность к политкорректности становится заметной исключительно в еврейском вопросе, значительно убывая во всех иных. Ответ героя охарактеризован Джойсом как не слишком вежливый. Набоков же полагает, что он довольно груб: «Мы не можем сменить родину. Давайте-ка сменим тему». Скажем так: «не слишком вежливый» и «довольно грубый» – это почти одно и то же, но суть сказанного Стивеном прямо противоположна постулату Блума. «I can't give it up to someone else's touch...» Нет сомнения, живя в России, я промолчал бы, присутствуя при этом споре. И был бы не с Блумом, но где-то позади него. «Because I care too much, too much...» А теперь грубый Стивен мне ближе. Ау, привет Леону. Что, и я становлюсь «безжалостным фанатиком», националистом, изменяю светлым идеалам людей доброй воли, жаждущих... жаждущих чего? ...жаждущих свального светлого будущего во всех уголках нашей планеты? Если быть честным с самим собой, мне действительно и довольно давно уже до чертиков хочется предать левое дело. И тем самым предать – кого? Странное произошло смещение понятий – либералов называют консерваторами, а либералами – клерикалов от либерализма. «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Зубодробительное, шляпосрывающее, юбкоподнимающее высказывание. Что-то напоминает. На нашем школьном дворе нас вразумляли (старшеклассники): «Любви нет, есть половые отношения». Строим параллельную версию: «Любовь – последнее прибежище кретина». Юбкоподнимающее? Трусопоказывающее! Шляпосрывающее? Лысинообнажающее! Как я изменился! Бытие выламывает зубы сознанию. Марксистская интерпретация. От марксизма не укроешься! На прошлой неделе прислал кто-то по почте ссылку, YouTube, рисованный мини-фильм. Местечко, мальчик с носом шестеркой, шапка-картуз с козырьком, рыженькая девочка «мит шварце эйген» (с черными глазами),

свадьба с еврейскими плясками, черное облако погрома, поезд, пароход, Америка, агентство «ABE'S MOVING» втаскивает их сундук в дом в Нью-Йорке, строчат швейные машинки, дети, умножение свадеб, домов и еврейских плясок. Какие там были отзывы? «Superb!», «Reminds me of my own life – tears in my eyes!», «Wow!!! I will definitely send this to my friends!» Трогательный хоровод маленькой жизни маленьких людей в большом мире. Где случаются погромы, где у хозяев большого мира семь пятниц на неделю: с одной стороны – уже две с лишним тысячи лет у них героем «мишигинер» (псих) македонский, которому приспичило, «азейве шикерн гой какн» (как пьянице в сортир), непременно дойти с войском до Индии, с другой стороны – всего на пару сотен лет меньше – еврей, который, якобы, если его ударят по одной щеке, готов был подставить для удара другую. Ну-ну! Знаем. Насмотрелись. Самое грандиозное, что может случиться с маленькими людьми в большом мире – они могут попасть в эпицентр трагической коллизии вселенского масштаба, из которой мир больший извлечет потом сюжеты для многих отличных мелодрам, на просмотре которых будут проливать слезы маленькие люди. Они же их и напишут. Вуди Аллен прав: в расширяющейся Вселенной – Бруклин не расширяется. И каковы были ответные порывы моей души после данного визита в YouTube? Грусть, сочувствие, ностальгия, снисхождение, жалость и в самом конце – отстранение. За отстранением – отторжение. Проехали. Не мое. За стекло! В National Geographic! Или вот еще анекдот. В местечке погром, еврей рассказывает: «Вынесли все из дома. Вырвали все дверные ручки, потому что в них медь. Менее того, они пользовали мою жену. Более того, они пользовали меня. Уходя, они кричали: ты жид, ты вор, ты разбойник! После всего – и я же разбойник?! Мы так смеялись!» О, величие бессилия! Апофеоз вечного заведомого поражения! Декларация триумфа души, встающей из-под силы! Отряхивающейся, подмывающейся! Вот тебе, Александр, сломивший Дария, царя царей, пример иного величия! Высшего! Тоже – за стекло? Тоже – в National Geographic? Вот, недавно, в ответ на статью в интернете про наши здешние безобразия (ну, там – картели «жирных котов», неработающие ортодоксы и т. д.), отозвался токбекист из Оттавы: «Все еще считаете людей, все это сразу разглядевших и уехавших, – предателями?» Что толкнуло меня на хамский ответ: «Ну, зачем так сурово? Скорее, говном, выбирающим, к чьей подошве прилипнуть». Ощущение Леоновой «чапхи» (средиземноморский одобрителный хлопок в плечо). Почему я взвился? Ведь можно же отнестись положительно: «Евреи – щепотка соли в чужом супе». Позитивный взгляд. Вообще-то, образные сравнения – вещь замечательная, но способны далеко уводить от сути дела, и порой – в противоположные стороны.

Пиво почти уже выветрилось из головы. Знаете, жизнь столько всего преподносит, что вот, кажется, сейчас я все в ней понимаю правильно и вам все толково могу о ней разъяснить, а проходит еще несколько лет, оглянешься – видишь неточную расстановку акцентов, замечаешь смещенные пропорции, и неловко становится за свою самонадеянность тех времен. А потом подумаешь – но теперь-то я уже все понимаю правильно! И сейчас – обрадовался этому своему наблюдению, подумал – свидетельство моей душевной зрелости! Оценил мысль как бы со стороны, продумал ее еще раз, и понял – боже, какая банальность!

Мы едем, едем, едем в далекие края... Не такие уж далекие. Всего полчаса – и дома. Мой город. Объезжаем последнюю клумбу на перекрестке, вот он – последний подъем перед поворотом налево, где улица, упомянутая в моем удостоверении личности, а третий справа на ней – мой дом, номер 21. Т-п-р-р-р – ручной тормоз. Приехали. В этой стране.

4.

Совместим в одной главе рассказ «Странности» с упоминанием о жюстене. Никакой связи между ними нет, и никакой причины их объединения в одной главе не существует. Я упоминал уже и, кажется, не один раз, что мое отношение к фабулам и композициям плотно заряжено недоверием, ревностью, недостаточным собственным умением, досадой, и как следствие – желанием навредить им, восстать против их просвещенной тирании. Я привожу здесь так много своих рассказов, все увеличивая плотность их вкрапления в основной текст, не только,

чтобы дать вам представление о том, чем пичкал я Эмму, не только пытаюсь заразить вас своей концепцией рассматривать любое художественное произведение исключительно в его нерасчленимой целостности даже когда из тела его растут привитые ветви или когда легким дуновением поощряется парить в воздухе радужный мыльный шар, оторвавшийся перед тем от пластмассовой пуповины-трубочки и родительских губ. Я заполняю пространство этих записок рассказами для того, чтобы расшатать прутья сюжета – этой ненавистной мне тюрьмы, похожей на клетку для попугая с тонкой жердью и круглым зеркальцем.

Когда же кора моего нетерпения образует трещину и происходит выброс эмоций, осколки впечатлений, образов, отрицаний, все это – навоз, молоток, National Geographic, обувные и книжные магазины – разносит по новым литературным единицам, все становится материалом на новых строительных площадках. Рассказ «Странности» тому пример. Отдавая все же дань укоренившимся читательским привычкам к разграничениям, я оставляю с обеих сторон рассказа по одной пустой строке, которые мне самому напоминают не столько забор или ограду, сколько тропинки, разделяющие участки одного и того же поля. Зачем я помещаю рассказ еще и в кавычки? Думаю, сказывается во мне инженер.

«Никогда я не жил до этого в таком месте, всегда – на этажах. Но вот теперь – снял бывший магазинчик с витриной и полами на уровне тротуара на довольно таки центральной улице Алленби, хотя довольно странно называть центральной улицу в городе без центра, без крепости, без храма и без кремля. Назовем ее оживленной. Просто мне очень хотелось быть ближе к людям, к движению пусть не всегда плотных, но и не иссякающих людских косяков. И очень необычным было ощущение – всего один шаг с оживленной улицы внутрь, и сразу у себя дома. Без коридора, без единой ступеньки. Щекощущее чувство, дразнящее. Я опасался, не попадает ли во время сильного дождя вода внутрь. Может быть, нужно, когда идет ливень, класть большую, мягкую тряпку под дверь. Выяснилось – не нужно, не затекает, тротуар сделан с наклоном к проезжей части. На витрине я выставил телевизор очень большого формата, он все время включен без звука на канале National Geographic. И теперь у моей квартиры часто останавливаются люди, стоят, смотрят телевизор и не знают, что в метре, ну, может, чуть больше от них, за непрозрачной шторой стою я и слышу, как они комментируют увиденное.

Но теперь, когда я уже немного привык к своему новому жилищу, стали меня интересовать и привлекать полуподвальные помещения. Однажды я не утерпел и через окно прыгнул в магазин верхней одежды, который как раз в таком полуподвале и разместился. Ничего особенного я там не сделал, просто запрыгнул и прошел на выход, но когда уже поднимался по ступенькам к двери, за спиной услышал женский голос: «Вон он, вон он», – а пройдя десятка полтора метров, услышал за собой шаги. Меня обогнал крупный, неопрятно одетый мужчина с молотком в руке, испачканным не то конским, не то коровьим навозом. Скорее – конским. Я сразу понял, что молоток у него не для нападения, а для обороны, и улыбнулся. А он шел чуть впереди и справа и все время на меня оглядывался.

Он не ожидал, что путешествие будет таким коротким, и был озадачен, когда я остановился, открыл дверь своей квартиры, а потом изнутри специально с лязгом и на два оборота запер замок. Я подглядел из-за шторы – он стоит там снаружи со своим грязным молотком и смотрит National Geographic.

Минут через пять я открыл дверь и спросил его, хочет ли он чаю или кофе. Он замялся сначала, но потом ответил: «Чая». Я закрыл дверь, подождал еще минуту, а потом снова выглянул и спросил: «С мышьяком или без?» Тогда он плюнул себе под ноги, растер носком красного армейского ботинка плевок и удалился.

Попробуйте вы сами по центральной улице прогуляться с молотком в руке, хотя бы даже и чистым. Ей-богу, – неудобно это».

Это был конец рассказа «Странности». Сейчас, сначала небольшое, вызванное содержанием предыдущих глав замечание, и потом сразу – о жюстене.

Обращали ли вы внимание, чем отличаются продавцы книжных магазинов от всех прочих? В обувном, скажем, и тем более в магазине одежды,

скучающий продавец охотно выступает навстречу испуганному покупателю, сразу обнаруживая радушие, осведомленность в предмете и хороший вкус. Продавец же магазина книжного сам кажется будто напуганным слишком быстрым течением времени, он либо лихорадочно копается в кассе, либо комнатной разновидностью бега трусцой несется от стеллажа к стеллажу в мягкой обуви, и, надо думать, если он не станет этого делать или хотя бы замедлит темп, посетитель обрушит на него собственный незаурядный вкус, необъятную осведомленность, после чего уйдет из магазина вполне довольный собою, даже открытки какой-нибудь или календаря для портмоне не купив.

А теперь, наконец, о Жюстене:

Давно хотел я рассказать о нем, другом племяннике Оме, которого он приводил порой вместе с Наполеоном. У него круглые и очень яркие глаза, такие же в точности были у одного паренька, моего сокурсника еще там, в России. Мы были в разных группах, и я впервые столкнулся с ним близко в воинской части под Анапой, куда после окончания учебы нас направили на трехмесячные сборы, по результатам которых должны были присвоить офицерские звания. Через очень короткое время его отстранили от ночных караулов, а мой товарищ, прошедший срочную службу, сказал, что так обычно поступают и в регулярной армии, когда офицеры чувствуют, что солдат подвержен страхам и может, чего доброго, открыть огонь по своим.

Жюстен, совершенно очевидно, был из того же теста. Он почти все время смотрел на Эмму, и это очень скоро сделало бы его присутствие сначала неловким, а потом и невозможным, если бы уже во второе его посещение он не принес с собой каких-то несуразно громадных размеров альбом и цветные карандаши и не стал изобретать платья для Эммы. Мне показалось, что он, по-видимому, влюблялся в тело Эммы как-то по частям, он всегда изображал ее либо прямо сидящей, либо стоящей, никогда не в движении или наклоне и сосредотачивался на какой-то определенной детали. Так мне запомнилось платье простого прямого покроя, но небольшой бюст Эммы в нем поддерживался двумя крупными поперечными дугообразными складками, сама же грудь ее была скрыта будто в спешке набросанными телесного оттенка розами. На другом эскизе Эмма была в обыкновенных джинсах, но ширинка и карманы имели вид единого мокрого пятна, а к носкам красных туфелек без каблуков были прикреплены опять розы, но теперь уже красные. Не знаю насчет джинсов, но такие туфли Эмма, думаю, не надела бы.

Однажды, сидя как обычно на веранде, мы услышали донесшийся из кухни ее вскрик. Мы бросились к Эмме, и оказалось, что Наполеон задрал ей юбку. Оме отчитал его, но я думаю, что тезка императора сделал это по наущению Жюстена, при этом присутствовавшего, потому что на очередном его рисунке Эмма предстала в платье с треугольным вырезом в нижней его части, вершина выреза упиралась в невозможно высокую точку (Эмма даже порозовела, увидев эскиз). Видимо, желание прояснить точное местонахождение точки пересечения ног Эммы и заставило Жюстена подговорить своего двоюродного брата на эту безумную выходку. Внизу треугольник открывал ее колени, по которым струились тонкого плетения кисти, такие же лежали на плечах.

Имелся в этой коллекции и портрет Эммы в строгом костюме. Ее обычно слегка выющиеся волосы были расправлены и собраны сзади. Жюстен нацепил ей на нос очки, которые в жизни она никогда не носила. В таком виде ее легко было представить себе излагающей учение Фейербаха, и, клянусь, в этом случае я готов был бы бесконечно выслушивать его аргументы, как рад бывал (в те немногочисленные минуты, которые оставались у нас после физической близости) скользить ладонью или указательным и средним пальцами по телу Эммы, всякий раз заново удивляясь его бесчисленным отличиям от моего собственного.

Пока все о Жюстене, а с другого конца рассказа о нем я без предварительного оповещения помещаю еще один этюд, словесный, короткий, под названием «Чудный край». Так, выпив вина, «запечатываю» его в утробе желтым сыром чревоугодник, никогда не знавший голода. Я же решил прямо сейчас, сию же секунду «запечатать» рассказ о Жюстене и платьях для Эммы. И никто, ни одна душа на этом свете, не в состоянии мне воспрепятствовать. Особенно сейчас, когда собственной моей душе так неспокойно. ОК – «Чудный край». Он не должен вам помешать, не мешает же вести машину музыка автомобильного радио.

«Все в наших краях ядовито. Вернее, все то, что дико, свободно растет. Не станем мы лист подорожника класть на случайную мелкую ранку, в жуткий нарыв обратится тут же она. С дикой яблони плод не сорвем, опасаясь корчей смертельных. Сирени цветущей запах вдохнув, резвый на землю падет жеребенок и околеет мгновенно.

Смущены? И напрасно! Часто ль вы падали сами на землю, рвали и ели невинную в вашей земле зеленую колкую травку, что щиплют лениво коровы? Бьюсь об заклад, что ни разу в голову вам не пришло завтрак устроить из трав, что растут под ногами. Так же и мы – диких плодов не едим, запах цветов полевых не вдыхаем. Наши далекие предки в позабытые уж времена вывели злаки, пригодные в пищу: съедобную, сытную рожь, золотую пшеницу, ее мы называли «культурной». Возле наших домов, за плетнями, чудные зреют яблоки, вишни и белые груши. Есть во дворе и кофейного цвета розы у нас, не источают они никаких ароматов. Но они-то и пища тучных наших коров, а уж запах и вкус молока напоминает и розу, и кофе. Заборы вокруг наших домов – символ и знак, они отклоняют отраву, довольство надежно храня.

Хуже, когда омрачаются ясные дни тучами наших раздоров. Сколько бессонных ночей помню я, проведенных в охране колодцев, в бденье полночном, в тревоге, чтобы обиженный мною сосед в воду не бросил дикого лука стрелу, от которого с рвотой кровавой тело мое быстро извергнет и жизнь.

Также не жнем никогда мы окраины наших полей, слишком легко подменить там пшеницу культурную дикой. Путнику мы оставляем края нашей нивы. Ведь изначально риском наполнено странника существование. Опасностью больше одной или меньше. Много ль значит она для него, его ненадежная жизнь?

Выше всего почитаем мы силу янтарного нашего меда, плода золотистых, привольно летающих пчел. К ним уважение не знает предела. И осторожность, конечно. Встреча с пчелой непредсказуема может быть и чрезвычайно опасна, как с дуэлянтом заядлым бесстрашным, что острой рапирой своей многих отправил уж в ад или в рай, смотря по заслугам.

Но нет и не будет народа на свете счастливей, вольнее, чем наш. Молоды мы, озорны и беспечны. Кометою яркой в празднествах буйных проводим мы дни наших жизней недлинных. Если ж хандра, иль болезнь, или старость, или напасть другая коснется коростой своей лучезарного существования, мажем на хлеб мы сладчайший наш мед, вкушаем и умираем во сне.

Чудный, божественный край! Благословенная жизнь!»

5.

Только несколько слов я хочу сказать в этой главе – меня беспокоит, как Эмма смотрит на Леона. Не понравилось мне, как словно заторможены и одновременно беспокойны были узкие плечи ее, когда она не знала, что я гляжу на нее со спины, в те выходные, что я околачивался у них после теракта на территориях, когда сообщили о гибели двух человек из «сил безопасности», не называя имен, а Леон все не звонил и не отзывался, хотя предполагалось, что он тоже появится. Показалась мне излишне нервной и вспышка ее веселья, когда он, наконец, объявился – цел и невредим. Нарочно задержался со звонком?

Я рассказал Эмме, что видел Леона в небольшой делегации заказчиков в нашей конторе, когда обедал в столовой. Хотя я сидел недалеко и смотрел на него в упор, он не заметил меня. На всякий случай я не стал его окликать.

– Ну и напрасно, – отреагировала Эмма как-то уж очень быстро, – он был в очках?

– Но он не носит очков.

– У него линзы, он потерял одну в какой-то стычке пару дней назад и еще не обзавелся новой. Если он был без очков, он тебя просто не видел.

Осведомленность Эммы неприятно поразила меня. Она продолжает быть насмешливой, когда мы занимаемся с ней любовью на чужой разболтанной кровати на съемной квартире моей умершей матери. Я продолжаю снимать это трухлявое гнездо для наших встреч, но отсутствие материнского

пособия и выплачиваемая мною ссуда вместе с прочими расходами приводят к общему отрицательному балансу и истощают мои и без того не слишком значительные финансовые запасы. И вместе с ними, независимо от них, неумолимо тает что-то еще.

Нет, не удастся ограничиться несколькими словами. Станный случай произошел со мной на прошлой неделе. У меня выдался день, свободный от работы, мать больше не готовила для меня еду, и я решил пообедать в ресторанчике, недорого, много лет уже не менявшем своего итальянского меню, но сохраняющем весьма приличное качество. Есть еще придорожное заведение, на автостоянке, это ближе к дому, но там обычно бывает уж очень шумно. Тем не менее, моя боязнь оказаться пленником какой-нибудь постоянной концепции, какого-нибудь «су-су-су», пусть даже превосходной итальянской кухни, порой приводит меня не то к бунту, не то к гастрономическому адюльтеру, на волне которых я решаю вдруг пойти именно туда, в придорожную харчевню, заказать бараний шашлык, к которому, хочешь не хочешь, положены два гарнира (я выбираю коричневый рис и картофельные чипсы, клянясь не касаться ни того, ни другого, и в итоге съедаю почти все чипсы и две-три вилки риса тоже отправляю в утробу). Еще до этого мне приносят четыре-пять восточных салатов в небольших розетках, которые я обязательно пробую, чтобы убедиться, что они по-прежнему мне не нравятся, и хумус с теплой лафой. Вот их, с сирийскими маленькими горьковатыми маслинами, часто лопнувшими, иногда и с расколовшимися косточками, я съедаю всегда без остатка, так что официант, пробегая мимо моего столика (в таких местах официанты обычно мужского пола и передвигаются в ускоренном темпе), спрашивает, не добавить ли мне еще хумуса и лафы. Нет, говорю я ему, спасибо, и когда приносят шашлыки, я ставлю шампур вертикально острием на тарелку и по очереди, начиная от острия шампура, вилкой, введенной между двумя кусками мяса (плоский металл самого шампура – пропущен между зубцами вилки) принуждаю их съезжать на блюдо. Жирными или жесткими кусками я пренебрегаю, откладывая их в опустевшее блюдо из-под хумуса. Обычные здесь многоядность и шум воспринимаются мною как еще два гарнира или салата, ненужные, неиспользуемые, несъедобные, но неизбежные и неустраимые.

Но в этот день я поехал в итальянский ресторанчик, уселся, с удовольствием ответил на улыбку официантки, хорошо знавшей меня и иногда спрашивавшей, не принести ли мне того же, что я просил подряд два последних раза, заказал business lunch из холодного йогурта с мелко искромсанной свежей огуречной массой, островом-горкой поднимающейся посреди широкой тарелки, и куриной печенки с плоской, очень вкусной лапшой. Уже принесли мне сок грейпфрута и посыпанные специями свежиспеченные булочки с розеткой мягкого масла, смешанного с мелко нарубленной зеленью, как я обратил внимание, что впереди меня сидит за столиком пожилая женщина, ужасно похожая на нашу Верховную судью, но лет на пятнадцать старше. Она выпила крохотную чашечку кофе, затем съела громадную порцию мороженого, которую предварительно разделила надвое, вытребовав для этого у официантки дополнительную чистую тарелку. Начав есть, она, однако, вдруг встала из-за столика и проследовала ко входу, где взяла газету и, вернувшись на место, просматривала ее содержимое, странно удерживая газету за верхние ее углы и словно отщипывая страницу за страницей. Читая, она порой вытягивала губы, причем, иногда это выглядело как приготовление к поцелую, но в другой раз было больше похоже на подготовку к плеву. На последней странице газеты ее, видимо, рассмешило прочитанное, и она коротко и диковато хихикнула. Когда расплатилась и встала, она вдруг двинулась не вперед к двери, а назад, за мою спину. Там располагаются туалетные комнаты и две раковины за перегородкой, но неизвестно откуда у меня возникла мысль, что сейчас, за моей спиной, она достала из сумочки молоток и уже целится мне в темя. Одновременно двое мужчин за наружными столиками выпустили навстречу друг другу клубы сигаретного дыма, будто подавая условный сигнал. Я оглянулся – женщина-«судья», конечно же, шла в сторону туалетных комнат. Станные мысли.

Я вспомнил, что давно не встречался взглядом с моим ночным приятелем – черным бородачом из теней листьев на блестящей стене пятиэтажки, соседней с нашим домом свиданий. Я, конечно, тогда еще, во время наших первых тайных встреч, познакомил его с Эммой. Почему бы нет? Мы смотрели на него вместе из ванной комнаты, он на нас – со

своей белой стены. И вот я осознал – ведь громадный лобешник его и тени век под большими бровями давно исчезли, а я, вечно занятый мыслями об Эмме и о нашем с ней будущем в большой новой квартире, не поинтересовался в чем дело. Не удален ли он (как и мать моя из соседней с ванной комнаты) со стены дома номер 16, может быть свезли его в какую-нибудь палату номер 6 для теней деревьев на стенах? Мне и в квартиру подниматься не пришлось – уже со стоянки я увидел номер 16 на матовом колпаке и подстриженное дерево перед стеной.

К этому периоду моей жизни относится совершенно уже мутный отрывок, безобразный эпизод, заготовка, недооформленная словесная масса, зародыш какой-то истории, который я сначала назвал «Ощущение времени», но это, скорее, не ощущение течения времени, а тихого треска медленного его разрыва. Я дал рассказу другое название: «Двадцать минут».

«Я лежу утром на краю нашей кровати, придвинутой к окну, а она смотрит в него, стоя на коленях и опираясь на подоконник. Там за окном – индустриальный пейзаж. Магнитными щупальцами шарит по земле подъемный кран, собирая железный лом. Насытившийся хобот поднимает высоко вверх, к мутному небу, к грозди других таких же щупалец-хоботов. Когда подгоняют грузовой железнодорожный состав, выпускает одно из них, расслабляет магнитный мускул и наслаждается грохотом железноропада и стоном бортов вагонетки. Дальше, за краном, фоном его, – ниспадающий контур близких высоких холмов, и точно по профилю их – гигантская линия передачи, электрической, высоковольтной, с дугами провисающих проводов, по которым катаются в гвардейских комбинезонах солидные электрики на дрезинах и резвая молодежь на скейтбордах.

На них она смотрела, обнаженная, из окна. Совсем меня не стеснялась. Ни открытой мне чисто выбритой подмышки, пахнувшей вчерашним дезодорантом, ни смотрящего в стену обнаженного зада. Я кладу ладонь на правую, ближнюю ко мне ягодицу, а она начинает подергивать ею, будто стряхивая обгоревший обрывок старого, серого, пыльного газетного листа, хрупкого из-за давней встречи с огнем.

Все приятели мои усмехались, когда я сказал им, что мы с нею – вместе. А теперь она глядит вниз. Я прошу ее плотнее закрыть окно, чтобы избавиться от затекающего в него неприятного запаха. Разве можно жарить столько котлет на одном и том же подсолнечном масле? На кого она смотрит? Кто там? Наверно, наши соседи – подросток, глуповатый безобидный теленок, грузный, улыбчивый, умные делающий глаза, когда вежливо здоровается с нами по утрам. Всегда вместе с матерью, тоже большой, тоже грузной. Вот, небось, мать его подняла сейчас глаза, туда, куда смотрит мальчик ее, и увидела голые груди в окне, и соски бледновато-вишневые, и тянет за руку сына, уводит. Счастлива – безраздельно владеет чадом своим.

А она, та, что со мною, на кровати, на коленях стоя, хоть шевельнулась бы, глядит вниз на мать с сыном, будто так и надо, хоть бы выражение лица поменяла, но – нет.

Но не уходит и никуда не спешит, и значит, в ближайшие двадцать минут, скорее всего, ничего не изменится. А через двадцать минут – хоть потоп!»

6.

Мне позвонил взволнованный Шарль – Эмма разбила машину.

– Она сама как? – в моем вопросе, видимо, было столько личного, что Шарль ответил не сразу.

– Она молчит, перепугалась, наверно, нервный срыв... но так – ничего не видно, ушибов, или там порезов, ничего такого нет, – он отчитывался передо мной таким тоном, как если бы я был отец Эммы. – Я останусь пока с ней, ты не мог бы заняться автомобилем?

Я подъехал к ним так быстро, что Шарль не мог не понять, что я гнал машину, не думая о скорости, мне не нравилась реакция Эммы на дорожное происшествие, в котором она, похоже, не пострадала. Может быть, сбила кого-то? Шарль сказал, что – нет. Он посмотрел на меня с опаской, отдал ключи, документы, объяснил, где находится поврежденный автомобиль, сказал, чтобы я не спешил, не горит. Эмма не вышла ко мне.

Одного беглого взгляда на машину было достаточно, чтобы понять – никакой аварии не было. Эмма, которую знаю только уравновешенной и спокойной, сама колотила ее в гневе или в отчаянии – металлическая италянка была ободрана и смята со всех сторон, левый ее бок был особенно изжеван и похож на небрежно отброшенную тряпку, которой вытирали пролившуюся на пол краску. Теневой угол выложенной из декоративного камня опорной стены, которую таранила машина, в верхней его части, был мягко освещен теплым светом – это отражалось закатное солнце от вздыбившегося капота. Я проверил, отпирается ли багажник. Автомобильная черепаха, для которой мы с Бертой вместе придумали «страшное» имя – Черепаху-Тротила, утвердительно кивнула мне головой, стряхнув с себя осколки помутившегося при разрушении стекла.

Леон? Что-то было между ними? Применил силу? Оскорбил?

Она так и не сказала ни слова, ни мне, ни Шарлю и наши встречи тоже прекратились. Лишь спустя много времени я осознал, что не могу вспомнить и восстановить интимные подробности нашей последней встречи. Именно последней, когда я еще не знал, что других не будет. В который раз это было? Когда я неожиданно пощекотал ее уголком своей подушки у основания груди, воспользовавшись тем, что она лежала на спине, подложив руку под голову? Я сделал это, потому что почувствовал легкий укол досады от того, что даже очень небольшая ее грудь все же сдвинулась немного со своего законного места, а те времена, когда этого бы не произошло, мною безвозвратно упущены. Она встрепенулась, возмущенно посмотрела на меня, раскрыв глаза во всю свою ангельскую ширь, а я, шутя, отшатнулся. Не удержавшись, я свалился с края кровати и охнул дважды, и два моих «оха» не составили продуманной композиции, потому что вырвались спонтанно, первый – при попытке потереть ушибленный зад, второй – сразу за ним, так как я тут же испытал острую боль в локте. Это было очень смешно, развеселило и меня, и Эмму, но Эмма отсмеялась, а я все продолжал улыбаться, глядя на нее, пока она не догадалась, что меня развлекает уже что-то другое. Я передвинул скользящее зеркало шкафа за своей спиной.

– Видишь себя?

– Нет.

– А так?

– Вижу, – теперь улыбалась и она, – ветер играл венецианскими жалюзи на том окне, которое, должно быть, пришлось на промежуток между близкими опорными столбами и потому лишено было стенных пазух, куда задвигаются жалюзи обычные. Тонкие гибкие пластины дрожали, иногда пробегали по ним волны, и обнаженная Эмма казалась одетой в колышущееся муаровое платье из полос света и тени. Я глубоко вздохнул, в глазах Эммы появилось выражение сочувствия, она подумала, что я все еще жалуюсь на боль от падения, но на мировых биржах не происходят такие обвалы, какие случаются в моей душе, когда в очередной раз замираю от восхищения перед сдержанной гармонией оттенков ее волос, лица и глаз. А тут еще жалюзи и это призрачное муаровое платье на ней.

Но все это происходило определенно не в последнее наше свидание. Оказалось, что я ударился еще и большим пальцем ноги, и синяк под ногтем через пару дней стал похож на синяк под глазом. Эмма спросила, не след ли это того падения. Я ответил, что – да.

То происшествие лишь создало тоже призрачный как муаровое платье баланс: в ее памяти, я надеюсь, все еще хранится незаписанный мною рассказ «Эмма и пять веснушек», а я никогда не забуду неснятое домашнее видео – смеющаяся Эмма в муаровом платье из солнечных полос.

Как-то в самом начале нашего романа, Эмма рассказала мне, как неистово ненавидела в детстве свою мать после ее ухода, как поклялась себе, что никогда не будет... ну, этой... она глянула на меня, увидела, что я перебираю в уме слова из тех, которые она может сейчас произнести, и засмеялась.

Потом как-то я задал ей вопрос: верно ли, что это два совершенно разных вида секса – один тот, что для удовольствия и другой – как выражение высшей степени близости и доверия, выдающего пропуск в «святая святых». И что это не всегда осознается просто потому, что оба вида иногда совмещают? Она не ответила. Она и Фейербаха с Кантом

никогда не комментировала. Не потому, что не способна была, – не желала.

Да, я вспомнил, что было в последний раз. Я прочел ей «Поэтессу», а она не поверила в концовку и задала мне вопрос, то ли из содержания, то ли из тона которого я почувствовал, что ей хочется уточнить, откуда взялась эта история, и что настоящая ревность не мучает ее. Фантазия, чистая фантазия, сказал я, подвернулась фотография в интернете. Ты красива, добавил я, тебе проще позволить случиться какому-то событию, чем придумать его. А я... пока развернешь перед дамой панораму своей души! Да и далеко не все женщины падки на возню со словами.

Не ошибся ли я, соблазняя ее флорбером? Не лучше ли было начать с чего-то более жесткого? С «Ады», например?

Я вспомнил еще одно высказывание Леона. «Есть донжуаны и донжуаны, – сказал он, – соблазнить женщину умеют многие, но на конкурсе соавратителей прежде всего должно оцениваться искусство расставания».

Леон. Конечно, Леон. Я приказал себе успокоиться. Я будто лег животом на перекладину или на гигантский вбитый в стену железнодорожный костыль и безвольно повис на нем. А пока, для перебоя, только для перебоя – тот самый рассказ «Поэтесса»:

7.

«Вечер поэзии. Кто бы мог подумать, что такое еще существует. Она читала свои стихи со сцены и пила воду из стакана, а потом раздавала автографы и курила в зале. От далеко отставленной сигареты в ее руке с легкостью можно было нарваться на дырку в одежде.

Этому вечеру предшествовала реклама: на фотографии в бойком развороте было выставлено ее милое очень юное личико на фоне двцветной куртки. Оба цвета (желтым был разрезной капюшон, а сама куртка – синяя) имели резкие границы на фотографии.

Организаторы вечера и сами, видимо, опасались своей ретро-смелости, поэтому пригласили еще музыкантов, из которых один был с голой головой, всегда соблазняющей всмотреться, насколько он просто лыс, а насколько острижен. Молясь над гитарой, он сохранял в течение всего вечера мрачное выражение; другой, тоже с гитарой, поражал худобой и два раза за концерт подмигнул в зал; третий был сангвиник, сидел с палочками за гремучей баррикадой, а когда встал, чтобы поклониться зрителям, оказался милым коротеньким толстячком в штанишках с двумя шлейками. Высокая девушка, стоя, играла на аккордеоне и раскачивалась как худенькое деревцо на упорном ветру.

Поэтесса на сцене показалась ему менее хорошенькой, чем на фотографии. Так снимок создавал впечатление, будто кожа ее обладает идеальной чистотой, которая любое девичье лицо превращает в полюс притяжения взглядов, еще на снимке выделялась челка, а отбившаяся от нее дразнящая прядь волос упала на переносицу и даже перечеркнула левый глаз. На близком расстоянии в ней было меньше от диковатой алычи, на которую она показалась ему похожей, когда он разглядывал фотографию. Лицо ее было более теплого, персикового цвета.

Начала она плохо – не к месту удалым приветствием, и показалась ему ребенком, фамильярничающим со взрослыми. Аудитория (в основном из женщин гораздо старше ее, пришедших полюбоваться юным талантом) промолчала и недовольства не проявила – ясно же: дите храбрится.

Стихи ему понравились. Когда она закончила, он продолжал сидеть на своем месте, опустив голову и будто размышляя. Закончив раздавать автографы сюсюкающим женщинам, она сама подошла к нему.

– Вам не понравилось?

«Какая решительная», – поразился он.

– Я вообще-то не любитель поэзии, я пришел посмотреть на вас.

Он поторопился объясниться:

– Мне нужна героиня для повести, и по фотографии мне показалось, что вы годитесь.

Она решила рассмеяться.

– Что вы решили, подхожу?

– Вы ведь вообще-то не курите? – спросил он вместо ответа, и она опять засмеялась. – Ну, в общем – да, годитесь, хотя этот вечер мне ничего не добавил: все было почти так, как я представил себе заочно.

– В чем отличие?

Он не ответил, но раз она такая храбрая, предложил:

– Хотите, покажу вам город?

Кроме города ему хотелось показать ей еще зеленые холмы в окрестностях, натканные так плотно, как на писаных масляной краской пейзажах на выставке, которыми художник спешит отвлечь внимание от висящей рядом знаменитой облачного вида овечки с мутной вытекающей из глаза слезой и косым фиолетовым ромбом во лбу. Но было уже поздно: во многих городах подсвечивают крепостные стены и фонтаны, но нигде еще не осветили ночью зеленые окрестные холмы или море.

– Некоторые говорят, что слова моих песен слишком искусственны для молодой женщины, – пожаловалась она.

– А теперь скажите то же самое, но с энтузиазмом, – предложил он.

– Ах, моя поэзия – букет искусственных белых роз с синтетической росой на лепестках! – воскликнула она и радостно рассмеялась.

Он показал ей только город, а в конце прогулки почувствовал, как не хочется ей возвращаться в гостиницу, встречаться там с еще двумя юными поэтессами, с которыми она совершает свое турне и которые наверняка еще не спят и иногда стучатся к ней в номер или звонят по телефону. Придется беседовать с ними о женской поэзии. К концу прогулки он знал о ней уже многое: и то, что у нее есть старшие сестры, и даже, что она, по ее словам, ужасно подурнела в последние годы. Он преодолел желание сказать ей, будто ему кажется, что он знает ее уже давно, и поэтоу брякнул: «Мне кажется, я начинаю читать ваши мысли», – и тут же проклял свою глупость, так некстати была сказана эта фраза, так отдаляла она его от того, что он готовился ей предложить.

– Это потому, что я все о себе выбалтываю? – засмеялась она. – Мне кажется, я подурнела именно тогда, когда увлеклась поэзией.

Он глянул на нее: кокетничает, знает, – не такая она дурнушка. Она передернула узкими плечами под сине-желтой курткой, и он тут же, пока еще эту дрожь можно было спутать с ознобом, вызванным прохладой, предложил решительно:

– У меня две свободные комнаты в доме. Если не боишься, можешь выбрать любую из них.

– Не обесчестишь меня? – снова удивила она его своей смелостью и краткостью.

– Согни руку в локте.

Она послушалась.

– Напряги мышцу.

Напрягла.

– Можно дотронуться? – он указал на руку в том месте выше локтя, где должен был вздуться бугорок мускула.

Она кивнула, и он осторожно нажал пальцем через рукав ее куртки.

– Пожалуй, не рискну.

– Тогда поехали, – она представила себе, как завтра утром будет рисоваться перед поэтессами: «Вам было не скучно вдвоем?»

Он еще успел рассмешить и дежурного офицера, и саму поэтессу, затащив ее в полицейский участок и оставив там заявление о том, что на ближайшие сутки берет на себя ответственность за безопасность совершеннолетней девицы такой-то перед законом и ее, означенной девицы, родителями.

Дома они пили кофе с бутербродами, потом он искал комплект свежего постельного белья для нее. Стелить самому показалось ему не вполне удобным, и он указал на сложенную стопку на диване, который он разложил для нее: подъем сидения, щелчок, опускание, затихающий стон пружин.

– До завтра, спокойной ночи.

Ветер снаружи, темнота внутри дома, напряжение и ожидание, тишина, ночь.

– Там что-то скребется за стеной, мне страшно, – сказала она, постучавшись через несколько минут в его комнату. Она была закутана в одеяло, – и холодно, – добавила мрачно, чтобы он не посмел принять жалобу за кокетство.

Он чуть было не объяснил ей, что источник скрежета – дерево, которое на ветру трется ветвями о наружную стену, но вовремя прикусил язык и уже уверенно солгал, будто одеял у него больше нет. Всмотревшись в нее, он указал на свободную половину своей постели таким жестом, будто это был надувной матрас в походной палатке.

Она поколебалась, а потом напонила, опять кратко:

– Обещано.

Он согласно кивнул, и она легла. Они объединили одеяла, но она тут же откинула их, выпрыгнув прямо в его домашние тапочки.

– В туалет, – мирно объяснила она.

Ее шлепанье в великоватых даже для него самого тапочках показалось ему таким вызывающим и таким злонамеренным, что возникшего в нем вождения хватило бы, кажется, чтобы «обесчестить» тапочки, раз уж ей самой он сдуру наобещал быть сдержанным.

Она вернулась совсем озябшей, и он предложил ей согреть спину. Она решительно въехала в него позвоночником, и он даже обнял ее тонкие ребра правой рукой. Только бы не коснуться случайно груди, успел лишь подумать он, как большой палец дернулся в конвульсии, уперся в ее грудь и вернулся на место. Он замер, ожидая реакции и оценивая встреченную упругость. Она резко повернулась к нему – в его болтающейся на ней и при повороте задравшейся на животе белой рубчатой майке с широкими шлейками. Он осторожно перевернул ее на спину, опираясь локтями в матрас и следя, чтобы она чувствовала себя свободно. Под левым локтем обнаружилась добравшаяся чуть не до самой обивочной ткани пружина, а правым он прижал майку. Она заметила и то, и другое, и засмеялась двум тюленьим движениям, одним из которых он освободил край майки, другим – избавился от капкана пружины.

Она так и осталась в майке, собравшейся в складки над аркой ее ребер, когда они уже превратились в любовную композицию. Стало тепло под двумя одеялами, и даже испариной покрылась кожа ее наивного живота. На отбеленном влажном севере лица он менял касаниями губ расположение упавших на глаза прядей волос цвета согревшегося на солнце песка. Тогда она приоткрывала глаза, но взгляд, видимо, немного близорукий, был направлен внутрь себя, позволяя ему не таясь любоваться переходами оттенков радужной оболочки глаз. Когда пересыхали ее губы, тонкая нежность которых вызывала страх перед прикосновением к ним, он успевал огорчиться этому прежде, чем она закусывала нижнюю губу и затем возвращала ее уже опять горячей и влажной, передавая во время рывка тела часть ее влажного блеска другой, верхней.

Будто колыхался теплый туман и булькали горячие гейзеры. Напряжения худенького тела сменялись расслаблениями, словно мучительными извивами текли и исчезали в расплывшейся дали нервные воды узкой реки.

Наконец, будто хлопнули, взорвались частью разом, а частью по очереди полторы дюжины воздушных шаров. Горячий белый шоколад (не холодный-равнодушная сметана!) пролился на только-только созревшую землянику. Какая она размягченная и взъерошенная!

– Теперь мы совсем родственные души? – настезь открылся один глаз, пока веко другого подрагивало, борясь с челкой.

– Конечно! – ответил он, откидываясь на свою половину постели.

– Ты это тоже вставишь в повесть?

– Я пошутил, я не пишу повестей. Я шахматист.

Она сорвала с себя майку и отхлестала его. Он отвернулся.

– Эй, ты куда? – она постучалась пальцем в его плечо, словно в запершуюся на несерьезную защелку душу.

– Никуда, – ответил он, повернувшись и оказавшись с ней лицом к лицу, – это ловушка, и ты в нее попала.

Молчание.

– Ты почему затаилась? – спросил он самым добрым и доверительным тоном.

Еще молчание, потом, наконец, смех. И снова. Теперь без майки, весело, с барахтаньем.

Он представил себе, засыпая, как проснувшись утром, почувствует ее худенькую спину, но пробудившись, обнаружил только лежащее на соседней подушке написанное на желтом квадратике из стопки бумаги для записок стихотворение, которое называлось: «МНЕ ПОРА». Оно было явно сочинено наспех, но в нем, как и в том, что он слышал вчера, не было бездымного женского горения.

*Тяжеленный самолет,
Деву юную не ждет:
«Зазевалась, дуреха?
Плохо это! Очень плохо!»*

*Самолет уходит в небо,
И дома – как крошки хлеба.
Вниз, назад он не глядит,
Он вперед и вверх летит.*

*Четким профилем крыла
Завершенные дела
Режет он наискосок:
Мне кусок, тебе кусок.*

Поэзия, как бижутерия, ее выставляют на стеклянных с зеркалами полках в таком невероятно большом количестве!.. От утреннего холода он зарылся было под два одеяла, но в зеркале скрипнувшей дверцы шкафа увидел себя, и увиденное ему на сей раз не понравилось. За тридцать. Даже с гостиничным номером, в котором провел всего одни только сутки, он расстаётся с трудом. Проверяет, пусты ли все полки в стенном шкафу, открывает один за другим в тумбах все ящики, того и гляди, на задней никому не видимой стенке одного из них распишется гостиничной шариковой ручкой с синей пастой – а вдруг попадет когда-нибудь в тот же номер, вспомнит, выдвинет ящик... Голой ступней он толкнул створку шкафа, она закрылась, зеркало отразило пустое окно и за ним еще более пустое небо.

А ведь до того, как открыть глаза, вспомнил он свое пробуждение, он хотел назвать ее «кисочкой» и «крысочкой», потому что понравилась она ему сложно.

Конец поэзии, подумал он, и снова шахматы, и значит, можно попытаться просчитать: ход первый – открыв дверь спальни, он примет в объятия швабру в майке; ход второй – на лестнице соберет пустые тапочки, будто бегущие вниз; ход третий – придется взять такси до аэропорта, чтобы забрать свою машину со стоянки.

Он еще вчера отметил: в ее стихах в текущей строфе не обнаружишь намека на содержание следующей, и значит, как она изобразила вчерашний вечер, прошедшую ночь и утреннее бегство на лежащей внизу в гостинной шахматной доске с резными фигурами, вычислить ему не дано».

Законченный лишь поздней ночью рассказ о поэтессе утром он показал жене. Она прочла и нахмурилась.

– Игра воображения, – пояснил он.

Неудовольствие не рассеялось.

– Фантазия художника.

Все та же мрачность.

– Ну, и где ты прячешь от меня эту стерву? – спросил он, изобразив ее хмурость.

И когда жена его, наконец, рассмеялась, он утомленно зевнул, а потом добавил обиженно:

– Воображение. Ничего больше.

8.

– Теплый белый шоколад с земляникой. Это наверно очень вкусно, – сказала тогда Эмма, а я не мог оторвать взгляда от ее улыбающихся тонких губ.

– И движение к шоколаду с земляникой – быстрое, без остановок на светофорах, на прямой передаче. Прямо, как у Бунина, – смеялась она.

– Можно еще сравнить с камамбером, поданным с красной черешней, – продолжала веселиться Эмма.

– Но камамбер – застывшая субстанция, – возразил я настороженно, мне показалось, что ручеек ее веселья ищет и уже нашел какое-то новое, неожиданное, не предусмотренное мною русло.

В школе, в студенческие годы, во всех местах, где мне случалось больше одного-двух лет проработать, я как-то само собою, без особых усилий с моей стороны, с легкостью попадал в центральный комитет еще только складывавшихся или уже сложившихся групп. Мне, должно быть,

помогали в этом неконфликтный характер и мой искренний интерес к литературе, всегда ценимый в России и среди ее выходцев. Но никогда не стремился я в этих сообществах к роли генерального секретаря, не искал абсолютного первенства. Неужели, это и есть именно та соль, которой не хватило во мне, чтобы решительно выдернуть Эмму из толпы, присвоить ее исключительно себе в танковой, пришедшей на смену кавалерийской, атаке? Зря, может быть, я третировал рассказы писателя Бунина. Нобелевский лауреат, женщины его произведения любят. Может быть, и Эмма. Я ведь ни разу об этом ее не спросил. Как он это делал? Выливаем на сковородку ложку человеческой грусти, добавляем в меру (человеческой тоже) тоски, кладем мелко нарезанные овощи природных явлений – их много, как и овощей, хотя перечень их все же ограничен – поля, облака, дома в сумерках, затяжной дождь, а к нему сами просятся зонты, плащи – добавляющие уныния приправы-аксессуары. Если случаются комары, то они не досаждают, и не кусают, а ноют. И вот – и ожидаемо, а все равно внезапно, поверх всего этого выплескивается вдруг желтое как солнце, круглое как солнце, ядро куриного яйца, любовь, страсть, под ровное шипение оно густеет, тускнеет, а разбитое виллой или ножом и вовсе становится плоским и мутным. Но невозможно забыть первый яркий, отчаянный прыжок блестящего желтка из разбитой с треском матовой скорлупы прямоком в жаркий, кипящий и шипящий ад сковородки. Какой простой рецепт! Какое действенное любовное средство! Да, я – не спринтер, я – стайер. Может быть, я вообще никогда не понимал Эмму до конца.

Не вижу ничего, не понимаю – будто надел совершенно неподходящие мне очки. Зачем? Какая нелепость, «сердцу фабрики»... Я сижу в кресле перед экраном и, видимо, засыпаю. Хрупкая дремота с четким, цветным, контрастным (с совершенно определенными красками) видением. Я лежу будто бы в просторной темной комнате, и вот в дальнем от меня углу ее открывается дверь, не быстро, не медленно, на месте двери возникает сначала прямоугольник насыщенного, теплого, желтого цвета, такого, какой бывает у чая в тонкостенном стеклянном стакане. Только вот стакан большой, размером с дверь. Потом появляется в проеме этой двери темный силуэт женщины. Не войдя еще даже, она оборачивается назад и разговаривает с кем-то снаружи. И из слов ее я понимаю, что те, к кому она обращается, – не враги, не разбойники, не воры. Это какие-то люди, которые пришли, чтобы отнести меня на кладбище. Очнувшись от сна, я не нахожу в нем никаких признаков ночного кошмара, этот сон не поднял мне волосы, пробуждение не заставило меня встряхнуться, прийти в себя. В нем была скорбная деловитость, не более. Крах моей любви. Скорбная деловитость и крах любви – верный тон видения.

Сны приходят ко мне, конечно, и по ночам, поражая своей дикой злокозненностью. Так снился сапожник, он снял мерку, чтобы сшить для меня теплые сапоги на заказ, зимние, с мехом внутри, и все заглядывал мне в глаза и спрашивал, будет ли и моя дочь их иногда надевать.

Ненависть и чувство мести должны были бы распирать меня так, чтобы мне не влезть в автомобиль без того, чтобы не демонтировать дверь и не отодвинуть кресло назад до предела. Но на деле я будто сжался весь, похудел, стал меньше ростом и превратился в средоточие мышц и злой воли. Я даже приблизил кресло к рулю на один щелчок, купил присоску с зажимом и проверил, смогу ли я читать текст с закрепленным в нем листком без ущерба для управления автомобилем. Потренировался. Привык.

Я знаю, Леону много приходится говорить по телефону в машине, с этим проблем не будет. Теперь остается ждать запланированной им поездки на Мертвое море. Я спросил его и получил однозначный ответ – он отправится не через Иерусалим, а южным путем. Там, на петлистом спуске от Арада к морю, я приведу в исполнение свой план. При всем моем недоверии ко всяким планам. Собственно, только место и способ запланированы мною, все остальное будет импровизацией. Как пойдет, так пойдет. Просчитывать детали буду прямо на месте, а еще вероятнее – действовать интуитивно. Интуиции я доверяю больше.

Зачем листки, зажим? Что я собираюсь читать? Кому? Для чего? Леону. Приговор. И не читать, а зачитывать. В художественной форме. Мне нравится строгость в процедуре суда, но мне претит ее косность.

Я ждал его на выезде из Арада. Когда не было видно приближавшихся автомобилей, смотрел ввысь. Моим замыслам больше соответствовало бы

сейчас мрачное небо, в котором облака – холмистая свалка пыльных битых матовых стекол, с вспышками молний, похожих на мелькание неисправной неоновой лампы, но небо было спокойным и даже немного торжественным, с бороздами высоких перистых облаков. Точно как в тот день, когда освободили из плена нашего солдата, в день рождения Эммы.

Я засек, наконец, машину Леона и грубо встроился в поток автомобилей сразу за ним. Сзади мне посигналили. Плохо. Свидетель. Может обвинить меня в неосторожной езде. Но не больше. Имя Леона уже было выбрано мною заранее из моего телефонного каталога, осталось только нажать кнопку.

– Родольф? – спросил Леон. – Где ты?

– В зеркале заднего вида, – ответил я тоном, который ему вряд ли должен был понравиться.

– Ты не говорил, что тоже собираешься на Мертвое море. – Ты один?

– Один одинешенек, – сказал я грустно, – и еду к Мертвому морю.

На названии этого моря я сделал ударение, вполне ощутимое. Одно из моих опасений развеялось – связь была отличной.

– Что ты хочешь мне сказать? – спросил Леон.

– Прочешь свой новый рассказ.

Он хмыкнул.

– Ради этого ты увязался за мной?

– Да.

– Ну, читай. Как называется твоё новое творение? Оно короткое?

– Как прыжок с пожарной каланчи. Свободно разместилось бы на тубике с зубной пастой. Называется «Имперский пес».

И я начал читать:

«Мы играли с имперским псом, который не должен был пускать нас за нарисованную на паркете черту. Пока мы просто заступали ее, пес легко стравлялся с нами двумя, бросаясь на нас по очереди, поднимаясь на задние лапы, и выталкивал нас за черту, нажимая широкой собачьей грудью и дыша нам в лица, но когда мы одновременно легли на пол и разом поползли за черту, он совершенно растерялся, не знал, что делать, и принялся жалобно скулить, словно умоляя нас прекратить безобразничать.

И тут на его длинную морду села маленькая птичка в черном оперении с длинным тонким клювом и сложила крылья. Пес сразу присмирел и лег на живот, вытянув передние лапы и поджав под себя задние. Птичка, переступая лапками, долго смотрела ему в глаза, потом клюнула пониже между ними в морду, и пес сразу обмяк и околел.

Птица улетела, а мы отползли назад и молча сидели, сложив под себя ноги, пока не пришли слуги, чтобы оттащить, взявшись за задние лапы, тяжелого мертвого пса. Тогда мы ушли, не дожидаясь пока они приведут новенького».

– Ну, и о чем это? – спросил Леон.

Господи, как я не люблю этот вопрос. Книжки, которые меня завораживают, которыми мне часто удавалось заморозить Эмму, все как на подбор – сгусток. Сгусток чего?

Запрокидываем, например, голову, глядим в небо. Кто это сказал: «облака, все в профиль»?

Или сгусток того, что пока еще рядом. Кто это написал: «Платье... чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами»?

Или волшебная концентрация низменных материй. Кто это изобразил: «Авось не слишком толсто, геморрой снова не разойдется. Нет, в самый раз. Ага. Уфф! Для страдающих запором: одна таблетка святой коры»?

– О долге и чести, – ответил я.

– Ты хочешь просветить меня по части долга и чести? – в голосе государственного служащего явственно звучала ирония. – И кто есть кто в этом рассказе?

Я спокойно воспринял и нотку презрения в его вопросе.

– Он не расчленяется, как любое художественное произведение, – я именно отвечал, а не просто ответил, – все вместе – со словами, интонацией, образами – о долге и чести.

Он молчал. Я:

– А долг и честь начинаются с отношения к женщине.

– А, ты об этом? – я обратил внимание, что расстояние между нашими автомобилями начало увеличиваться и нажал на педаль газа.

Дьявол! Откуда взялась на дороге эта черная собака? Она заметалась перед моим автомобилем, но ничего сделать было нельзя. В зеркале заднего вида я увидел ее неподвижно лежащей на дороге, совершенно неповрежденную внешне. Видимо, удар картером двигателя мгновенно уколошил ее.

– Убийца, – хрипло засмеялся Леон, – гуманист-убийца. Достоинство палестинцев задевать не желаешь, а собаку ни в чем неповинную взял и хладнокровно убил.

– Я не хотел.

– А кто хочет? Ты еще мне как позавчера одна сука молодая из Бельгии, хорошенькая, горячая такая, скажи что-нибудь о палестинских матерях, мечтающих о мире для своих сыновей.

– А что, совсем не мечтают? – спросил я и подумал: «Отвлекает».

– Ну, разве что, чтобы мы ее детей-террористов по разным тюрьмам не распихивали, тяжело ведь таскаться на свидания с передачами... Еще что-то? – спросил он, и в голосе его мне почудилось снисхождение.

Если есть что-либо в моей жизни, чем я смогу гордиться до последнего своего дня, так это тем, что хладнокровие и самообладание не изменило мне в эти минуты, я с тоской вспомнил об убитой собаке и (клянусь, так и было!) обратился к Людвигу Фейербаху с просьбой помочь мне, заступиться перед кем следует, чтобы в дальнейшем (по крайней мере, на сегодня) я был избавлен от чертовщины. Фейербах меня не подвел, и ни тогда, когда я ответил, что да, хочу прочесть еще один рассказ под названием «Коридор», ни во время самого чтения, ни после, ничего особенного или таинственного уже не произошло.

«Я шел по свеженачищенному блестящему полу длинного коридора, когда навстречу и мимо меня пробежал высокий худой человек в белом медицинском халате. Человек этот показался мне знакомым.

– Маленький, но очень сильный, – успел крикнуть мне он, прежде чем уменьшился и исчез за поворотом коридора.

Я проследил за ним взглядом, пытаясь вспомнить, кто это и понять, что значило его предостережение, а когда обернулся, чтобы продолжить путь, из третьей двери направо вышел человек в хорошо отглаженных или просто совсем еще новых брюках и в байковой клетчатой рубашке с длинными рукавами. Лицо его, хоть и казалось потрепанным, но все же было вполне обычным. Некоторое беспокойство внушал только прямой, стоячей зацветшей воды взгляд. Он был маленького роста, гораздо ниже меня, неплотного сложения, но в нем чувствовалась сила.

– Здравствуйте, – сказал я, когда он поравнялся со мной.

Не отвечая, он быстро пырнул меня чем-то блестящим и острым в живот, потянул руку назад – нож! Он выплюнул кровавую ватку в коридорное пространство за моей спиной.

Мне было очень больно, и я почувствовал, как струйка спустилась по животу и, коснувшись рубашки, стала пропитывать брюки, но спросил как можно вежливее:

– Вам только что вырвали зуб?

– Да, – ответил он сдержанно и не спеша пошел дальше по коридору, а так недавно появившаяся в моей жизни, но уже знакомая мне струйка, спустившись по правой ноге и миновав колено, потекла по икре. Семенила собачка навстречу, крохотная-крохотная. Она сунула нос мне в штанину, встретила кровь и, слизывая, не давала ей испачкать мои сандалии.

– Он ушел. Спасен, – сказал я сначала собачке, а затем приближающемуся блестящему полу и своему смутному складывающемуся отражению в нем».

– Каких глубокомысленных комментариев я удостоюсь в отношении данного произведения? – спросил Леон.

– Разве что – такого: – ответил я, – когда рассказ или иное произведение написано от первого лица, всегда следует предполагать, что уж его-то, мнимого рассказчика, как раз и не стоит ассоциировать с автором. Скорее наоборот. Например, в этом рассказе – маленький человек в байковой рубашке как раз может скрывать автора, которому неудачно и очень болезненно удалили зуб.

– Послушай, – сказал Леон, и голос его звучал так, как будто я уже смертельно ему надоел, – ничего особенного между нами, в общем-то, и не было. Я был жутко не в форме после двух бессонных ночей (гонялись кое за кем возле Хеврона), и мог предложить ей только оральный секс. Она попросила меня показать язык и сказала «нет», она сказала, что мой язык кажется ей слишком широким.

– «Широкий язык» – это цитата, скотина, она пошутила, – простонал я.

За очередным поворотом солнце ударило прямо в глаза, но мне показалось, что это улыбка Эммы ослепила меня, из тех, что предназначались мне в дни нашей близости. Можно с ума сойти, когда она растягивает, улыбаясь, свои и без того тонкие губы.

Теперь уже не могло быть никаких сомнений, он не мог сам придумать этого, про широкий язык. Это Эмма цитирует ему Молли. Никакой подделки. Удвоенное «м» шутит на манер двойного «л». Но что-то во мне размягчилось в этот момент – она значит и без меня продолжает в том же духе, смешивать эротику с иронией. Хотя так я остался с ней. Эмма, родная моя! И тут же бешенство захлестнуло меня.

– Теперь слушай третий рассказ и последний, – сказал я.

– Родольф, я найду тебе хорошего доктора.

– Хорошо, но сначала послушай, – он выслушает, подумал я, во всех фильмах по служебным инструкциям полагается заговаривать сумасшедшего или преступника.

– И как называется этот опус?

– «Геометрия».

– Логичное название для третьей и суммирующей части, – произнес он, и я сразу почувствовал, что это такая формальная, бессмысленная отвлекающая фраза, призывающая к дискуссии, но я не стал заниматься лишней говорильней и начал читать.

«В этой деревне были всего две улицы – Главная и Пастушеская. Главная была проездной на незагруженном автомобильном шоссе, а Пастушеская – эллипсом, надетым на ось Главной. Автомобилист, въезжавший по шоссе на Главную, доезжал до перекрестка и видел с двух сторон указатели на Пастушескую. В этом не было ничего особенного, но когда он уже выезжал из деревни, опять был перекресток, и опять с двух сторон начиналась Пастушеская.

Жители деревни знали, что это озадачивает проезжающих, поэтому на въезде и выезде из деревни были устроены два дорожных кольца с клумбами. На одной клумбе было оливковое дерево, а на другой – разноцветные кусты. Водитель на кольце разворачивался, снова въезжал в деревню и поворачивал направо, на Пастушескую, доезжал по ней до Главной. Уже догадываясь, что его ждет, продолжал прямо – на вторую дугу Пастушеской, доезжал до конца, и по Главной, улыбаясь, уезжал навсегда из деревни.

Было ли что-нибудь интересное в этой деревне? На Главной была в рост человека почтовая башенка, со всех сторон ее – множество блестящих дверей, на Пастушеской – дома в садах. Были ли в садах собаки? Да, когда мы на своем санитарном фургоне муниципальной службы проезжали по второй дуге мимо дома номер четыре, между двумя штакетинами забора нам навстречу просунулся энергичный клистир собачьей морды».

Леон молчал. Видимо, пытался влезть в мою шкуру и самостоятельно осмыслить последний рассказ.

9.

В оригинальном тексте не было ничего про «санитарный фургон муниципальной службы», как не было изначально в рассказе «Коридор» лижущей кровь маленькой собачки. Про фургон я добавил за день до этого, а лижущую собачку и вовсе только сейчас, когда пишу эти строки. Откуда она взялась, скоро проясню. Зато теперь все три рассказа оказались связаны своей «собачностью». Три звена в собачьем поводке-цепочке моей мести. Если «лошадность – это чтойность вселюшадности», то моя «собачность» – простой породы: это таковойность Леона, государственного служащего, у которого не встало (по его

словам) на мою Эмму, потому что он двое суток охотился на террористов в южной части Хевронского нагорья.

Я твердо решил заранее, что постараюсь не ставить на карту собственные жизнь и свободу. Я не находился пока за той гранью отчаяния, которую пересек несчастный Гумберт Гумберт, не оставивший американскому правосудию никаких альтернатив. Но мне хотелось, чтобы мое убийство сценически было обставлено не хуже, не менее кокетливо, если позволено так охарактеризовать способ уничтожения чужой человеческой жизни. С приговором в художественной форме и с вдохновенным, с элементами импровизации, его исполнением. И мне это удалось! Ей-богу, удалось! По крайней мере, так это выглядит в моих глазах!

В предстоящей аварии в соответствии с планом удар в мою машину должен был прийти сзади. Я давно, с самого почти приезда в страну, полюбил крутой долгий спуск от Арада к Мертвому морю, и здесь я наметил четыре возможных участка, где шоссе круто поворачивает вправо (слева – обрыв, справа – стена). И на первом же из них я привел в исполнение свой замысел: сначала начал понемногу отставать, чтобы образовать дистанцию для разгона. Как я и рассчитывал, последовавший резкий набор скорости мною Леон истолковал как простую попытку быстро сократить расстояние, но перед самым поворотом я не снизил скорость, а рискнул, выскочил на встречную полосу, обогнал его и почти прямо перед носом его резко притормозил, оставляя ему выбор между примитивным прямым ударом в мой багажник и попыткой обойти слева. План не был идеальным, но я рассчитывал на авантюрный характер Леона и на автоматическую шаблонную реакцию, которая толкнет его отреагировать объездом на объезд. И я не ошибся. Увидев его сзади и слева от себя, начинающим обгон, я, повернув руль, зацепил стену. Скорость моей машины была достаточной, чтобы заднюю часть моей машины бросило в сторону, и гулкий удар моего мягкого багажника пришелся в тяжелую и жесткую правую переднюю дверь машины Леона. Мне в лицо и грудь выстрелила белая подушка, приятная, надо сказать, на ощупь, и я не видел, как оттолкнувшись от моей машина Леона покатилась и запрыгала по откосу. Освободившись (мутило, болела сдавленная грудь), я подошел к краю дороги и сквозь удививший меня своей прямизной шлейф пыли увидел далеко внизу перевернутую и словно заплесневевшую (от осевшей на ней все той же пыли) машину. Она не горела, и я, схватив обломок бордюрного камня, отколотого от островка узкой смотровой площадки, побежал вниз, чтобы при необходимости добить Леона. Не зная, действительно решился бы я на такую жестокость, скорее всего – нет, но инстинктивное намерение мое состояло именно в этом. Я хотел с размаху опустить камению на голову своего врага.

Когда я добрался до машины, я увидел, что другой камень, валун, величиной и формой напоминавший мешок со складкой, будто одна сторона мешка легла на ступеньку, остановил падение автомобиля и довершил дело в отношении Леона. Он был пристегнут, подушка выстрелила, но боковое стекло было разбито, и голова его при столкновении машины с камнем встретилась со «складкой» последнего.

Я опустил на землю свое несостоявшееся орудие убийства и сел на него. Мой сотовый телефон работал, и когда я захлопнул его после того, как вызвал «скорую», я услышал шорохи сверху, тяжело поднял голову (все таки немного прихватило и шею), увидел, что от дороги к нам спускается мужчина в сандалиях, шортах, футболке и с бритой головой (наполовину лысой, наполовину бритой, как оказалось, когда он подошел ближе), а впереди него несется маленькая собачонка. Я не разбираюсь в собачьих породах, знаю овчарок, бульдогов, отличу пуделя или болонку, но все эти мелкие существа, часто ужасно надоедливые, для меня малоразличимы. Может быть, вам что-то подскажет наличие у нее непомерно больших бакенбард, на манер тех, которыми снабжают русских актеров, играющих солидную пожилую прислугу мужского пола в английских детективах. Добежав первой, она пометалась с лаем между мною и Леоном, но поскольку мы оба проявили полное безразличие к ней, она успокоилась, лизнула кровь на голове Леона, потом подбежала к моим ногам и, часто и мелко дыша, посмотрела мне в глаза. Она-то, фактически, подготовила меня к встрече со следствием, потому что именно ей я стал мысленно излагать полную версию происшедшего, закончив притчей, бог знает откуда взявшейся в моем разболтанном из-за удара и быстрого спуска

сознании. Однажды, поведал я собачке, Александр Македонский вызвал на соревнование Геракла – кто из них победит питона, решившего судьбу Трои. Первым в бой вступил полководец. Он раскорячился, как корни дуба, и тяжелый упругий питон не сумел задушить его своими кольцами. Теперь настала очередь Геракла, но Македонский сказал: «Я ведь уже победил, не вижу смысла в продолжении поединка». Право, ну чем я не Гомер, любезный читатель? Я, пожалуй, лаконичнее, но, согласен, в литературе это не всегда хорошо.

Хозяину собачонки я только вкратце заметил, что авария произошла из-за меня, из-за того, что я задел стену. Сказанная вслух фраза вызвала неожиданный спазм, заставивший меня набрать в легкие громадное количество воздуха и резко выдохнуть его. Лысый владелец собаки успокаивающе прикоснулся к моему плечу. Я продолжал сидеть на камне, иногда мне казалось, что близко от левого глаза, на периферии зрения проплывает загнутый обрывок черной нитки, я пытался отслеживать его полет. Затем мне вдруг смертельно приспичило по-крупному. Настоящего укрытия не было поблизости, я присел за камнем, но грудь моя, плечи и голова были видны. В карманах не оказалось ничего, кроме носового платка. Я решил воспользоваться им, но почувствовал, что рука меня слушается плохо, и я, кажется, промахиваюсь. С третьей попытки я справился с задачей. Вежливый господин заранее отошел подальше, отозвал собачку и как будто отвернулся, но судя по тому, как он брезгливо поморщился во время моих манипуляций с платком, я понял, что он не выпускает меня из виду. У него на поясе была бутылочка с водой, он открутил пробку, вылил почти все ее содержимое мне на руки. То, что оставалось на дне, предложил выпить. Я допил воду, протянул ему, было, назад пустую пластиковую бутылку, но он знаком отказался ее принять. Я поискал место, куда бы ее поставить, естественно не нашел, и так мы и оставались до приезда врача – я с пустой бутылкой в руке, он – с пробкой от нее.

Полиция задержала меня там же внизу, а в КПЗ мне приснился сон. Беременная, на тридцать девятой или сороковой неделе Эмма объясняла мне, лежа в постели и укрывшись почему-то с головой одеялом, из под которого непривычно глухо звучал ее голос, что таковы уж причуды беременных женщин, и что поэтому она хочет, чтобы я взял ее прямо сейчас, потому что она уже предчувствует первые схватки в преддверии родов. Вот как! У Эммы, оказывается, бывают капризы. А я-то, наблюдая ее совместную жизнь с Шарлем, называл ее про себя «Душечкой». Я, конечно, не мог ей отказать, но во входную дверь постучали, и продолжали стучать очень настойчиво. Пузатая Эмма выскочила было из-под одеяла и побежала открывать, но передумала и позвала Берту.

– Кика, – произнесла она незнакомым мне кокетливым голосом, – открой дядям дверь.

Почему «Кика»? Откуда эта слащавая интонация? Как она может знать, что за дверью «дяди»?

Берта открыла дверь четверым мужчинам.

– Кика, – произнес уверенный голос одного из них, – пойдешь в соседнюю комнату, поиграй в «Angry birds» на маминем телефоне.

Акушеры? Четверо? Но как только Берта закрыла за собой дверь спальни, четверка двинулась назад, в пространство лестничной площадки и из глубины ее, ухватившись за широкие брезентовые ручки, чуть не бегом внесла в квартиру простой фанерный ящик с телом Леона и, поставив его рядом с кроватью, так же быстро удалилась. Я запер за ними дверь и готов был теперь удовлетворить просьбу Эммы, но из того места, куда я должен был ткнуться, уже показалась головка с жидкими волосками. Может быть, как раз это и есть Кика, а в «Angry birds» играет все-таки Берта, подумал я. Но думать теперь было некогда, и я пнул ногой ящик с Леоном, чтобы он (Леон, а не ящик) перестал не жить и помог мне принять роды. Горячая жидкость бойлера снов на этом была, видимо, использована полностью, и емкость его заполнилась свежей, еще холодной, безразличной массой, полившейся на меня отрезвляющей, пробуждающей струей. Я проснулся. Из сна про Эмму – в тюремную камеру, вне которой, за дверью ее, могли обитать разве что полицейские, я выплыл с мыслью, что мне безразлично, чей это ребенок – Шарля, мой или Леона (я не вполне верил в почти целомудренную версию последнего из претендентов на отцовство – с чего бы Эмма стала крушить тогда автомобиль?)

Чаще всего в моих снах меня посещает чувства вины и раскаяния. В повторяющихся ночных видениях я вдруг вспоминаю о матери, забытой мною в каком-то заведении больничного типа, или, оказавшись голым на улице, срываю пальто с вешалки у входа в магазин верхней одежды и отчаянно ишу в толпе знакомых, чтобы одолжить денег и расплатиться с продавцом. Случился сон, в котором крупный медвежонок приставал к Эмме на глазах у медведицы, Эмма не на шутку испугалась, но было ясно, что если я попытаюсь отогнать от нее медвежонка, на меня набросится его злобная мать. Наяву я готов для Эммы на все, а во сне я мучительно колебался.

Но этот тюремный сон был благостен, в нем все вращалось вокруг Эммы, все было – для нее, все – ради нее, и не было места ни для какого другого чувства.

Я должен был бы по идее опасаться нескольких вещей. Во-первых, осколка бордюрного камня. Случайно ли то, что он оказался рядом с автомобилем и нес на себе отпечатки моих пальцев? Я не знал, не догадался вовремя выяснить у мужчины с собачкой, пока мы были наедине с ним, с какого момента я попал в поле его зрения, не видел ли он меня спускающимся с камнем в руках. Оказалось, нет, он рассказал, что разглядел сквозь пыль только, как я кладу какой-то предмет на землю и сажусь на него. Следствию это не показалось интересным. Зато подозрение, как и ожидалось мною, вызвали три литка с тремя рассказами, закрепленные в поле зрения водителя. На вопрос, что они делали там, я объяснил, что готовился послать их для участия в литературном конкурсе «Золотое перо России» по номинации «О служебных собаках», вот только в «Коридоре» нет собачьего мотива, объяснил я, о нем я еще только размышляю. В каком-то смысле я теперь, включив в рассказ ту самую собачку с английскими бакенбардами (не уверен, достаточно убедительно ли у меня это вышло), выполнил намерение, изложенное мною на допросе в полиции. На следующий день следователь сказал, что они проверили информацию: конкурс с таким названием – действительно существует, но номинация «О служебных собаках» в нем не значится. Это шутка, сказал я, поморщившись. В создавшемся положении мне лучше не шутить, довольно мягко заметил следователь, и я понял, что беспечность, с которой мною была отпущена эта действительно неуместная шутка, сыграла мне на руку, склоняя следствие к мнению, что я держусь с ними расслабленно потому, что не знаю за собой настоящей большой вины в происшедшем.

Не перечитывал ли я лежащий сверху рассказ «Геометрия» непосредственно во время аварии, спросил он. Нет, ответил я, аварии предшествовал обгон, мне было бы трудно читать во время обгона. Как насчет проверки на детекторе лжи? Я обреченно махнул рукой: да, я заглядывал в текст, но раньше, на прямой дороге, не в момент аварии или в непосредственно предшествующий ей отрезок времени. Пусть. Больше всего я боялся, что они полезут в личный и служебный компьютеры Леона и обнаружат там его переписку с Эммой, возможные упоминания обо мне и докопаются до истинных мотивов происшедшего. Я понятия не имел, существует ли такая переписка. Этого не случилось, либо они ничего не нашли. В конце концов, я признался, что мы с Леоном устроили гонки, которые и послужили причиной его гибели. Этим самооговором я надеялся дать им в руки легкую возможность все же наказать меня и на том прекратить следствие. Но наверно, я и сам хотел наказать себя. Год лишения водительских прав и три месяца общественных работ (в течение этого времени я мел двор танкового музея в Латруне) – не знаю, покажется ли вам это наказание пропорциональным тяжести совершенного мною преступления? Я сам такого рода рассуждения отношу к «су-су-су». Что было, то было. Да и вообще, следует ли считать, что это я убил Леона? Ведь он мог бы по-другому как-нибудь повернуть руль и остаться в живых. Да и чем вообще мое отчаянное поведение отличалось от безумия дорожных лихачей, сотнями убивающих людей на дорогах? Мое помешательство, по крайней мере, имело причину, самую уважительную из всех возможных – любовь.

Я намеренно не описываю Леона подробно (например, не сообщал, пока он был жив на этих страницах, о его любви к сладким финикам и о том, что он знал текущие цены на них во всех торговых сетях и на рынке), более того – использую нехарактерный для меня тон равнодушного негодая. Да, я не оживляю Леона, достойного гражданина (каким он,

несомненно, являлся) в своих записках. «А был ли Леон?» – спросил я себя тогда, и было в этом вопросе наигранное, нервное бодрячество. Выбранный мною тон изложения, якобы бесстрастный и нагло вато беспечный, обусловлен тем, что мне не хочется, чтобы вы сочувствовали Леону, жалели его в ущерб симпатии ко мне, о которой я, конечно, забочусь на протяжении всех этих записок. А может быть, таким способом я тяну время, откладывая какой-то окончательный расчет с самим собой. А за потерю мною Эммы, наверно, я и на бога тогда способен был устроить покушение.

Вернувшись домой, в собственную квартиру, в свою комнату, к привычной постели, ничего не зная ни об Эмме, ни о Леоне, я почувствовал успокоение и, написав под утро нижеприведенный рассказ «Моя собака», понял, что распавшиеся были мои мысли и суждения теперь соединились снова в своем обычном порядке.

10.

Все началось с того, что я купил для своей кровати красивое покрывало коричневого тона. Если было холодно, я им укрывался, набрасывая поверх одеяла, а если нет – откидывал в сторону.

И вот одной прохладной ночью, замерзнув и оттого проснувшись, я сначала, как обычно, проверил, не изменило ли мне ощущение хода времени во сне, то есть сказал себе: «Сейчас столько-то времени», – потом глянул на часы. Иногда совпадение вплоть до нескольких минут поражает меня и наполняет гордостью, я вижу в этом признак душевного здоровья. Но сразу вслед за этим действием на сей раз я обнаружил, что покрывало одним краем сползло с постели, а из складок его родилась собака и села в темноте на пол у моих ног. Я посмотрел на нее внимательно, затем, отвернувшись, стал глядеть в окно на темные ветви фикусовых кустов и думать, а она тем временем не сводила с меня глаз, и я понял, что она не ищет причины броситься на меня, а ждет, что я решу насчет ее дальнейшего проживания в моей квартире, и такое ее поведение только подчеркивало, только делало еще более несомненным – это моя собака.

Ну и что? Мне теперь, значит, придется купить ошейник и водить ее гулять по утрам? С одной стороны это неплохо – лишний повод размяться физически, с другой – уж очень я не привык заботиться о ком-либо. Я подумал, что если я сейчас расправлю покрывало, то собака, возможно, исчезнет. Я шевельнул по очереди озябшими ногами, прислушался к жизни своих внутренностей, высвободил из-под одеяла авангард тела – плечо. Опершись на локоть и протянув руку, я раскрыл окно шире, и в спальне сразу стало еще холоднее.

Мне, в общем-то, совсем необязательно было кряхтеть, чтобы подняться с постели, но из горла сам собою вырвался такой скрипящий звук, будто мне нелегко встать на ноги, и я понял, что это я рисуюсь таким образом перед своей новой собакой.

Я подумал еще немного, теперь уже стоя в тапочках и поглаживая одним пальцем слабый комариный укус на плече, осторожно расколупал-очистил заржавевший прохладной ночью нос, затем ушел в соседнюю комнату, достал там из шкафа одеяло, подходящее по плотности к температуре в комнате, и лег досыпать на диване.

11.

Пока я разбирался с правосудием, Эмма, как я узнал позже, собрала два чемодана и уехала с ними в Нью-Йорк к матери. Как я понимаю, она ничего не стала объяснять Шарлю, но он (бедняга), видимо, решился, наконец, объяснить самому себе все то, о чем он раньше не хотел догадываться. Он не опустил, не впал в отчаяние, но однажды душным летом, пока Берта находилась в лагере местных бойскаутов (что-то вроде пионерского лагеря с галстуками национальных цветов), он затеял уборку, в процессе которой задумал навести порядок с вещами: переместил оставшуюся одежду Эммы в дальнюю секцию шкафа, аккуратно разложил вещи Берты, и чтобы освободить для нее побольше места, решил свои зимние вещи переместить в пустой объемистый ящик их с Эммой бывшего супружеского ложа, для чего приподнял вместе с матрасом крышку. Он решил начать с укладки пальто – сугубо зимней

вещи в здешних краях. Держа в правой руке крючок вешалки, на которой первоначально висело пальто, левой он забросил его полы поближе к изголовью кровати. Но такое перевернутое положение пальто показалось ему неестественным (Шарль всегда был немного педантом, я наблюдал однажды, как он маникюрными ножницами отрезал от лекарственной упаковки пустые ячейки из-под проглоченных таблеток, в другой раз, как с помощью тех же кривых ножниц вскрывал письмо – не рвал склеенный конверт, а срезал узкую полоску с одной из сторон). Теперь же, нагибаясь все ниже, он полез переворачивать пальто в ящике. По мере приближения к вершине острого угла, под которым была поднята крышка ящика с лежащим на ней матрасом и постелью, лицо Шарля наливалось кровью, становясь все краснее...

*Здесь имеется в тексте сохраненный мною пробел. Видимо, Родольф, в очередной раз просматривая написанное им, встал из-за стола и отправился в спальню, чтобы выверить детали для изображения последних минут жизни Шарля, подлинных или придуманных им. Может быть даже, решив проверить, помещается ли в тесном ящике человеческое тело, он пригнувшись, успел опуститься одним коленом на дно, готовясь улечься. Далее, как я уже излагал в предисловии, возможно, последовал внезапный инфаркт, падение, крышка, за которую он инстинктивно ухватился перед тем, как окончательно свалиться, захлопнулась. Матрас, падая, повилял упитанной пружинной талией и успокоился... Так, думаю, не стало Родольфа. Всесильный Птицелов, Великий Небесный Ловчий, не считаясь с Фейербахом, поставил эту нелепую ловушку для *Vanellus spinosus*. Советую в этом месте остановиться. Даже если вы не слишком чувствительны, все же требуется время, чтобы прийти в себя, и продолжить чтение текста, словно вынырнувшего к нам из мутной глубины небытия...*

12.

Оме стал полным профессором и издал обширную монографию о еврейском рассеянии, поместив в послесловии к ней трогательный рассказ о гибели своего друга, палестинского философа Анри Саадауи, научившего свое сердце биться иначе, чем бьются сердца оккупантов, и не желавшего, чтобы оно остановилось в какой-нибудь из их больниц. Однажды философ собрал своих еврейских друзей (сторонников мира и палестинской свободы) в песчаных дюнах и стал копать могилу. Когда яма была уже достаточно глубока, он позвал свою плачущую мать. Старушка, догадываясь о том, что должно теперь произойти, вздымала к небу руки в мольбах, причитала, но приближалась мелкими шажками. «Иди, иди сюда, мать», – ласково звал ее палестинский философ. Он протянул ей руки оттуда снизу, и нежно приняв ее, опустил рядом с собой. «Садись, садись на корточки, мать», – сказал он, и когда она присела, дважды выстрелил ей в затылок, а затем один раз в свое сердце, бившееся иначе. Сторонники мира покрыли землей погибших, а потом устроили на их могиле скромный памятник – пирамиду камней, из тех, что брошены были в оккупантов подростками Палестины. «Камни свободы», – такое имя у памятника. Оно очень нравится Оме, может быть, будет использовано им для названия одного из будущих произведений. Но и последнюю, уже изданную его книгу, судя по сообщениям в прессе, часто и охотно цитируют как в стране, так и за рубежом.

Оме вообще теперь проводит много времени за границей, и так же неизменно сопровождает его Наполеон и заседает в президиумах. Последнее я обнаружил, когда соблазненный рекламой, отправился на его лекцию в Брюсселе по завершении небольшого путешествия по странам Бенилюкса, которое предпринял в память о нашей совместной с Эммой и Шарлем поездке по Кавказским республикам. С удивлением узнал я в зале и невысокого господина с круглым животиком и тонзурой на макушке, когда-то так громко хлопнувшего дверью на книжной ярмарке. И здесь он тоже выступил и заявил, что европейцы, жители пораженного стокгольмским синдромом континента, заболели также и

философией self-hating Jews – они почувствовали, что превратились в евреев, и прониклись ненавистью к самим себе. Вообще же в этой философии (как и в стокгольмском синдроме), постарался он больше уязвить аудиторию, ему чудится что-то родственное с инцестом. Хлопать дверью господину с тонзурой здесь не пришлось, в зале поднялись шестеро решительных парней, они кричали на него гортанными голосами и в итоге вытолкали вон. Причем одному из них, я заметил, удалось пребольно ущипнуть его за лысину.

Темя этого господина снова показалась мне странно широким. Я проделал сейчас эксперимент: поднял аппликацию Paint, создал овал, добился схожести заполняющего цвета с серебристым оттенком обрамлявшей лысину моего соотечественника густой седины, поблескивавшей в искусственный «дневном» освещении в зале без окон, затем поместил в центр фигуры меньшего размера окружность, «залил» ее ярким желтым цветом и немного вытянул по горизонтали. Я так и не пришел к однозначному выводу, действительно ли контрастная лысина визуально раздвигает седой нимб. Желтое в сером. Словно мир идей в житейском море.

Тогда же, сидя в зале рядом с нетерпеливо ерзавшей в кресле дамой лет пятидесяти, стремившейся, видимо, выразить несогласие с взглядами Оме (вряд ли она удовлетворилась бы только вопросом к нему), но так и не получившей слова, сам я захотел спросить храброго господина перед тем, как он вынужденно покинет зал, часто ли ему приходится видеть свою лысину? Или только когда парикмахер, окончив стрижку, поднесет ему со стороны затылка круглое зеркальце, чтобы удостовериться, что клиент доволен результатом работы. Так делала моя подружка, веселая парикмахерша в далеком прошлом, во времена моего добровольного бегства из родного города.

Больше мне некуда бежать, я прочно и навсегда осел здесь, в древнем Леванте. Тому есть много причин: тут памятником лучших минут моей жизни долбит Vanellus spinosus бетонную колонну, здесь ареал обитания этих птиц, здесь я сочинил «Имперского пса» и прикончил его, здесь под слоем глины самим божеством предписанного мне отечества покоится моя мать и ее выносившее меня чрево. Тройная родина Коцья еврейского. Я упоминал уже в этих записках о величии европейской цивилизации, построившей здание современной культуры на старом фундаменте греческой, римской и еврейской эстетической, политической и религиозной мысли. Я люблю культуры нынешние – русскую, английскую, французскую, немецкую, но именно потому, что уважаю и люблю, не желаю лепиться к ним. Пусть в свою очередь послужат основанием для нашей – обновленной, своей. Не буду я пытаться запрыгнуть на ближайшую, но не принадлежащую мне вершину.

После Эммы я ни к какому женскому телу не могу прикоснуться. Все кажется мне чужим. Я не давал никаких обетов верности, и конечно, не жду, что Эмма вернется ко мне, что позвонит вдруг по сотовому телефону из гостиницы, спросит, не в командировке ли я. Не в Квебеке ли? И я отвечу ей, что нет, я здесь, между Иерусалимом и морем. Я написал об этом рассказ «Коктейль»:

«Почти два года понадобилось врачам, чтобы подобрать коктейль лекарств, корректирующих мой характер, пока жена не сказала: «Стоп, это меня устраивает».

Должен честно сказать, результат понравился и мне самому. То есть, скажем, и до начала медицинских экспериментов я взял на себя недельное мытье полов. И тарелки с чашками в небольших количествах, когда нет смысла накапливать их в посудомоечной машине, мыл и раньше. И вообще – дело вовсе не в дедеже тягот быта. Так, пожилой доктор, старший в консилиуме, единственный, кто сидел в обычном костюме с галстуком, а не в белом халате, спросил жену: «Хотите, добавим 3 млг айронпсихотерпина, и он станет сам гладить свои рубашки?» Жена покачала головой отрицательно и потом легонько вздохнула, кладя на гладильную доску первую из семи рубашек моей недельной смены, но решения своего не меняла.

Речь шла о тонкой настройке – о благородстве, о долге. Если вспомнить известное японское изречение о том, что жизнь человека легка, как лепесток сакуры, а его долг перед императором тяжел, как гора, то именно такого результата в своем отношении к жене хотел добиться и я. Ведь это я был инициатором обращения к медикам.

Год назад жена ушла от меня. В прощальном письме она просила ее не разыскивать, не предпринимать бесплодных попыток реанимировать умершее в ней чувство ко мне.

Желания ее для меня – закон, но я не отменил коктейля, разве только попросил добавить этого самого айронпсихотерпина. Во всем, что делаю, я сверяюсь теперь только с внутренним камертоном, с воспоминаниями о прожитых вместе годах. Я спрашиваю себя, так ли она хотела бы, чтобы я проявил себя в такой-то, такой-то ситуации? Каковы допуски? Импровизирую, исследую границы возможного, допустимого, решаю, и в конце концов, спрашиваю: «Так? Хорошо?» Представляю себе ее улыбку и радуюсь своей догадливости, горжусь собою и ее одобрением».

13.

Иногда примут в фирму, где я сейчас работаю, новенькую, совсем непохожую на Эмму (как сама Эмма вовсе не была похожа на Nicole Kidman), и что-то екнуло в душе, и я подтянусь, увлекусь, придирчивее отнесусь в ближайшие дни к своему гардеробу. А она, ощутив вдруг мой не вовремя отведенный взгляд как красный лучик лазерного прицела на шее, на лбу, обеспокоится – зачем этот странный взгляд дикувиной птицы с круглым глазом? И я почувствую себя так, будто пытался влезть на голую ледяную горку. Спыхватываюсь, что и случись чудо, уже просто физически не пройти мне с новенькой всего того длиннейшего пути, по которому на аркане протащил «Мак-фатум» мое чувство к Эмме. На брюхе сползаю я с холодного скользкого холма, и все, чего хочется мне, – разве что сесть перед ними обеими – новенькой в фирме и ледяной горкой – у подножия их, и рассказать им обоим всю, с самого начала, долгую историю моей любви к Эмме.

Порою мне чудится, что где-то рядом существует некая неабстрактная женщина, которой скучно и которую я мог бы развеселить. Но все сделалось для меня меньше, лишенным волшебства большого чувства, его чистоты. Мое представление об Эмме, мои воспоминания о ней – одухотворены и в этом смысле даже кажутся мне бессмертными. Я умиляюсь, упиваюсь и одновременно потешаюсь над собой, но никогда не отказываюсь от фантазии, согласно которой в ином измерении, в некоем «одухотворенном космосе», в ином трансцендентном бытии (у вас, наверное, имеются в запасе и другие слова и названия для омывающего душу светлого течения) я буду каким-то образом близко связан с Эммой, буду наблюдать бесконечно, как она разглядывает Шарля, вертя скакалку, чинит замок молнии моей куртки, поднимается от моря к дороге, к автобусу, потешается надо мною в постели.

Лежа под простыней, под одеялом, закрывая глаза, пытаюсь вспомнить интимные взлеты, которые особенно дороги, – когда становилось ясно, что удалось по-настоящему расшевелить-разогреть невыносимую Эмму. Когда потерю ею контроля над собой выдавали вдруг подавленные вперед плечи... судорога ее ладоней, упершихся в мои... напор ее талии, сдерживаемый мною... когда просила снять оставшиеся на ней... последние уплывающие льдины разморозившейся реки... одежды... один только раз на моей памяти – проступила вдруг, разом, по всему ее хрупкому телу испарина... густой суп... раскушенная надвое крохотная упругая клецка... тонкие картофельные медали... тушенные в сметане... в длинной тарелке закопченная рыба... в корытце из фольги... с чайной ложкой растительного масла на дне... натрое поделенным лимоном... Я задремал. Боже! Думая об Эмме! Проголодался, собирался ни в коем случае не есть после шести, а сколько сейчас? уже двенадцать, чуть-чуть! самую малость, чтобы не завелась тугая пружина... не зазвонил будильник голода в желудке... настырный... даже не бутерброд... мы едем за этой малостью с Эммой... я везу ее на раме велосипеда... одной рукой обнимаю... ощущаю ее мягкость и твердый локоть... вокруг во множестве летают цветные воздушные змеи... легкий хлопок гипсовых перепонок, скрывающих включившийся кондиционер... будто знакомая легкая рука толкнула дверь спальни, сопротивляющуюся из-за низкого давления, вызванного текущим за ней по коридору и лестнице сквозняком.

Мне кажется, если бы Эмма меня зарезала, задушила, я принял бы свое убийство без ужаса, с любовью. А если бы она решила меня застрелить – и вовсе улыбался бы ей.

Эта мысль утром высекла из моего сознания (или подсознания) два веселеньких рассказа. Один из них, сейчас не помню который, я написал в день рождения Эммы. Первый из них, «Пропуск на завод», – единственный, поданный мною от лица женщины, второй, – «Выбор профессии», написан в обычной манере. Вот первый:

«Я в будке сидела на высоком табурете, когда он появился. Сразу почувствовала – сейчас что-то из ряда вон выходящее произойдет. И он меня увидел и ко мне идет.

– Заблудился, кажется, я на вашем заводе, – говорит, оглядывая развалины вокруг.

– Покажите ваш пропуск, пожалуйста, – отвечаю.

Роется в сумке, которая у него на плече. Во внешнем кармашке с молнией сбоку.

– Не лучшее место для хранения серьезных документов, – хмурюсь, – из кармана, который не сверху, а сбоку открывается, могут и документы выпасть, и деньги.

– Ну, деньги я туда не кладу, – смеется, – деньги – внутри, – и хлопает по внушительному пузу своей сумки, а в боковом кармашке что-то уже нащупал и достает.

– Нет, не этот, – улыбается, – этот с прищепкой, на воротник подвешивать, – показывает мне, как пропуск за угол воротника цепляют, – а на ваш завод – только в пластмассовой рамочке, я помню. Вот он! – другой пропуск вылавливает и мне протягивает.

– Это пропуск старого образца, – говорю, – вам нужно сфотографироваться: три фотографии размером 4, и четыре фотографии размером 3.

Он лоб поморщил в недоумении, но вижу – все-таки полагается на указания официального лица. А у меня сердце екнуло – вот уйдет сейчас, и больше я его никогда не увижу. Волосы у него мягкие, ветер их легко в беспорядок приводит, и видно, что характер у него такой же легкий, как волосы.

– Что в сумке-то? Оружие есть? Или одни деньги?

– Нет, – смеется, – зачем мне оружие? – и сумку для меня открывает.

Там бумаги, кошелек, коробка, как для дисков, и провод какой-то.

– Провод зачем? – спрашиваю.

– Это, – отвечает, – кабель сериальной связи RS-232, он соединяет «2» с «2» и «3» с «3». А если к нему вот эту штуку присоединить, то тогда, наоборот, – «2» соединяется с «3», а «3» – с «2».

– Понятно, – говорю, – а вы уже завтракали?

– Нет еще, – улыбается мне благодарно умник этот, хотя я ему еще ничего не предложила.

– Вон там, видите, – тигель, в нем греются пироги с творогом. Хотите?

– Хочу! – снимает свою сумку с плеча, кладет возле будки на землю и карабкается на гору бетонных обломков к старому ржавому тиглю.

Открывает его – там ничего нет, рукой трогает внутри, оборачивается ко мне:

– Он холодный! – кричит издали.

– Сожрали, черти! – кричу ему в ответ, – и печку выключили.

Возвращается ко мне, не спрашивает, кто эти черти, которые пироги съели. Сколько такта в нем!

Сумка его все еще на земле лежит, я на нее киваю и спрашиваю по-дружески, ведь мы с ним уже как бы неплохо знакомы:

– Послушай, у тебя сейчас не найдется для меня девятьсот? – и не опускаюсь до объяснений, зачем они мне так вдруг ни с того, ни с сего срочно понадобились и даже не упоминаю о том, что в долг прошу, не сообщая, когда и как верну эти деньги.

Он хмурится, но спрашивает:

– Именно девятьсот?

– Ну, да – девятьсот, – отвечаю, будто бы даже с оттенком досады.

И он, представляете, усовестился и потянулся к своей сумке. Господи, до чего милый!

– Вы когда, черти, пироги съесть успели? – кричу в сторону.

Парни вылетают из-за будки, хватают его сумку, взлетают с ней на соседнюю кучу строительного хлама и начинают черные молнии расстегивать и внутренности потрошить.

Он, было, двинулся за ними, потом остановился, покраснел и кричит им:

– Я никогда другим людям пакостей не делал! – Помолчал, потом добавил тихо так. – Никогда!

И пропуск на другой завод у него на воротнике так и висит, забыл снять. Парни ржут над ним, один другого подначивает:

– Тебе кабель RS-232 и насадка к нему нужны?

– Не-а, – другой хохочет, – я люблю только «1» с «0» соединять, но без проводов и без насадки.

Тогда этот, с пропусками на заводы, так неодобрительно мне в глаза посмотрел, будто я собралась на его кабеле сериальной связи белье сушить, или много лет замужем за ним, и он вдруг меня с другим в постели застукал.

И вот не знаю, что на меня накатило в тот миг – завелась с пол-оборота, жутко вспомнить. Выхватила пистолет из кобуры. Выстрелила дважды в упор. Из табельного оружия – прямо в сердце этого дурака».

Второй, напоминая, – «Выбор профессии»:

«Пробудившись ото сна в спальне собственного дома под звук тихого журчания, я вострепнулся, решив, что прорвало бойлер. Резко развернулся в постели, не протирая глаз скрюченными пальцами, но одним только усилием воли преодолел утреннюю нечеткость зрения и тут же обнаружил, что источник звука – не льющаяся с потолка вода, – это журчит над моей кроватью голос очень молоденькой женщины с плоским, круглым лицом и на азиатский манер суженными глазами. Одета она была в национальный костюм с расшитыми юбкой и блузой, а поскольку декоративные одеяния всех народов, от Японии до Португалии, для меня выглядят на один лад, то я и не стал определять, традицию какой именно нации она представляет у меня в спальне. Я, конечно, заинтересовался содержанием ее журчания, но вслушиваться не стал, а сразу поставил вопрос с максимальной возможной определенностью: в чем состоит цель ее посещения, спросил я, а затем конкретизировал вопрос – какие именно услуги она предоставляет.

– Я могу присесть к вам на кровать, – пролился ее ответ, словно прозрачная струя кипятка из чайника в чашечку.

Я посмотрел на нее – глаза-щелочки пылали энтузиазмом, будто она только что окончила курсы посредников по торговле недвижимостью, и я первый клиент, которого ей предстоит облапошить. Немного полновата, определил я, но, в общем, ничего, вполне миловидна.

– Пока, пожалуй, не нужно присаживаться, – ответил я, полагая, что ни в каком деле не стоит потакать женщине и допускать, чтобы события развивались по заготовленному ею сценарию.

Прошедшая ночь была теплой и влажной. Я подумал, что нужно, прежде всего, принять душ и сменить постельное белье. Вот она пусть и сменит, пока я буду мыться, решил я. А потом и ее отправлю под душ, не с полки же холодильника, где стоит пиво, она явилась ко мне. Я постарался, насколько возможно незаметно для нее, приняться. Она пахла той необычайной свежестью, в облаке которой приходят в первый раз на первое место работы ответственные молодые девушки.

– Смените простыню, пока я буду там? – спросил я, кивая в сторону шкафа, когда произносил слово «простыня» и в сторону ванной комнаты, когда перерезал нить фразы вопросительным знаком.

– Пожалуйста, – ответила она, – так даже лучше будет.

Что-то в ее ответе меня смутило.

– А что собственно вы собираетесь делать, после того, как присядете ко мне на кровать? – поинтересовался я.

– Я пришла подготовить вас к смерти, – был ответ.

Я, конечно, опешил.

– Спешу вас огорчить, – произнес я нарочито деликатным тоном, – я совсем недавно прошел подробное медицинское обследование, найден не идеально здоровым, но моей жизни в ближайшее время ничего не угрожает.

У меня сложилось впечатление, будто я сказал банальность, к которой ее заранее готовили на курсах. Она победно просияла:

– Но все умирают рано или поздно.

Черт, подумал я, ведь появилось же каким-то образом перед моей постелью это привидение в расшитых одеждах, таким непонятным образом, пожалуй, и грузовик может вылететь на меня из унитаза. Мне стало не по себе, проще сказать, – я изрядно струхнул. Я заглянул ей в глаза и тут вдруг почувствовал слабость. Затем пришла боль,

сначала в груди, следом – в левой руке, а оттуда она стала распространяться к шее.

– Помогите мне, – попросил я, глядя теперь уже не в глаза ей, а на расплывчатую, словно все уплотняющимся облаком затягивающуюся луну ее лица.

– Вот видите, – скорее разгадал я движение губ, нежели услышал ее ответ.

Она вначале, как обещала, присела на кровать, а затем тяжело для такой маленькой руки закрыла ладонью мой рот. Большим и указательным пальцами другой руки уверенно и плотно свела она вместе ноздри моего же носа. «Это нос, а не пипетка», – была моя первая мысль. «Вот и зря гонялся я вчера за волоском в ноздре перед зеркалом!» – об этом я подумал следом, и картины всей прошедшей жизни не пожелали сменяться перед моим внутренним взором».

14.

Во снах желания мои сильнее действительности, в них и сейчас мы с Эммой нередко бываем вместе. Правда, в последнее время в видениях этих она упрямо, а я настойчиво ссоримся, чего никогда не было в жизни. Проснувшись, я таю от нежности и уже наяву затеваю схоластическую дискуссию Родольфа «А» с Родольфом «Б», что присоединить к чему – ссоры к нежности, или нежность к ссоре, принимая и то, и другое как дар, как развитие наших отношений.

Тогда же, поначалу, когда казалось, что у пустоты, есть свойство сгущаться, сгущаться вокруг меня, неотличимые друг от друга дни раздражали как докучливые паразиты, а с наступлением ночи душа будто коченела. Отражение приступов моего отчаяния сконцентрировалось в рассказе «Вши», где в тогдашнем своем состоянии я (не знаю, с какой целью и чего ради) растворил, как бело-блестящий сахар в непрозрачной черноте кофе, впечатление, будто одиночество рассказчика является его добровольным выбором. И даже пытался шутить, бравируя вымученной свободой.

«Осенью, когда вши улетают в Африку, время отращивать густые и теплые волосы.

Когда они уже не торчат, а согласно ложатся, раз в неделю, всегда по приходу субботы, я смещаю пробор на толщину пальца. Я прикладываю его ребром к голове рядышком с пробором прошлой субботы и намечаю с другой его стороны пробор субботы пришедшей, получается, что я переносу его на расстояние, равное переменной ширине пальца. Пробор отступает и немного поворачивается. Так новая суббота оказывается непохожей на ушедшую, но меня все же можно узнать.

Но узнавать меня некому, вши – в Африке, и у меня нет зеркала. Зеркала нет, потому что, если купить, то поселить его нужно в комнате, полностью задрапированной в черное, чтобы зеркало отражало только меня и не смешивало с тем, что у меня за плечами. Чтобы комнату оббить черным, нужно закупить тьму тонкого крепа и вызвать мастеров, которые умели бы драпировать не только стены, но и потолок с полом. Насколько я знаю, таких мастеров нет, а если б и были, они успели бы смертельно мне надоесть своей возней и стуком молотков.

В самый постный зимний день года я включаю телевизор. В этот день на всех каналах одни лишь заставки. Когда я добираюсь до кроличьих ушек, я усаживаю на диван перед телевизором женщину, мною придуманную и в жилище моем наяву не присутствующую. На ней муаровое строгое платье из блестящих серых и матовых белых полос. Она узнает меня, несмотря на косой пробор. Но выглядит она недовольной, она не хочет соседства муарового платья и кроличьих ушек в одном пространстве. Я согласно киваю ей, выключаю телевизор, и тогда она вежливо и достойно уходит.

В прочие дни я сажусь за компьютер, посещаю форумы и оставляю едкие замечания по адресу участвующих в обсуждении, но никогда не возвращаюсь, чтобы узнать содержание ответов, предположительно возмущенных и ответно оскорбительных.

Когда голова моя начинает чесаться, я понимаю – пришла весна, вши вернулись. Они нарушают торжественность моей уединенности. Я срезаю старинной механической, никелированной, приятно щелкающей машинкой ненужные мне больше волосы и выбрасываю их за порог ко всем вшам».

Вот еще образчик моего творчества того времени. Рассказ «Английский алфавит»:

«Трижды я пытался заглянуть к А, но всякий раз его не было дома. Несколько раз звонил В, но телефон не ответил. Ткнулся, было, к С, но вовремя вспомнил, что он женат на очень неприветливой женщине, и она ни на миллиметр не отпускает его от себя. D всегда был невероятно заносчив. Встречусь, а он выкажет пренебрежение ко мне, и я буду себя презирать – зачем, дурак, навязывался. Е – чрезвычайно красивая женщина, все будут смеяться надо мной, решив, что я пытаюсь чего-то там... F, знаю, давно эмигрировал. Прилечу, встретимся, а его дети будут разговаривать в моем присутствии на непонятном мне языке. Письмо G, помня об отрицании им любой современной техники (обоснование этого мне всегда было тошно выслушивать) я отправил по почте, но оно вернулось. Послал заказное, тот же результат. Что можно еще предпринять? Да и стоит ли? С очень близким мне когда-то Н я поссорился, задев его чем-то. Ну, положим, мне удастся восстановить отношения, все равно ведь снова за что-нибудь обидится. I забрался высоко, через секретарей и секретарш не пробиться. Кто-то пытался, но впустую. J, она, скорее всего, примет меня, и даже дело снова дойдет до постели, и там, между простынями, упрек ее выразится в совершенной физической пассивности. Это уже было. klmn, четверка, которая вместе пьет пиво в кегельбане. O – помешана на сексе, будет страшно удивлена моему приходу, чего доброго, втянет меня в какие-нибудь свои проблемы с X, которого она «по-прежнему любит». P попросит денег взаймы, он всегда это делал, и теперь будет хлопать глазенками, обратится с просьбой о нескольких тысячах просто так, только потому, что я сам ему подвернулся. Веселую Q я уже видел недавно на вечерней встрече с заезжим поэтом в занюханном зальчике при книжном магазине. Коренастый муж, на полголовы ниже ростом, придерживал ее послушную гибкую спинку. R – хам, если ему нужно в магазин, он потащит меня с собой. Если приспичит смотреть телевизор, нагло включит его при мне. S, известно мне, болен. Смертельно, безнадежно болен. Он при нашей встрече оживится, будет бодро разговаривать, но закрыв за мною дверь, весь съежится, еще больше помрачнеет и вернется к мыслям о близком и неизбежном. Больно. U T всегда дурно пахло изо рта. Он знает об этом и старается держаться на расстоянии, но иногда забывает. U! U! U! Нежная, любимая U! Нет тебя рядом со мною! V, выйдя замуж, стала W, и с тех будто прописана в другой галактике. С самим W я почти незнаком. X будет подозрителен, начнет издали выяснять, не прислала ли меня ненормальная O. Y? Кто такой Y? Почему я его совершенно не помню? Долго разыскивал Z, и когда наконец, раздобыв адрес, прислонил велосипед к стене его дома и нажал простую круглую кнопку звонка, на порог вышла женщина из обожженной солнцем соседней двери и спросила: «Разве вы не знаете? Он умер на прошлой неделе».

Бесполезен, ни к чему не ведет перебор английского алфавита».

Если рассказ показался вам зараженным мизантропией, – бог с ним, постарайтесь его поскорее забыть.

15.

Шарля похоронили по еврейским обычаям, высокий худой раввин в длинном пиджаке отклонялся в молитве, за что-то благодаря бога. Здесь я узнал, что матери Шарля уже нет в живых, отец его присутствовал, он был похож на легкую, поставленную на попа, не заправленную табаком седую папиросную гильзу. Его поддерживала за локоть неизвестная мне пожилая женщина. С некоторым опозданием узнав о происшедшем заплаканная Эмма связалась со мной, она попросила меня взять пока на себя обязанности по воспитанию Берты. Уж не знаю, приняла ли она это решение себе в наказание, ради блага Берты или из жалости и дружбы ко мне. У нее, я понимаю, и в мыслях не было, что я откажусь, и она была права. Она не верит, несмотря на мою очевидную причастность к гибели Леона, в преднамеренное убийство. Слава Фейербаху, ее трезвый ум отворачивается от подозрений в заговорах и конспирации. Посмотрев на дело со стороны,

как это сделала не только Эмма, но и следователи, трудно предположить, что такой преступный замысел мог быть рассчитан и исполнен практически. Зато не трудно было ей догадаться, с какой нежностью и желанием я займусь воспитанием Берты. Я знаю, Эмма долго говорила с ней по телефону, объясняя ей свое решение. Мне не положено знать, как решаются такие вопросы между женщинами. Но Берта быстро привыкла ко мне, ей понравился заданный мною тон равенства между нами и то уважительное внимание, с которым я неизменно относился к ее желаниям и потребностям. Открытая, как большинство здешних детей, чисто женские вопросы она решала со своими школьными подругами, не догадываясь, что с их матерями существует у меня договоренность на сей счет. «Мы с такой-то (Нетой Шерер) и ее мамой накупили всякой всячины», – говорила она и протягивала мне счет из магазина. Я выписывал чек.

В нашей повседневной жизни я не инициировал «нежностей», но когда она, случалось, бросалась мне на шею, каменел, а она тогда заглядывала мне в глаза и, я уверен, не без детского тщеславия находила в них мою тоску по Эмме, что привязывало нас еще больше друг к другу. Когда самой Берты не бывало дома, я бродил по комнатам, не собирая и не наводя порядок в разбросанных ею вещах, ведь я изначально, покупая эту квартиру, воображал ее именно такой.

Глупая моя шутка в полиции насчет рассказа на конкурс в Россию вспомнилась мне, когда одна из местных компаний сотовой связи учредила проект по «поддержке и развитию талантов русскоязычных деятелей израильского искусства» и в рамках его объявила литературный конкурс. Я послал туда несколько образчиков своей «малой прозы» и оказался в числе отмеченных за один из рассказов, наполненный подражанием и имитацией. (Здесь уместно заметить, что я никогда не пытался подражать Флоберу или Толстому. Ведь они, *in my humble opinion*, захватывают воображение прежде всего глубиной, и если вы сумеете нырнуть так же глубоко, можете позволить себе меньше заботиться о затейливости языка и изысканности способов изложения). Этот успех в литературном соревновании укрепил меня в мысли о правильности избранного мною подхода к написанию настоящих записок. Рассказ назывался «Жизнь по Прусту», он один из немногих, чье появление никак не связано с Эммой и не имеет к ней никакого отношения, хотя и был написан во времена пика нашего с ней романа под великолепное настроение одним чудесным солнечным утром, которое ныне могу сравнить только с чистым, радостным, лишенным вожделения чувством, которое испытываю к Берте, дочери Эммы и Шарля. Утро, пусть даже выдавшееся мрачным, объемно, глубоко и полно иллюзий, которые трудно развеять отрицающим покачиваниям вершин деревьев. Ночь, близкое дно ее плоской черноты, вызывают во мне отвращение. Утром я выстраиваю мысленные диалоги с Эммой, пытаюсь ее рассмешить, думаю, как с толком использовать в этих записках то, что помню и то, что придумалось лишь сегодня, вечером чувства мои притупляются и остается лишь безумная тоска по ней.

«Жизнь по Прусту»:

16.

Это был период моего страстного увлечения Набоковым. Я неожиданно для себя открыл, что читал его неправильно – по вечерам, в то время как его книги, как и всякие другие превосходные книги, следует читать исключительно по утрам, когда свежо восприятие, душа открыта для впечатлений и мир образов омыт нервной дрожью познания. Утреннее чтение стало возможным из-за закрытия стартапа, в котором я работал. Других предложений пока не было, и я без угрызений совести мог посвятить все свое время духовному приобретательству, которое, как утверждают, в конечном счете, одно и является оправданием приобретательству материальных ценностей. Это очень удобная точка зрения как для тех, кто обладает материальными ценностями в избытке, так и для тех, кому так и не удалось до них дотянуться.

Но тут и случилось несчастье. Очередной том Набокова я дочитал посреди недели, а ехать в книжный магазин за следующей книгой в среду было бы для меня тяжелым душевным диссонансом, так как книги уже много лет я покупал исключительно в выходные дни. Промучившись до полудня с этой дилеммой, я вдруг подумал (пожалуй, даже – меня

осенило), что может быть, и Пруста я читал неправильно. Время было ближе к полудню, – я еще не обедал, кровь и другие жизненные соки не увлеклись еще исключительно пищеварительным процессом и гуляли по телу, питая мозг. Я оценил по десятибалльной системе готовность своего восприятия, выставил ему оценку девять и, воодушевленный и взволнованный, достал из книжного шкафа недочитанных мною много лет назад (примерно семь лет) «Девушек в цвету». Что, конечно, лишь мое произвольное сокращение полного названия книги, которое звучит так: «Под сенью девушек в цвету». Из книги торчала оставленная семь лет назад закладка – банковская распечатка тех времен. Раскрыв книгу и быстро убедившись, что героев и идеи романа я помню только приблизительно, я задал себе вполне естественный при таких обстоятельствах и даже неизбежный вопрос: дать ли формалистскому, начетническому началу возобладать в себе и читать от закладки или проявить добросовестность – начать книгу сначала? Но «Под сенью девушек в цвету» это вторая книга романа «В поисках утраченного времени», а значит, если быть добросовестным до конца, то начинать нужно с первой книги – «По направлению к Свану», содержания которой я уже совсем не помнил, кроме разве что факта, что Сван, кажется, еврей или с еврейством как-то связан. Да и об этом напомнил мне Набоков, упомянув Свана в связи с происхождением своей героини. Тут мне стало ясно, почему вот так, в среду, я вдруг подумал о Прусте. Это Набоков толкнул меня под локоть. Еще некоторое время я колебался. Но я твердо знаю о себе, что человек я решительный и в подобных ситуациях, требующих нелегкого выбора и трудных решений, никогда не говорю себе: «Я подумаю об этом завтра». Стоит этой женской мысли появиться в моей голове, как я переполняюсь энергией и решительностью и, подобно Александру Македонскому, делаю мгновенный выбор – рублю свой гордиев узел решительным и острым мечом воли. Вот и теперь: я сначала захлопнул книгу, а затем тут же раскрыл ее страниц на пятьдесят после закладки и, как выражались в старинных романах, целиком погрузился в чтение.

И вот что я прочел. От первого лица герой книги повествовал о трудном расставании с матерью перед поездкой (на отдых?) в поезде. Судя по тому, что в поезде герою предстояло ехать с бабушкой, я заключил, что герой молод, из того же, что врач посоветовал герою выпить пива или коньяка, чтобы преодолеть волнение перед предстоящей поездкой (бабушка не одобряла этого совета), можно было предположить, что герой – не ребенок. В самом деле, неужели французский врач посоветовал бы ребенку выпить для обуздания чувств пива или коньяка, да еще без одобрения бабушки? В поезде герой смотрел на синюю оконную занавеску, перебежал от окна к окну, чтобы мысленно собрать воедино разорванную колеблющимся поездом цельную картину мира, а на остановке окликнул девушку, предлагавшую проезжающим путешественникам молоко в кувшине. Она не успела к нему со своим молоком, но герой еще долго лелеял ее образ в душе, мысленно устремляясь к нему и воображая встречи с этой девушкой в окружении чудных пейзажей, неотъемлемой частью которых представлялось очарованному герою мелькнувшее в его жизни явление девушки с кувшином молока.

На этом месте я отложил книгу, поскольку был уже эмоционально переполнен прочитанным, безнадежно заражен им. И уже знал, что в предстоящие выходные не поеду за Набоковым. Я – на крючке у Пруста, этот крюк засел у меня под ребром, и мне не сорваться с него. Меня неожиданно и глубоко потряс метод Пруста – это возбужденное видение мира с его океаном бесчисленных и удивительных деталей. Я просто не мог не последовать за этой путеводной звездой, ярко осветившей вдруг мою словно пребывавшую до этого в потемках душу. Я решил, следуя указанному Прустом методу, миллиметр за миллиметром исследовать окружающий меня мир, не скупясь расходовать на него отпущенные мне природой любознательность и душевный жар. Я решил начать с закладки в книге.

Как я уже упомянул, это была банковская распечатка семилетней давности. Все эти семь лет я упорно работал и теперь не торопился заглянуть в нее, намеренно томя себя сладким предвкушением того острого наслаждения, которое я смогу ощутить, увидев, насколько я стал богаче за это время. Говорят, о двух вещах считается непристойным и даже невозможным спросить у человека в Европе: сколько у него денег и за кого он голосует. Самым странным образом

именно эти две вещи меня нестерпимо тянуло всегда поведать первому встречному. Ведь это такие волнующие подробности, которые так много говорят обо мне. Разве это не прекрасно – встретив человека, сказать ему: «Здравствуйте, я голосую за Рабина, и на личном счету у меня сейчас 121 тысяча шекелей!» Если бы все вели себя так же, мир был бы другим, совсем, совсем другим.

Строку за строкой я стал разбирать распечатку. Пожалуй, не стоит вам задерживать свое внимание на этих строках, они довольно скучны:

-8.72 – банковский сбор за ведение текущего счета;

-314.59 – компании сотовой связи;

-19.00 – банковский сбор за смену ш. (непонятно, что это за «ш.», но, видимо, так надо);

-1100.00 – снято мною со счета;

-16.50 – за две чековые книжки;

+73.08 – процент с вклада (это в прибыль).

Никаких итоговых сумм я не обнаружил, но это обстоятельство нисколько не остудило меня и не повергло меня в уныние, несмотря на то, что мои планы порадоваться своему обогащению за протекшее время оказались грубо нарушены.

Упоминание Прустом пива отвлекло меня от размышлений на финансовые темы. Я вспомнил о том, что в холодильнике меня ждут шесть бутылочек «Carlsberg», закрепленных в легкой картонной упаковке в виде арки, своей элегантностью подчеркивающей красоту кеглевидных бутылочек (или это кегли бутылочны? Над этим стоит поразмышлять). Однако картонная арка из-за своей картонной же шершавости далеко уступает бутылочкам-кеглям в красоте, сочности и глубине цвета. Нечего и говорить о том, чтобы устроить конкурс красоты между этой картонкой и бутылочными этикетками – верхом изобразительного бутылочного совершенства (если вы почувствовали здесь дух насмешки, то совершенно напрасно: и я не сравниваю эти этикетки с Вермеером – это другая красота, другой стиль, другой поворот жизни, если хотите). В холодильнике не шесть, а только пять бутылок, одну я выпил вчера, вспомнилось мне. Чтобы не нарушать установленной мною последовательности созерцания, я решил спуститься за пивом с закрытыми глазами, что и удалось сделать без приключений в дороге. Со смеженными веками мне удалось вскрыть бутылку, но когда на обратном пути я приблизился к ступеням, ведущим на второй этаж, меня поразила мысль, что я ведь не знаю о своей лестнице, по которой спускаюсь и поднимаюсь много лет, самых элементарных вещей, например сколько в ней ступеней. Я открыл глаза, и моя лестница (бежевая с белым, хевронский мрамор ступеней с белым каркасом) предстала предо мной. Я сосчитал ступени. Их было восемнадцать. Если бы я не читал Пруста и меня спросили бы, сколько ступеней в моей лестнице, я бы затруднился с ответом. Но теперь ответ будет у меня наготове. Восемнадцать. И к этому я еще прибавлю, что наиболее изысканной, особенной, ветреной и неверной следует признать восьмую ступеньку, не только поворотную, но и приходящуюся на угол двух стен, из-за чего ей придана форма ячейки пчелиных сот с одним срезанным углом. А если бы этот угол сохранили, то он жалил бы поднимающихся по лестнице подобно рассерженной пчеле. Восьмая ступень – правительница, принцесса без королевы. Трапециевидные и треугольные ступени на повороте лестницы образуют прослойку лестничной аристократии, своей формой отделяясь от нижнего сословия – прямоугольных ступеней, о которых только и можно сказать, что они совершенно одинаково прямоугольны, но не лишены прямоугольного очарования.

По возвращении к исходной точке путешествия за пивом (а началось оно от кровати в спальне, на которой я читал Пруста) я задрал голову с бутылкой (пиво было на дне, большую часть я успел выпить, знакомясь с лестницей), и тут внимание мое привлекла зеленая портьера над стеклянной дверью, ведущей на балкон. Это случилось еще из-за того, что ее колыхнул ветер, и при этом с нее не посыпалась пыль. И эта история, объясняющая, почему на портьере нет пыли, достаточно интересна, чтобы быть приведенной здесь.

Еще совсем недавно на ней была масса пыли, которую не так просто удалить пылесосом, который, как мне представлялось, скорее создал бы на ней пыльные полосы. По этой причине я воздерживался от чистки пылесосом. Если портьеру постирать, думалось мне, то она неравномерно полиняет, а может быть, и съежится. Да и сама мысль о

том, как придется снимать карниз, на котором висит портьера, как непременно что-то завалится, что-нибудь потеряется, что-то непотерянное я не сумею вернуть на положенное место, заставляла меня бесконечно откладывать вопрос о чистке портьеры, пока один из рабочих, пришедших белить комнату, не протянул мне уже снятый карниз вместе с покрытой серым мхом портьерой со словами: «Вы, конечно, хотите ее постирать». «Конечно», – ответил я тоном, не допускающим иных возможностей. Когда я повесил выстиранную портьеру на место, оказалось, что никакого ущерба стирка ей не нанесла. И даже осталась в моих руках тесемка совершенно непонятого предназначения (портьеру вместе с карнизом, как вы помните, мне подал маляр, и, торопясь положить ее в стиральную машину, я не запомнил точного назначения всех деталей). Выстиранную тесемку я аккуратно сложил вчетверо и сунул на верхнюю полку шкафа под грудку других вещей, справедливо полагая, что эта тесемка если и понадобится мне, то уж гораздо позже носков, трусов, старых джинсов, свитеров и застиранного полотенца, которые в общей массе занимали выбранную мной для сохранения тесемки полку. Что же интересного в этой истории с портьерой и тесемкой? Может быть, и ничего. Но все же есть нечто завораживающее и волшебное в неприхотливом тлении фитиля обыденности.

Тем временем выпитое пиво попросилось наружу, как просится с той же целью за дверь воспитанная кошка. Я никогда не отказывал в этом кошкам, не было у меня намерения отказать в этом пиву. Путь от кровати к туалетной комнате короток. Он пролегает мимо трюмо. Я не стану описывать пока всего, что навалено на нем, как и не приведу критического описания субъекта, промелькнувшего в зеркале, а устремлюсь напрямик (тому есть весьма настойчивая причина) к санитарному предмету, упоминание о котором в изящной словесности требует всегда особой изощренности. Наименование этого санитарного предмета нельзя вставить во фразу, как, например, «он ушел» или «она заплакала». Будучи, даже самым якобы незаметным образом, помещенным в любую фразу, этот санитарный предмет немедленно станет центром фразы, ее полюсом, средоточием внимания. Не стану отнимать у вас наслаждения самим поразмышлять над этим предметом, сидя на нем. Я же обращусь к детали, которую вы, возможно, опустите в своих размышлениях, к необходимой части санитарного изделия – его сиденью. Дело в том, что я никогда не пренебрегаю сиденьем. Настоящие мужчины, как известно, от пива освобождаются стоя. При этом мелкие брызги, которых они не видят и не чувствуют, попадают на их брюки. Я утверждаю, что все настоящие мужчины ходят в вечно описанных брюках. Соответствовать имиджу настоящего мужчины, разумеется, является и моей постоянной заботой, но при обстоятельствах, когда меня никто не видит (а меня действительно никто не видит в этом положении), я отдаю предпочтение сухим и чистым брюкам над никому не демонстрируемой мужественностью. Может быть, поэтому крепление моего сиденья быстрее разбалтывается, из-под крепящих его винтиков на белизну керамики высыпается стружечная горка, будто завелись в санитарном предмете сумасшедшие муравьи и выносят по крупинке песчаные холмики на блестящий белизной снег. Когда это произошло в первый раз, я затеял починку, придумав следующий метод: я разломал спичку на три части, два из трех обломков я осторожно вколотил в болезненно широкое отверстие, из которого выпадал расшатавшийся винт. Затем я ввернул винт, тут же въевшийся в тела спичечных обломков, и оценил свою работу, склоня и выпрямляя голову, приподнимая и опуская сиденье. Увы, этого хватило ненадолго. Теперь на стружечную горку невидимые муравьи водрузили еще и обломки спичек, словно они были римляне с евреями и готовили кому-то гибель на деревянном кресте. Я нашел винт большего размера, тщательно сравнил его длину с толщиной крышки и, вооружившись мощной отверткой, которую в данном случае следовало бы именовать приверткой, соединил сиденье с собственно санитарным предметом самым, что ни на есть, надежнейшим способом.

Сидя на санитарном предмете, вернее на его сидении, имеющем свою собственную историю жизни, о которой я только что рассказал, я заметил какое-то странное несоответствие нынешнего вида туалетной комнаты обычному ее образу, сложившемуся в моей памяти. Солнечный свет ярко ложился на джакузи, и в низине фигурного дна словно застыл водяной островок, чей берег был глубоко и многократно изрезан, язычки-мысы его были до странности высоки, будто это была не вода, а

силикатный клей, пролившийся на белое дно. И еще (ну да, это из-за необычного обилия солнца, жалюзи задвинуты полностью в стену) было ощущение яркой просторной бесприютности, словно в больничной палате, не хватало уюта, или будто недоставало чего-то, например большого белого пушистого полотенца на его обычном месте, хотя оно висело, как ни в чем не бывало, на своем крюке...

Ну откуда, скажите мне, у телефона эта злобная привычка звонить именно в такие моменты? Или это изощренная месть (чья?) за предпочтение незабрызганных брюк принципам ортодоксального мачоизма? Вдумаемся в ситуацию. Необходимо прервать процесс, натянуть одежду, помыть руки, вытереть их полотенцем и уж затем бежать к телефону, не говоря уже о том, что неплохо было бы нажать на рычаг санитарного предмета и захлопнуть дверь туалетной комнаты, чтобы звуки домашней «ниагары», преобразовавшись из акустической волны в электрический сигнал, не достигли ушей собеседника. Немыслимо успеть сделать все это даже для Супермена или Микки-Мауса. Какие именно операции из этой процедуры вы решите опустить, чтобы успеть к телефону, мы не спрашиваем, уважая неприкосновенность вашей частной жизни. Но если же вы оставили звонок без ответа – увы, нам нечего вам сказать. Вы предпочли сухой формальный порядок, заведенную рутину – живому человеческому общению, вы живете не по Прусту.

Звонок был от старого знакомого. Это было предложение работы. Не соглашусь ли я быстро выполнить одну штуку – спроектировать многоточечную систему централизованного контроля утечек ракетного топлива. Есть еще один параметр, но об этом не по телефону. Конечно, не по телефону: там, где контролируют утечки ракетного топлива, неплохо бы измерять еще и уровень радиоактивного излучения. Я согласился, но, положив трубку, загрустил – на какое-то время мне придется проститься с исследованием глубин человеческого существования, с волшебством и роскошью чувств, с дрожью предвкушения неизведанных наслаждений и ознобом ожидания счастья, с горячим биением возбужденного, нервного пульса жизни по Прусту.

17.

Веселенький рассказ, правда? Мне кажется, присутствие рядом Берты сделало меня более восприимчивым к иллюзиям и оптическим обманам.

Я, например, нашел такой особый утренний прищур после пробуждения, при котором, по крайней мере, часть пластин жалюзи в окне кажутся прозрачными, и сквозь них будто так же, как и в просветах между ними, я вижу, как по небу плывут облака.

«Облака, плывущие по небу» – это ведь метафора, облака не плывут, а парят в воздухе, но случилось недавно, что небо вдруг и правда почудилось мне плотной и тяжелой, похожей на воду Мертвого моря субстанцией, по поверхности которой именно плыли пенные комья и показалось, что на картину эту я смотрю сверху вниз. Недоверие сменилось легким испугом (не начало ли это какой-нибудь опасной болезни?) и в тот же миг заставило мой мозг в обход воли произвести перефокусировку зрения, в одну секунду возвратив сознанию привычную смесь физической реальности и поэтизированной образности: «облака плывут по небу». Успокоительное действие привычного самообмана.

Или вот – оторвавшаяся от наружной стены дома ветка плюща повисла, словно гимнастка вниз головой, уцепившись ногами за кольца. Она легонько покачивается, заглядывает в окно и, кажется, пытается захватить меня врасплох улыбающимся. Когда ей это удастся, она как будто начинает упражнение, то есть использует порыв ветра и сначала трепещет, имитируя взрыв победного смеха: «а вот и весело тебе», – а потом улетает куда-то вверх, за пределы оконного проема.

Иногда, находясь в дороге, останавливаюсь перед светофором и замечаю боковым зрением, слева от себя неясный, но привлекательный женский профиль, и если чудится мне в нем внятно выраженное, особенное, мягкое, спокойное благородство, которое так любил в Эмме, думаю, что ведь это и в самом деле могла бы быть она. Эмма. Я в мыслях перемещаю ее в свою машину, усаживаю справа от себя. Руки твердо кладу на руль, взгляд устремляю вперед – на дорогу. Не кошусь в сторону как сейчас.

Я в полной мере отдаю себе отчет в том, что постепенно становлюсь жертвой не такой уж редкой болезни. Я заболел влюбленностью в

собственные воспоминания. Рассказы мои стали хронически коротки, для них не всегда уже требуется отдельная глава, как, например, для этого, который называется «Кобра»:

«Вы не представляете, какой веселой была эта змея в детстве. Любимым трюком ее было взвиться в воздух, собраться в прыжке в комок и, трепыхая капюшоном, изображать первый полет птенца. Когда она уже состарилась, то чудно подражала походке пожилого человека – с трудом передвигала по земле кончик хвоста, сутулилась и покачивала головой при каждом «шаге».

Она почти всегда сопровождала меня на приемы, вечеринки и званые ужины, обвязавшись галстуком вокруг моей шеи и засыпая под пиджаком. Но всегда пробуждалась, когда я разговаривал с девушками, и почитала своим долгом осматривать их, осторожно и незаметно (как ей казалось) высовывая голову между пуговицами на животе, после чего сообщала мне о своих впечатлениях, забираясь под рубашку и поглаживая двумя кончиками языка, как двумя тонкими пальцами или наоборот осторожно покалывая мне кожу парой далеко расположенных друг от друга зубов. Терпеть не могла, когда я надевал вместо костюма куртку с молнией или свитер, но прогрызть в них дырку или испортить их еще каким-нибудь способом – этого она никогда себе не позволяла, берегла мои вещи.

Я почувствовал, что от этой громко смеющейся и явно флиртующей со мной девицы она не в восторге, даже не стала глядеть на нее и покусывать мне кожу, а только ерзала и недовольно ворочалась. Когда же она и вовсе стала «топорщиться» у меня под подбородком, я, было, попытался «заправить» ее на место, но она выскочила, неожиданно вытянувшись к лицу моей собеседницы, уставилась ей в глаза сантиметров с пяти, а потом еще и пошипела для порядка.

В предчувствии конца своей змеиной жизни она попрощалась со мной, прикинувшись свернутым в широкое кольцо отрезком электрического кабеля. Так и засохла.

Электрик, которому не хватало короткого куска провода, чтобы соединить розетки с двух сторон нашей супружеской двуспальной кровати (тогда я уже был женат с полного одобрения моей кобры), протянул было за «кабелем» руку, понял тут же, что ошибся, и посмотрел на меня с удивлением – зачем я храню в коробке мертвую змею».

Возвращаемся к запискам. Наверно, при взгляде со стороны я стал похож на тех одиноких старушек, которых нельзя представить без их вредных собачек, словно оттягивающих из тел своих хозяек гной неуживчивости и смягчающих их скверные нравы. Каждый год в один и тот же день, сами понимаете, в какой именно, я приезжаю к колонне с изображением *Vanellus spinosus* и ставлю под рисунком еще одну цветную точку, метку прошедшего года жизни своего чувства, у которого нет определенного дня рождения, но есть вот эта, четко фиксированная во времени и пространстве веха. Иногда возникает в моей голове мысль, что Эмма однажды наведается сюда, увидит рисунок, догадается о значении точек. Если я не выключаю в этот момент мой внутренний экран, демонстрирующий мне мыльную оперу собственной постановки, то успеваю увидеть и продолжение – Эмма приезжает специально к этому дню и подкарауливает меня, чтобы посмотреть, как я ставлю еще одну точку. Но я никогда не могу решить, как она поступит дальше, как эта ситуация разовьется. Тут мой экран сам собой выключается без шипения и потрескивания.

Я заказал в Германии и получил по почте искусственную ворону, посадил ее на перила балкона, и голуби теперь не смеют ко мне прилетать.

*Я воскликнул: "Ворон веций! Птица ты иль дух зловеций!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли в Эдеме лучезарную Линор –
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore."*

Там за океаном, в Нью-Йорке, где только и можно продать чертову тьму какой-нибудь ерунды, которую больше нигде в мире невозможно сбыть в таких количествах, Эмма (возможно, вдохновленная давними изысками кутюрье Жюстена) изобрела носки-варежки с отдельной полостью для большого пальца и открыла с помощью матери свой магазинчик. Носки такие стало возможно носить с вьетнамками, у нью-йоркских домохозяек этот товар нарасхват. Она, говорят, лично порхает в них по своему маленькому магазинчику. Как хотелось бы увидеть! Представляю контраст между теплыми носками и ее глазами: «Не бойся, Кай! Мои теплые носки не дадут замерзнуть твоему сердцу!» Бедный мальчик, он бы поверил. Может быть, практичный Ягве американских евреев поможет Эмме, и она разбогатеет. Надеюсь, к старости не начнет носить кучу звякающих браслетов на руке, ездить на Роллс-ройсе и не станет похожа на заслуженную еврейскую ведьму на покое, беседующую на дипломатическом приеме с нашим президентом.

Не удивительно, что после отъезда Эммы у меня постепенно развилось, а потом и закрепилось прочно в сознании печальное убеждение, что мой жизненный подъем закончен, что я перевалил через свой горный перевал, прошел по его седловине, доел банку сгущенного молока в смеси со свежим снегом, нахожусь теперь по другую сторону и, глядя под ноги, приступил к неторопливому малоувлекательному спуску. Это ощущение выразилось в рассказе «Река».

18.

У реки, которую я называю своей, как у всех рек, два берега: левый и правый, два ботинка на двух ногах. Там, где с левой стороны крутая тропинка вниз петляет к воде, с другой стороны – песчаный пляж (волнистая желтая клякса). Там, где с низкой стороны травяная поляна (колется, щекочет), с высокой – гранитные скалы уходят в прозрачную глубь. Там, где с левой стороны широкий скат к реке (со снежным трамплином зимой), с правой – лес подходит близко к воде. Как два локона на твоей фотографии – похожи, но разные.

До сих пор не могу понять, как ты могла так на меня положиться! Мы собрались переплыть реку, ты сказала, что не умеешь плавать. «Под водой сможет плыть даже тот, кто совсем не умеет плавать», – сказал я. «Но как я буду дышать?» – засмеялась ты. «Я буду всплывать на поверхность, набирать воздух и передавать его тебе под водой». Мы попробовали на берегу, а потом поплыли. Так впервые мы перебрались на другую сторону.

В другие разы, чтобы перебраться с берега на берег, мы отвязывали лодку, садились на весла и гребли наискосок, чтобы струи течения с зыбкими языками (как линии ландшафта на топографической карте) не отклонили ребристую лодку от точки, намеченной нами на другой стороне.

Однажды мы пришли на мою реку и увидели, что от скалы, где кончалась крутая тропинка, к большому камню на другом берегу, от которого начинается песчаный пляж, протянут металлический прут. На шестах с колесиками вдоль троса-прута движется лодка-паром поместительностью в пять стоячих и шесть сидячих мест. Седой старик на корме с деревянным «Т» и желобком на верхней его перекладине, то заклинивая, то передвигая «Т» вдоль троса, тащил паром от берега к берегу. Я плыл пятым стоячим пассажиром, а ты сидела шестой на скамейке, и обоим было ясно, что нам больше не нужно садиться на весла и бороться с течением.

В другой раз я пришел на реку один, но не было ни паромщика, ни парома, а был узкий, но прочный мост, прямой, некрасивый. Я перешел по нему с берега на берег, лег на песок и понял, что теперь мне не придется ждать, пока старик с седой бородой и в расстегнутой серой рубашке приведет паром с другого берега на этот.

Был и последний раз, когда я пришел на свою реку и увидел, что вся она, от берега до берега, сколько хватает взгляда, укрыта дощатым помостом. Я шел по помосту вдоль реки, надеясь, что за следующей излучиной закончится деревянная кладь и откроется река с разрушенным мостом и каменными порогами. Но везде между двумя берегами лишь змеился вместе с невидимой рекой штрихованный вдоль деревянный помост. Я понял: от устья и до того самого места, где впадает моя

река в не мою реку, она закрыта свежеструганым деревянным помостом, погостом.

Я осознал, я понял, я догадался – я умер.

19.

После того, как я написал этот рассказ, мне захотелось посидеть на берегу пусть хоть какой-нибудь, пусть вытекающей из очистных сооружений, но все-таки живой реки. Я поехал в парк Яркон в Тель-Авиве, сел на траву, смотрел на воду. Недалеко от меня на траве за деревом мелькнуло хвостовое оперение птицы, похожее на костюм европейского дворянина семнадцатого века. Я сдвинулся с места, чтобы разглядеть птицу целиком, сейчас ее скрывал от меня ствол дерева, но, увидев меня, она вспорхнула и исчезла, а у меня о взгляде ее на мою особу не осталось никакого мнения. Я увидел на долю секунду две кнопки ее глаз, но не разглядел в них ни страха, ни раздражения, ни безразличия. Так зачем было ей улетать?

Я, кстати, вспомнил следующую пару строк в той песне, где «сердцу вопреки». Там дальше: «Мы с тобой два берега у одной реки». И вот теперь последний из рассказов, последний вовсе не потому, что считаю его лучшим, мне просто хотелось бы перенаправить вектор. Заколоченная река, пройденный перевал – отражают, конечно, мои настроения, но если оглянуться на мою любовь к Эмме, на длинный-короткий роман с ней, они представляются мне устремленными вверх, ввысь... в бесконечность, если хотите. Отсюда и название – «Гора»:

Мы играли в настольный теннис на плоской вершине Столовой горы, когда пошел мелкий дождь. Внизу расстилалась равнина. Это было красиво.

Еще дальше и ниже, в защищенной от ветра морщине, вскипал город. Не стоило все время смотреть в долину. Чтобы красота не наскучила, лучше было играть в теннис и поглядывать вниз только тогда, когда поднимаешь упавший теннисный мяч.

Из-за дождя тропинки, ведущие вниз с горы, сразу же стали скользкими, нечего было и думать о спуске. Дождь становился сильнее. Мы залегли на походных матрасах под теннисным столом. Я обнял ее и легонько дышал ей в затылок. Мы заснули.

Когда проснулись, было очень свежо, дождь стал проливным, а город в морщине уже был под водой. Равнина исчезла понемногу на наших глазах, но вид со Столовой горы все еще был хорош. По мере того как медленно поднималась вода, гора становилась ниже и горизонт приближался. Скоро вода коснется наших ног и матрасы промокнут. А сама вода, оказывается, очень легка, хоть и тяжелее воздуха, но плавать в ней невозможно. Как в воздухе. Не всплывут ни теннисный стол, ни ракетки. Только, может быть, – теннисный мяч.

После того как вода затопит матрасы, мы взберемся на стол, а когда волна коснется ее подбородка, я подниму ее в легкой воде, а она охватит меня за шею. Мы будем смотреть друг другу в глаза и легонько касаться друг друга губами.

20.

Жюстен учится в художественном училище, и иногда я выклянчиваю у него на недельку-другую (якобы для Берты) один из его старых альбомов с проектами (никогда не реализованными) костюмов и платьев для Эммы.

За прошедшие годы Берта привязалась ко мне еще больше. Иногда звонит матери. Прошлой осенью пошла в армию. Всю неделю она посменно сидит за экраном радара на берегу Красного моря в Эйлате. Иногда ей приходится поднимать тревогу из-за качающегося на волнах мяча, иногда из-за плавающего трупа осла. Моряки сторожевых катеров сачком подбирают мяч или устраивают дикую стрельбу, превращая мертвого осла в неразличимое на экране радара крошево. Однажды она засекла головы трех настоящих диверсантов, и в течение целой ночи с катеров швыряли в море гранаты и продолжали еще и после того, как диверсанты повернули назад и вернулись в чужие территориальные воды, откуда вышли, – срок годности гранат подходил к концу, от них так или иначе

нужно было избавиться. Знак отличия вручил Берте лично командующий флотом, у меня есть документальное свидетельство – фотография, к которой испытываю сложные чувства – ведь это единственный снимок, на котором гордая и уверенная в себе Берта не вполне похожа на мать. Я сказал ей об этом. Берта ответила мне загадочно. Ее сходство с матерью, сказала она, это сходство миража и действительности, и постоянство индивидуума является относительным. Она рассмеялась, увидев, как я озадачен ее словами. Было от чего, уж она-то точно никогда не соприкасалась с немецкой философией. Я внимательно смотрел ей в глаза, ожидая разъяснений, но Берта ничего мне больше не сказала и только улыбалась – весело, но не беззаботно. Глаза Эммы. Я – инженер, Берта, сказал я, относительность постоянства индивидуума можно ли хотя бы примерно оценить в процентах? Теперь я уже не получил вовсе никакого ответа. Видимо, следствием долгого вечернего разглядывания мною этой фотографии и беседы с Бертой явился сон, в котором мой отец, думая, что я сплю, осторожно, едва касаясь, обвел пальцем контур моего подбородка, затем отошел к туалетному столику, поворачивал голову перед зеркалом, на короткое время даже выдвинул немного вперед нижнюю челюсть и счастливо улыбался, радуясь сходству.

Я подсовываю Берте для чтения подходящие по возрасту хорошие книги на русском языке из своей библиотеки, но ее произношение и словарный запас все же оставляют желать лучшего. Однажды я принес в салон две книги, которые читал сам, чтобы процитировать отрывки, демонстрирующие стилистические находки авторов, и после чтения, увлекшись беседой с Бертой, оставил эти два тома лежать на лестнице. Ей понравился вид книг, лежащих на краю ступеней, и теперь, когда она в мое отсутствие сама выбирает книги, и если они ей нравятся, – оставляет их на пятой-седьмой ступенях, намеренно кладя книжным лицом вниз. Находя их, я улыбаюсь, пытаюсь угадать, чем она увлеклась, припоминаю содержание, а сидя вечером у телевизора, поглядываю на них искоса, а во время рекламы, отрезающей предыдущий новостной блок от последующего, пока бодрые звуки не возвращают меня к текущим событиям, размышляю о нюансах развития моей «подопечной». Порой Берта остается внизу одна (я ложусь рано, чтобы в утренние часы писать) и смотрит фильмы, приглушив звук. Часто вкратце пересказывает увиденное и рекомендует – стоит мне смотреть или нет, объясняет – почему. В ее характере, как и у ее матери в этом возрасте, нет никаких признаков подростковых бунтарства и скрытности.

Часть читаемых Бертой книг приобретена мною уже здесь, но некоторые изданы в России, как правило, еще в «доперестроечные» времена, и я заметил, что Берта с интересом и округляющимися порой глазами прочитывает предисловия к ним. Сначала, обратив на это внимание, я тоже перечитывал вступительные статьи после Берты, чтобы ответить на ее вопросы, если таковые появятся, но потом увлекся и сам: мне стало интересно расшифровывать и разгадывать характеры и побуждения авторов, их составивших. Там можно было найти все – от холодной беззастенчивости до хождения по лезвию ножа коммунистической самодисциплины. Но поразило меня и растрогало едва ли не до слез предисловие к «Госпоже Бовари». Собственно, предисловия никакого и не было, на обороте первого из пожелтевших листов, после указания количества страниц, значилось: «В романе «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер (1821–1880) рассказал о столкновении праздной мечтательности с мещанской реальностью мелкобуржуазного мира французской провинции времен Второй империи». Боже, сколько настоящего благородства было в этой краткости, в этой презрительно брошенной сухой кости! М. «Худож. Лит.», 1977. А я – о чем? какими скудными строками предварил бы неведомый мне издатель этот текст?

Легкий озноб пробегает по моей коже, когда читаю эти ко мне, фактически, обращенные строки. Никаких оценок не выставил я вам, дорогой автор, которого послушно называю Родольфом. Никакого толкования не предложил читателю. Предисловие, правда, вышло не слишком коротким, но в нем только забавный анекдот, рассказывающий о том, как попала в мои руки ваша рукопись. Правда, написал я там, что «речь идет о повествовании, пропитанном суровым мужским драматизмом и наполненным высоким

чувством ответственности перед серьезным читателем», – но ведь эта фраза никого и ни к чему не обязывает.

На свободные от службы выходные Берта, утомленная пятичасовой тряской в автобусе, приезжает ко мне. Верхние пуговицы ее армейской блузы уже расстегнуты, обнажено одно, обычно левое, схваченное белой бретелькой лишенное веснушек плечо, и в горле у меня бескислородная неспасательная подушка вспухает, надувается от столкновения с воспоминанием о так похожем худом плече Эммы. Случается, я при этом легонько, как сливной бачок после перерыва в водоснабжении, откашливаюсь в светло-синий носовой платок, перечеркнутый по краям темно-голубыми, темно-красными и белыми линиями. У меня все еще много таких платков разных оттенков (я купил их на рынке перед отъездом сюда), из стопки в шкафу выбираю тот, который подходит под цвет брюк (я так и не перешел на бумажные салфетки).

Бросив на пол дорожную сумку и американскую автоматическую винтовку, Берта принимает душ, переодевается, закладывает привезенное недельное белье в стиральную машину, засыпает в пластмассовый кармашек порцию моющего порошка и просит меня не забыть нажать утром кнопку «Start» с тем, чтобы позже высушить вещи на свежем воздухе, а не в сушилке. Она ужинает со мной, берет мою машину и уезжает развлекаться с друзьями в одну из тель-авивских ночных дискотек. Она ни разу еще не приводила с собой в мою квартиру существа мужского пола, именуемого «бой-френд». Но если это случится, я, конечно, ничего ей не скажу, а утром буду просматривать написанное мною ранее или записывать и переиначивать новый абзац, прислушиваться к оборотам барабана стиральной машины и ждать пробуждения двоих.

Все. Эмма как-то рассказала мне, как однажды она поднялась из ванной не прежде, чем истончавшийся под ее ладонью кусок мыла исчез, растворился полностью. Пора завершить историю, украв окончание какого-нибудь романа. Из любимейших. «Прощай же книга! ...та-та-та... продленный призрак бытия... как завтрашние облака...» Теперь окончательно – все.

v.s. (Vanellus spinosus).